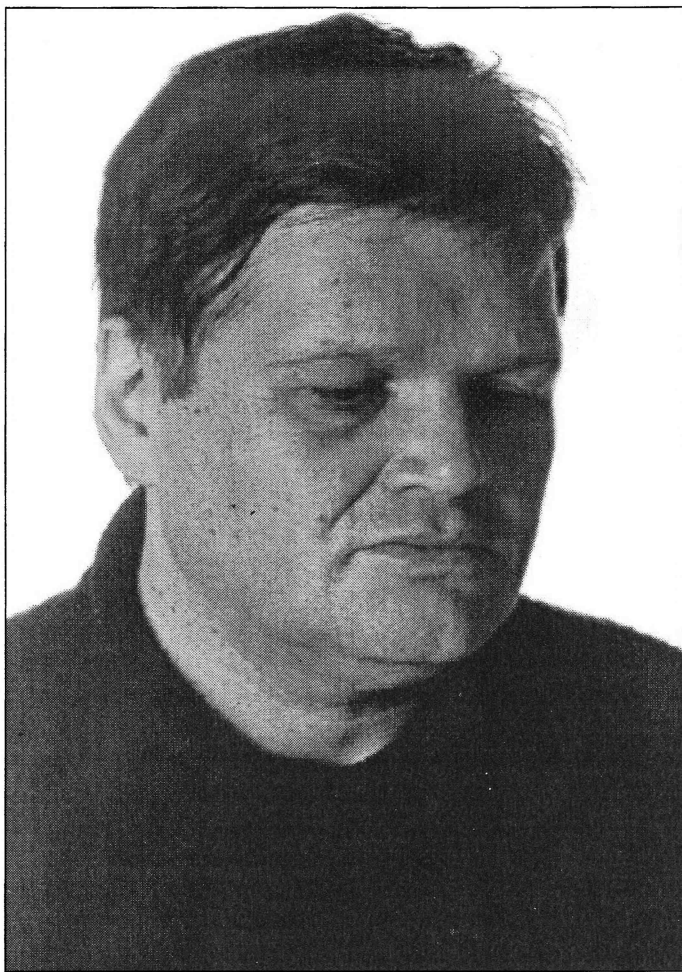




АНДРЕЙ
ЛЕВАНДОВСКИЙ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК



Андрей Левандовский

АНДРЕЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК



МОСКВА
АРБОР
2000

Андрей Левандовский
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

МОСКВА
АРБОР, 2000 г.

Редактор **С. А. Биговчий**
Художник **А. Г. Стройло**



ISBN 5-900048-16-0

ЛИРИЧЕСКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Сам жанр предуведомлений (в моей личной практике) возник с реальной и честной целью объяснить что-то по поводу прилагавшихся к ним сборников...

Дмитрий Пригов.

"Сборник предуведомлений к разнообразным вещам".



Возможность издать этот сборник опеределила мое собственное желание. Возможность возникла благодаря настоящему предложению С. А. Биговчего, с которым нас, помимо прочего, связывают общие воспоминания о Москве, об университете конца 80-х - начала 90-х... Ах, что за время мы пережили! - только сейчас до конца начинаешь понимать. На наших глазах рухнуло, пусть не очень любимое, но родное и такое привычное государство, а с ним - в развал пошли налаженная жизнь, размеренная работа... Нам грех жаловаться: иных обломками убило, иных изувечило - нас лишь контузило слегка и мы остались жить-поживать, на развалинах, под морозящим дождем... А там, из развалин времянки отстроили, да и солнышко из-за туч проглядывать начало - оказалось, что жизнь продолжается, забирая все круче.

Так вот, когда С. А. Биговчий со свойственной ему настойчивостью предложил собрать вместе то, что было написано за последние десять лет, мне эта затея сначала показалась ненужной. Написано-то немало. Но - мозаика, иначе не назовешь, и, к сожалению, мозаика в россыпи. Однако когда, под давлением все того же незаурядного издателя, стал я все это перечитывать и, перечитывая, вспоминать, когда писалось, с какими мыслями, во имя каких целей - тут то самое "но", поначалу звучавшее похоронным звоном, заставило ухватиться за дружеское предложение обеими руками. Понял я, что в этой россыпи целая эпоха моей жизни похоронена; для читателя же интерес может быть в том - о содержании я не говорю, не мне судить, - что в ней, как в осколке зеркала, отразилась и та большая, общая эпоха, которая всех нас приголубила...

Ведь именно тогда, в конце 80-х, занятия историей все больше стали терять академический характер, и прежде всего потому, что оказалось - она, история, продолжается. Стереотипы, которыми мыслили, стали расползаться на глазах - в грязь, в слякоть... В научных журналах дискуссии пошли - и не запланированно-

подконтрольные, а настоящие, с пеной у рта. В университете ребята ожили, зашпорили, собираться начали - после занятий! - чтобы разобраться, например, в том, что такое русская интеллигенция. А сколько стало возникать заманчивых проектов - сам писал; сколько появилось соблазнительных предложений - ну как тут удержаться в рамках академической науки? А я, каюсь, на соблазны падам; от академической же суши меня и при старом режиме тоска брала.

Ну, а потом - вся жуть начала 90-х: шок психологический, голод физический... Бесконечные приработки - слава Богу, своим законным ремеслом, но до чего же убого: лекции и еще раз лекции - на подготовительных курсах дневных и вечерних, в Новом Гуманитарном имени домохозяйки Нестеровой, в школе радио и телевидения, еще в двадцати местах, по десятке за лекцию. От безденежья это едва спасло; а тут от того же безденежья такие колоссы стали рушиться, как "Политиздат", "Молодая гвардия", - о нашем скромном университетском издательстве я уж и не говорю... Правда, как и положено, тут же возникли колоссы новые, но туда уже проекты писали совсем другие люди.

В общем, не впился я в крутой поворот. Вот сейчас сижу и вспоминаю: "Ходынка" - первая глава в феерической "Хронике последнего царствования", которая была продумана и расписана до последней главы - конспективно... "Мистификаторы от охраны" - первая глава не менее интересного произведения "Наука провокация", равного которому в нашей литературе нет - по замыслу, во всяком случае... "Учреждение, в котором знали всё" - предисловие к грандиозной серии публикаций, из которых вышла первая книжка - она же стала последней. "Господа губернаторы" - проект роскошного телесериала, в проекте и остался. И так далее, и так далее...

Но вот что любопытно: пока все это вместе не собралось (третий раз с благодарностью поминаю С. А. Биговчего!), ощущение было одно - "вырванные годы". А сейчас вижу, чувствую, что жалеть, наверное, не о чем. Во всей этой круговерти я все-таки занимался тем, что меня действительно волновало, в чем самому разобраться было необходимо. И более того, кажется, что в этой россыпи какой-то рисунок цельный угадывается... Ведь в конечном итоге почти все статьи и очерки, вошедшие в состав сборника, об одном: о жестком противостоянии власти, скованной страхом перед неизбежными переменами, и обществом, мечтающем о несбыточном; об этой беспощадной схватке, фоном для которой служил народ, внешне неподвижный, безмолвный, живущий своей потаенной, малопонятной для обоих противников жизнью, полной скрытой угрозы как для правительственных устоев, так и для интеллигентских мечтаний... Впрочем, о впечатлении, производимом этими материалами, опять же скажу, не мне судить. Замечу лишь, что то, о чем я писал, никогда не оставляло меня равнодушным: история России для меня всегда, и в эти годы особенно, была не наукой, а продолжением собственного бытия - туда, назад, вглубь, к истокам... Это должно ощущаться, по-моему.

Окончательно вдохновил меня на это издание Дмитрий Александрович Пригов, опубликовавший недавно свой "Сборник предуведомлений" (будучи человеком не оригинальным, я собезьянничал у него название предисловия). У него, у великого, в книге - одни предуведомления, а у меня - все-таки, первые главы...

Напрашивалось название для сборника - "Книга начал", но от него я, по скромности, отказался.

Название, выставленное на обложке, - "Железный век" - тоже не оригинально, но на сегодняшний день лучшего определения этому веку не подберу. Долго не понимал и не принимал я блоковских строк: "Век девятнадцатый, железный...". Этот век, историей которого всю жизнь занимался, казался мне обжитым, уютным, домашним... Но закрутило страну, понесло в неведомое - как будто пелена с глаз упала: стало ясно, до какой степени все наши проблемы оттуда, из этого счастливого детства. Век без Бога, заквашенный на хилом человеческом разуме, на искренней безоглядной вере не в промысел, а в произвол... И, как компенсация, - вечные мифы, сказки: то о добром царе-страннике, рассказанном грешнике, то о злобном, темном мужике, вершащем судьбы России...

А впрочем, все по Блоку:

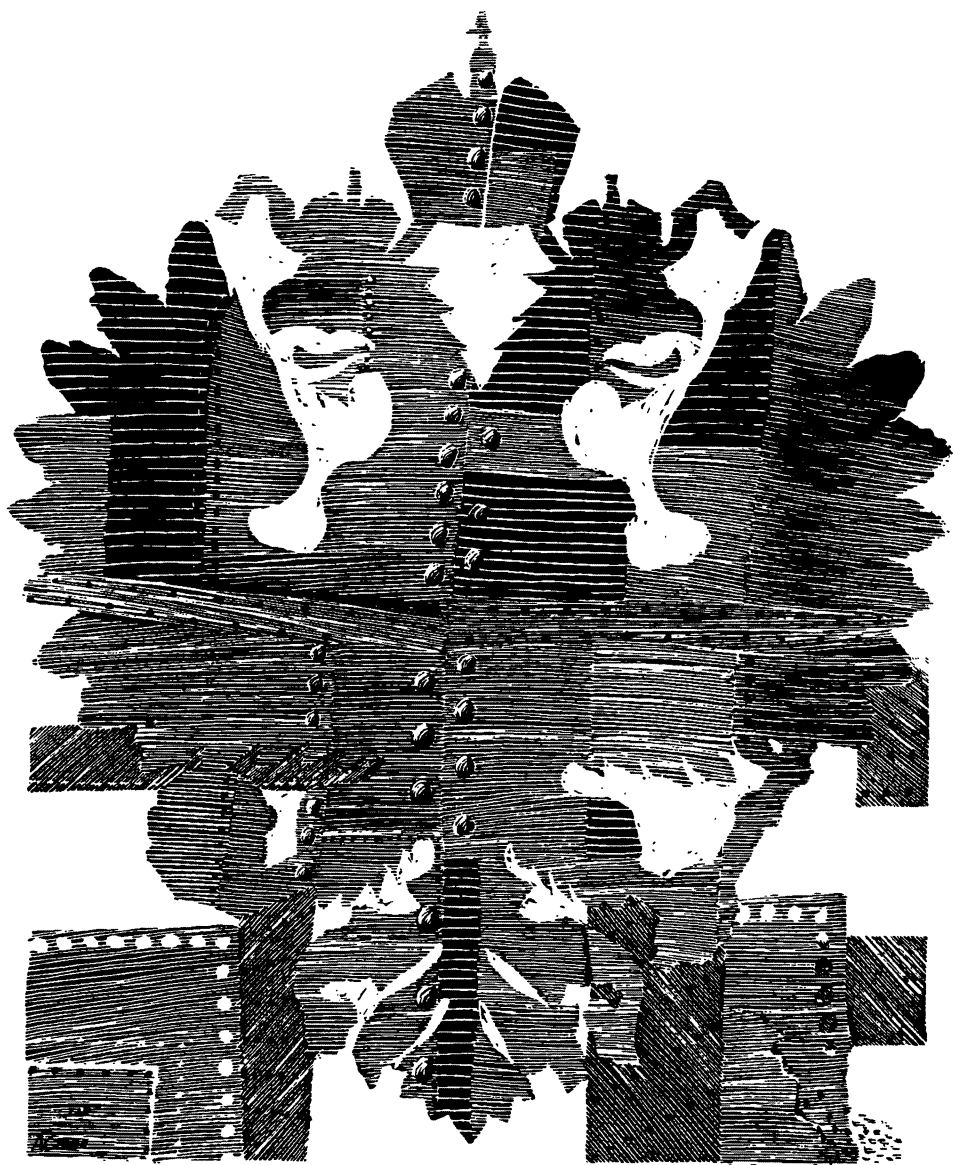
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран,
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман.
Там, в сером и гнилом тумане
Увяла плоть и дух погас...

Мы же - не более, чем достойные продолжатели: XIX и XX век связаны неразрывно, накрепко, как, по-моему, никакие иные периоды в истории. Сейчас эта эпоха кончается...

И в завершение: чем всегда богат был, так это учениками, точнее, друзьями-собеседниками. И никогда их у меня не было столько, как на переломе 80-х - 90-х. Тоже своего рода компенсация - без них в пору вешаться было... С некоторыми мы успели разойтись, должно быть, навсегда; с другими, хотелось бы надеяться, долго будем близки друг другу. Благодаря одному из них - трижды упомянутому выше - появилась на свет эта книга. Но посвятить ее мне хотелось бы всем - всем нашим, университетским. Тем, кто был рядом в эту нелегкую пору.

6.IV.99. Москва

ВЛАСТЬ



ЦАРЬ И СТАРЕЦ

Помер же у нас православный царь,
Царь Александр Павлович...
Ты восстань-ка, пробудись, православный царь,
Погляди-ка, посмотри на нас, горьких...

Из народной песни.

СТАРЕЦ

4 сентября 1836 года у сельской кузницы в окрестностях города Красноуфимска, что в Пермской губернии, был задержан пожилой, лет шестидесяти мужчина, просивший подковать лошадь. Кузнецу, завязавшему с ним беседу, бросилось в глаза, что потрепанная крестьянская одежонка на плечах приезжего никак не подходит к его холеному лицу и рукам, к барским манерам и сдержанной, изысканной речи; к тому же на все обычные в таких случаях вопросы - куда, зачем, как звать и прочее - странный путник отвечал неохотно и уклончиво. Мужики, собравшиеся у кузницы, согласились с подозрениями ее хозяина - и всей толпой повлекли незнакомца в земской суд для выяснения личности.

В суде, на допросе неизвестный заявил, что "родопроисхождения" своего он не помнит; назвался "Федором Козьминым, сыном Козьминым же"; объявил, что вероисповедания он православного, неграмотен, холост. Официальное освидетельствование установило следующие приметы: "рост 2 арш. 6 1/2 верш. 1/ , волосы на голове и бороде светлорусые с проседью, нос и рот посредственные, глаза серые, подбородок кругловатый; от роду имеет не более 65 лет; на спине есть знаки от наказания кнутом или плетью". Суд, в свою очередь, приговорил Федора Козьмича, как "бродягу, родства не помнящего", к двадцати ударам плетью и ссылке в Сибирь на поселение.

Наказание это соответствовало тогдашним законам. В то же время и на следствии, и на пути в Сибирь, и на месте ссылки - в Томской губернии - разнообразное начальство, которое на Руси, как правило, к сантиментам не склонно, проявляло к своему подопечному некоторую мягкость и снисходительность; очевидно, даже толстокожие чиновники ощущали, что имеют дело не с обычным бродягой...В Томской губернии Федору Козьмичу была предоставлена известная свобода в выборе местожительства, и он менял его неоднократно: несколько лет жил на казенном Красноречном заводе, затем - в деревне Зерцалы и ее окрестностях; уходил на золотые прииски; надолго обосновался во владениях богатого и уважаемого краснореченского крестьянина Ивана Гавриловича Лобышева; наконец, в 1858 году поселился в нескольких верстах от Томска, на заимке купца Семена Феофановича Хромова, где и жил до самой кончины.

Все эти переезды вызывались прежде всего стремлением к уединению, которое каждый раз оказывалось недоступным для Федора Козьмича: он пользовался огромной, постоянно растущей популярностью, которая всякий раз настигала его на новом месте. Очень скоро после своего водворения в Сибирь этот "бродяга, родства не помнящий", стал для окружающих "благодатным старцем", к которо-

му со всех сторон стремились за советом и поучением. Поначалу Федора Козьмича осаждали крестьяне соседних деревень, затем в его скромном жилище все чаще стали появляться томские купцы, мещане и чиновники; приезжали гости и из куда более дальних краев...

Уже одним своим необычным благостным видом Федор Козьмич очаровывал посетителей. Это был высокий, широкоплечий, статный старик с белым красивым лицом; высокий залысый лоб, на котором почти не видно было морщин, и пронизательный, немного суровый взгляд больших серых глаз, свидетельствовавший о спокойном ясном уме, кудрявые мягкие волосы на висках и затылке, длинная, выходящая седая борода - все это придавало Федору Козьмичу обличие почти иконописное... Одежду старца всегда составляла длинная, ниже колен, белая холщовая рубаха, подпоясанная тонким ремешком, и такие же порты; сверху он иногда надевал черный кафтан, зимой же накидывал на плечи старую, облезшую доху.

Образ жизни старца вполне соответствовал его предельно скромной одежде. Обстановка всех его келий была одна и та же: стол, лежанка, два-три стула. На стене висели гравюры религиозного содержания: икона Божией Матери и Александра Невского, портреты некоторых духовных лиц; на столе лежало Евангелие, Псалтырь, молитвенник... Вставал старец очень рано и значительную часть дня проводил коленопреклоненным - в молитвах и размышлениях (при посмертном освидетельствовании тела Федора Козьмича на коленях были обнаружены толстые мозоли). Пища его была самая скудная: сухари и вода. При этом он, однако, не отказывался от угощения рыбой и даже мясом. Одной из своих восторженных почитательниц он как-то сказал: "Я вовсе не такой постник, за какого ты меня принимаешь..."

Заметно тяготятся посетителями, которых с каждым годом все прибывало, Федор Козьмич, тем не менее, редко отказывался от беседы с ними. В разговоре он обычно держался спокойно и строго, принимал гостя всегда стоя или прохаживался по келье, заложив руку за пояс - "по-военному"; выслушивал собеседника внимательно, слегка наклонившись вперед, - был глуховат... За советами к нему обращались по самым различным поводам. Крестьяне, например, сразу же оценили, что старец не только хорошо понимает нужды и хлопоты земледельца, но и относится к ним с большим уважением. Указания Федора Козьмича о времени сева, выборе земли под пашню, огородных работах принимались всегда почтительно и, судя по тому, что авторитет старца в крестьянской среде рос постоянно, давали благие результаты. Часто к старцу обращались с семейными делами, искали у него поддержки в тяжелые минуты жизни. Наставления Федора Козьмича всегда были серьезны и кратки, однако в подобных случаях он нередко предпочитал выражаться "прикровенно", прибегал к иносказаниям с тем, чтобы склонить страждущего к духовной работе, заставить его самого найти единственно правильное решение... Иногда старец пускался и в отвлеченные рассуждения: бывавшие у него посетители вспоминали впоследствии, что "уча уважать власть", Федор Козьмич в то же время постоянно внушал мысль об изначальном равенстве: "И цари, и полководцы, и архиерей - такие же люди, как и вы, только Богу угодно было одних наделить властью великою, а другим предначинать жить под их постоянным покровительством".

Многих из тех, кто приезжал к нему, старец интересовал совершенно бескорыстно, сам по себе, как явление "чуждое, необычное". Иногда, если его удавалось разговорить, подобное любопытство вознаграждалось с лихвой. Особенно благодарной темой для беседы оказывалась Отечественная война; говоря о событиях того времени, старец, по словам очевидца, "как бы перерождался: глаза его начинали гореть ярким блеском, и он весь оживал; сообщал же он такие подробности, вдавался в описание таких событий, что как бы сам переживал давно прошедшее время". Незаметно для себя, увлекшись рассказом, старец нередко поражал слушателей и столь же глубоким знанием высшего света, придворных кругов, правящей бюрократии. Создавалось впечатление, что он посвящен во многие интимные подробности жизни и деятельности таких знаменитых на рубеже XVII - XIX веков людей, как граф Аракчеев, митрополит Филарет, Суворов, Кутузов... Только о царе Павле Петровиче он не заговаривал никогда; да и имя царя Александра Павловича редко мелькало в его рассказах...

Конечно же, вопрос о том, кто такой "сей благодатный старец", живо интересовал всех его

многочисленных почитателей. Сам Федор Козьмич всячески избегал говорить о своем происхождении, о своей предыдущей, и н о й жизни. Так, на осторожную просьбу одного посетителя назвать имя родителей - чтобы можно было за них помолиться - старец строго отвечал: "Это тебе знать не нужно: святая церковь за них молится. Если открыть мне мое имя, меня скоро не станет... И если бы б я при прежних условиях жизни находился, то долголетней жизни не достиг бы". На прямой вопрос своего последнего хозяина Хромова, который в предчувствии близкой кончины тяжело заболевшего старца просил его открыть свое настоящее имя, последовал еще более решительный и лаконичный отказ: "Нет, это не может быть открыто..."

За долгие годы своего пребывания в Сибири Федор Козьмич лишь изредка, под воздействием нахлынувших чувств и воспоминаний, позволял себе коснуться запретной темы. Так, А. С. Окопишникова, дочь Хромова, вспоминала впоследствии, как однажды, погожим солнечным днем они с матерью отправились на заимку навестить своего постояльца и застали его на прогулке. Старец был задумчив; поздоровавшись с гостями, он неожиданно сказал: "Вот, паннушки, в такой же прекрасный день отстал я от общества. Где был и кто был, а очутился у вас на поляне..." Были у Федора Козьмича две знакомые старушки-ссылные, пришедшие с ним в Сибирь в одной партии. Обычно 30 августа они готовили нехитрое крестьянское угощение, и старец проводил с ними весь этот праздничный день - день поминовения Александра Невского. И вот здесь в приподнятом настроении он так же вспоминал иногда: "Какие торжества были в этот день в Петербурге! Стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу было освещенье..."

В связи со всем прочим - благородным видом старца, его изысканными манерами и совершенно невероятными для простого человека сведениями - подобные оговорки, которые почитатели Федора Козьмича ловили на лету, лишний раз убеждали в том, что в Томскую губернию он попал "с самых вершин". Это убеждение еще больше укреплялось рассказами о посещении старца людьми необычайными - либо заведомо важными, либо таинственными... Не раз навещал старца Афанасий, епископ Иркутский. Очевидец так описывал сцену их первой встречи в селе Краснореченском, когда Афанасий сам пригласил к себе Федора Козьмича: "Владыка вышел встретить его на крыльцо. Выйдя из однокли, старец Федор поклонился архиерею в ноги, а владыка старцу, причем они взяли друг у друга правую руку и поцеловались, как целуются между собою священники. Затем преосвященный, уступая дорогу старцу, просил его идти вперед, но старец не соглашался; наконец владыка взял старца за правую руку, ввел его в горницу, где раньше сам сидел, и начал с ним ходить, не выпуская его руки, как два брата. Долго они так ходили, много говорили даже не по-нашенски, не по-русски, и смеялись. Мы тогда удивились, кто такой наш старец, что ходит так с архиереем и говорит не по-нашенски".

Вышеупомянутая А. С. Окопишникова вспоминала, как видела старца, провожающего из кельи двух гостей: "молодую барыню и офицера в гусарской форме, похожего на покойного наследника Николая Александровича**". При прощании гусар поцеловал у старца руку... Вернувшись, Федор Козьмич с сияющим лицом сказал: "Деды-то как меня знали, отцы-то как меня знали, дети-то как меня знали, а внуки и правнуки вот каким видят".

Подобные загадочные посещения не прекратились и после смерти старца. Он умер в 1864 году и был похоронен в ограде томского Алексеевского монастыря; надпись на его могиле гласила: "Здесь погребено тело Великого Благословенного старца, Федора Козьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года" (характерно, что слова "великого, благословенного" были впоследствии замазаны белой краской по приказу губернатора Мерцалова). И могила эта пользовалась большим почетом не только у местного населения... Житель Томска Н. И. Зайков рассказывал, как в течение первого года после смерти Федора Козьмича к нему несколько раз обращались незнакомые, но явно важные лица "военного сословия", просили показать могилу и долго, на коленях молились перед ней... Известно, что позже эту могилу посещали некоторые члены царствующего дома: великий князь Алексей (брат вышеупомянутого Николая Александровича) и последний царь, Николай II, - во время поездки по Сибири, которую он совершал в 1893 году, еще будучи наследником престола. В конце XIX века видный сановник, член Государственного совета М. Н. Галкин-Врасский своим иждивением поставил над могилой часовню.

...Как ни скрывал старец свое прошлое, запретить строить догадки на этот счет было не в его силах. Еще при жизни Федора Козьмича имя его окутала легенда. После же его смерти томский губернатор мог сколько угодно густо замазывать соблазнительную надпись на его могиле, а грозный обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев рассылать специальные циркуляры, мобилизующие сибирское духовенство на борьбу с вредными слухами, - легенда эта распространялась все шире, становилась все популярнее. Из множества устных рассказов и некоторых публикаций в печати постепенно складывалось своеобразное житие старца Федора Козьмича, причем почти все многочисленные авторы его предлагали одно-единственное решение волнующей всех загадки...

Пожалуй, самым трогательным и интересным из рассказов о том, как приходили к этому решению различные лица, является удивительная, на сказку похожая запись воспоминаний некоей Александры Никифоровны, которая еще молодой девицей стала воспитанницей старца. Федор Козьмич заразил ее своей верою, увлек рассказами о монастырях и лаврах и в 1849 году благословил на дальний путь - на богомолье в Россию. Александра Никифоровна со множеством приключений, но вполне благополучно пропутешествовала через пол-империи и добралась в конце концов до Почаевского монастыря, особенно почитаемого старцем. Здесь она отыскала "добрую графиню" и не менее доброго графа Остен-Сакенов, на которых ей указал старец, как на людей, гостеприимно принимающих странников. Остен-Сакены увезли молодую богомолку к себе, в Кременчуг, где ей суждено было встретиться с самим императором Николаем I, приехавшим навестить своего любимого военачальника. Молодая сибирячка понравилась царю, и он с удовольствием с ней беседовал: "Многое кое о чем расспрашивал царь, - вспоминала впоследствии Александра Никифоровна, - и все я ему спроста-то пересказывала, а они (государь и граф) слушают, да смеются. Вот, говорит государь Остен-Сакену, какая у тебя смелая гостья-то приехала. - А чего же мне, говорю, бояться-то, со мною Бог, да святыми молитвами великий старец Федор Козьмич... Граф только улыбнулся, а Николай Павлович как бы напустился..."

В 1852 году Александра Никифоровна, наконец, вернулась в родные места. Старец встретил ее с большой радостью и тут же приступил к расспросам. "...И все-то я рассказала ему, где была, что видела и с кем разговаривала; слушал он меня со вниманием, обо всем расспрашивал подробно, а потом сильно задумался. Смотрела, смотрела я на него, да и говорю ему спроста: "Батюшка, Федор Козьмич, как вы на императора Александра Павловича похожи". Как я только это сказала, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да строго так на меня: "А ты почем знаешь? Кто это тебя научил так сказать мне?" Я и испугалась. - Никто, говорю, батюшка, - это я так спроста сказала; я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакена, мне и пришло на мысль, что вы на него похожи, и так же руку держите, как он". Услышав это, старец молча вышел из комнаты и, как видела рассказчица, заплакал, утирая рукавом слезы...

На страницах "жития" Федора Козьмича, в котором сейчас невозможно почти отличить правду от вымысла, подобных узнаваний множество; при этом узнают царя обычно даже не по портретам, а по своим собственным воспоминаниям. Ссылный - в прошлом дворцовый истопник - бежит к старцу "попросить молитвы" о больном товарище и - валится в обморок, увидев хорошо знакомого ему Александра "со всеми его отличительными, характерными признаками, но только уже в виде седого старца..." Другой ссылный - солдат - падает перед узнанным царем на колени; еще один солдат - на этот раз отставной - отдает старцу честь по-военному (обоих служивых царь просит "никому не говорить, кто он", но, как видим, вполне безуспешно...). Наконец, некая "чиновница Бердяева" также теряет сознание при виде Федора Козьмича, после чего он в сердцах говорит Хромову: "Не пропускайте сюда эту женщину..."

Так складывалось предание о том, что под именем старца Федора Козьмича скрывается царь Александр I, по официальным сведениям скончавшийся 19 ноября 1825 года в возрасте 48 лет... На первый взгляд это может показаться дикой и беспочвенной фантазией, о которой нельзя говорить всерьез. Однако в конце XIX - начале XX веков фантазия все в большей степени приобретает черты научной гипотезы. У нее появляются убежденные сторонники, которые пытаются придать ей необходи-

мую доказательность, и решительные противники - причем обе точки зрения складываются в результате исследовательской работы над многочисленными и разнообразными источниками.

Однако, прежде чем погрузиться в эту весьма ожесточенную дискуссию и получить возможность самим взвесить все "за" и "против", нам необходимо познакомиться с царем, так же, как только что мы познакомились со старцем, и решить для себя: возможно ли в принципе ставить вопрос об идентичности этих, казалось бы, невообразимо далеких друг от друга людей?..

ЦАРЬ

12 декабря 1777 года у великого князя Павла, наследника российского престола, родился сын, получивший имя в честь святого Александра Невского... Бабка новорожденного императрица Екатерина приложила немало сил, чтобы воспитать внука-первенца в духе любезного ей в те времена просвещения. С этой целью был специально подобран штат учителей и воспитателей, наиболее яркой фигурой среди которых был Фредерик Сезар де Лагарп - швейцарский гражданин, рекомендованный царице ее постоянным корреспондентом бароном Гриммом. Это был человек образованный, проникнутый идеями просветительской философии, отличавшийся редкой честностью и серьезным до педантизма отношением к своему делу. Он пришелся по сердцу умному, восприимчивому мальчику, быстро нашел с ним общий язык и сумел заразить будущего императора своими мыслями и чувствами. Александр заслушивался красноречивого учителя, когда тот толковал ему о добродетелях, присущих просвещенным правителям, и о пагубе деспотизма; убедительно и доходчиво разъяснял, сколь важную роль в управлении страной играют разумные, обязательные для всех законы; настойчиво внушал мысль о необходимости улучшить положение народа... Но даже расположенные к Лагарпу современники отмечали отсутствие в нем творческого начала, доктринерство и полную отвлеченность всех его рассуждений. Эти качества любимого педагога, в свою очередь, не могли не сказаться на ученике: Александр не за страх, а за совесть, воспринял от Лагарпа "высокие стремления"; но швейцарский гражданин, конечно же, не мог дать будущему царю ни малейшего представления о той стране, которой ему предстоит управлять. "Добродетели", "законы", "народ" и пр. - так и остались для Александра совершенно абстрактными понятиями.

Между тем, по мере того, как великий князь вырос, ему все чаще приходилось сталкиваться с российской действительностью, и она раскрывалась перед ним отнюдь не с казовой стороны. И пусть впечатления Александра ограничивались только самой высшей, придворной сферой - их хватило для того, чтобы вызвать смятение в юной душе... Правление стареющей императрицы все в большей степени теряло тот флёр внешней цивилизованности, "просвещенности", который поначалу так очаровывал современников, в том числе и серьезных европейских мыслителей. Деспотическая суть екатерининского режима становилась все очевидней: не "положительные законы", а произвол самой царицы и ее наглых фаворитов определяли государственную политику; высшие сановники, теряя не только совесть, но и осторожность, стремились урвать из казенных средств кусок пожирнее; при дворе открыто воцарились разврат, ложь, лицемерие, самый отвратительный клиентизм...

Столкнувшись с этой жуткой явью, Александр, очевидно, был жестоко разочарован: жизнь оказывалась невероятно далекой от тех прекрасных принципов, которые внушались ему с детства. Более того, всегда нуждавшийся в духовной поддержке Александр искал и не находил в своем окружении тех, кто разделял бы его мечты и надежды... Адам Чарторыйский, польский аристократ, находившийся в Петербурге на положении заложника, казалось бы, был Александру совершенно чужим, почти незнакомым человеком; но великий князь почуял в гордом поляке "своего по духу" - этого оказалось достаточно, чтобы с поразительной откровенностью открыть перед ним сердце. "Великий князь, - вспоминал Чарторыйский, - сказал мне, что он нисколько не разделяет воззрений и правил Екатерины двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее принципы... Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех проявлениях, что он любит свободу, на

которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за французской революцией...”

Жить с такими взглядами в Зимнем дворце было нелегко... К тому же Александр постоянно бывал и в Гатчине - своеобразном “уделе”, выделенном царицей Павлу, своему полуопальному наследнику, весь образ жизни которого определялся бесконечной муштрой небольшого гатчинского войска. Юноше поневоле приходилось лавировать между отцом и бабкой, павловской казармой и развращенным двором Екатерины. Именно в эти годы в характере будущего императора стали проявляться те черты - скрытность, недоверчивость, изменчивость в отношении к окружающим, - которые впоследствии позволяли называть его “византийцем” и “загадочным сфинксом”, обвинять в коварстве и лицемерии...

После смерти Екатерины положение Александра осложнилось еще больше. Если у Екатерины и были планы отстранить сына-ненавистника от престола и короновать любимого внука, то они остались втуне; в 1796 году Павел стал российским императором. Поначалу его политика определялась стремлением разрушить, переделать то, что было сделано покойной царицей; затем она вообще стала утрачивать смысл... Стремясь к единоличной, в полном смысле этого слова, власти, Павел все важнейшие государственные дела поставил в зависимость от своей несдержанной, взбалмошной, деспотичной натуры. В письме, с величайшей осторожностью доставленном покинувшему Россию Лагарпу, его воспитанник так характеризовал отцовскую “систему”: “...Благополучие государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот. Невозможно передать все те безрассудства, которые совершились здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах...”

К самому Александру отец относился с враждебной подозрительностью и не щадил его чувств: тиранил сына, оскорблял публично, вынуждал принимать участие во многих жестоких, иногда страшных делах. Более того, Павел, следуя здесь за проклинаемой матерью, готов был отстранить от престола законного наследника: почти открыто он подыскивал сыну “замену” среди своей немецкой родни... Страх за свое будущее, более того, за свою жизнь заставил Александра примкнуть к заговору против отца. Но несправедливо забывать и о другой, может быть, не менее весомой для Александра причине: он был твердо убежден, что отец погубит Россию; он искренне верил, что, сменив на троне Павла, сможет спасти страну, направить развитие ее по единственно верному пути. Участие великого князя в заговоре облегчалось и тем, что носило пассивный характер: Александру полагалось молча ждать и быть готовым взойти на освободившийся престол... Очевидно, он надеялся и на то, что переворот обойдется без кровопролития, хотя зная его организаторов и, прежде всего, графа Палена - человека холодного, решительного и безжалостного, рассчитывать на это было весьма наивно. Переворот 11 марта 1801 года завершился убийством Павла; Александр же принял на душу страшный, непростительный грех отцеубийства... Придя в себя после первого шока, молодой царь горячо принялся за государственные дела - только “блаженство подданных”, к которому он так искренне стремился, могло оправдать его перед историей, перед Богом, перед самим собой...

В письме к Джефферсону Александр писал: “Я не имею иллюзий относительно размеров препятствий, стоящих на пути к восстановлению порядка вещей, согласно с общим благом всех цивилизованных наций...” Что это за препятствия, было очевидно: во-первых, деспотизм власти, обрекавший страну на постоянные злоупотребления и произвол; во-вторых, крепостное право, превращавшее основную массу подданных русского царя в безгласный рабочий скот. Именно с реформ в этих сферах Александр и начал свое царствование, окружив себя “молодыми друзьями” - теми немногочисленными приближенными, в которых он встречал, как в Чарторыйском, искреннее сочувствие своим преобразовательным стремлениям. Старые сановники честили молодых реформаторов “якобинской шайкой”, с подозрением присматривались и к самому Александру... До “революционных ужасов” дело, однако, не дошло. В эти годы было упорядочено центральное управление. Созданы министерства, ясно определены функции Сената; отлажена взаимосвязь между центром и органами управления на местах; организован - через Сенат - общий контроль над деятельностью госаппарата. Вся эта система мер

была, очевидно, вполне уместна в стране, пережившей неурядицы последних лет царствования Екатерины и произвольно-деспотическое правление Павла. Но в этих реформах почти не прослеживалось влияние тех принципиально новых идей законности, гарантии прав населения и пр., которые так воодушевляли юного Александра на уроках Лагарпа, в сочувствии которым он признавался Чарто-рыйскому... Напротив, преобразования эти все больше укрепляли существующий строй, став своеобразным итогом многовековых усилий власти по устроению самодержавно-бюрократической государственности в России. Что же касалось изживания крепостного права, то здесь были достигнуты лишь самые скромные результаты: указ о вольных хлебопашцах 1803 года, предлагавший освобождать крестьян с землей за выкуп, носил рекомендательный характер: во главу угла была поставлена добрая воля хозяев-помещиков, которые в подавляющем большинстве своем не собирались расставаться с даровой рабочей силой.

Второй "приступ" к реформам Александр осуществил в 1808 - 1811 годах после неудачных войн с Наполеоном, завершившихся тяжелым для России Тильзитским миром. В это время его главным и, по сути, единственным сотрудником, более того, доверенным лицом стал М. М. Сперанский, который со свойственными ему четкостью и обстоятельностью воплотил благие, но туманные пожелания императора в грандиозный "План государственного преобразования". Суть плана была в том, чтобы наряду с бюрократической системой управления, формирующейся путем назначения сверху вниз и проводящей в жизнь повеления центральной власти, создать систему самоуправления, формирующуюся снизу вверх, путем выборов, и выражающую интересы различных слоев населения. Венчать эту систему должна была Государственная Дума - орган, деливший с верховной властью законодательные функции. Даже с учетом того, что право законодательной инициативы и окончательного решения оставалось за царем, воплощение этого плана в жизнь означало бы серьезный шаг вперед на пути создания такого государства, которое в наше время называется "правовым". Однако все ограничилось открытием в 1810 году Государственного Совета - органа, который по плану Сперанского должен был стать связующим звеном между царем и Думой, а на деле стал совещательным учреждением чисто бюрократического характера при царе.

Таким образом, реформы Александру не удались. Реальная жизнь никак не поддавалась абстрактным планам. Реальные люди совсем не походили на тех условных подданных, которым Александр искренне хотел обеспечить "блаженство". Страсти, корысть, личные интересы и, главное, интересы сословные - со всем этим молодому царю пришлось столкнуться к полной для него неожиданности. Даже скромные попытки упорядочить структуру госаппарата и смягчить крепостное право вызвали неодобрение со стороны высших сановников и столичного дворянства - тех, кто составлял ближайшее окружение Александра, главную его опору. План же Сперанского, предусматривавший принципиальные изменения в самодержавно-бюрократическом строе, оказался чреват целой бурей, поднявшейся в тех же кругах, - чтобы утишить ее царю пришлось пожертвовать своим ни в чем не повинным наперсником, отправить его в ссылку.

На пути к перемене царь столкнулся и с еще одним, неожиданным препятствием - своим собственным положением в государстве. Поставив задачу ввести в России законность, гарантировать права ее граждан и увенчать все эти деяния конституцией, царь в то же время не желал ни на йоту ограничить свою личную власть. В известной мере это объяснялось сопротивлением высших слоев - Александр опасался, что отказавшись от абсолютной власти, он выпустит из рук свое главное оружие. Но вести страну к конституционному строю, укрепляя в то же время самодержавие, - поистине, Александр ставил перед собой невыполнимую задачу... Постепенно у него возникает ощущение собственного бессилия, невозможности достичь поставленной цели. Усиливается разочарование в людях - и, наверное, в себе самом. Характер царя становится все более скрытным. "Никому не верю" - вот фраза, которая, как нельзя лучше, определяет состояние Александра к концу первого десятилетия его царствования.

Пришел 1812 год... Отечественная война была страшным испытанием для Александра. Противник, не знавший поражений, воспринимавшийся в России многими верующими, как Антихрист, неук-

лонно продвигался в глубь страны. В ближайшем окружении Александра царили панические настроения. Надежды на победу становились все призрачной. И в это, поистине тяжелое время император, изменив с детства внушавшемуся ему холодному, рациональному отношению к религии, берет в руки Священное Писание... Впоследствии он вспоминал: "Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души". Царь становится на молитву...

Изгнание Наполеона из России, заграничные походы, торжественное вступление в Париж в 1814 году - все это еще больше укрепляло Александра в его религиозном настроении; царь усваивает новые взгляды на мир, на людей, на свои жизненные задачи. На первое место теперь выдвигаются не политические реформы, не преобразование хозяйственных отношений, а религиозно-нравственное усовершенствование человечества... Главным оружием здесь должно было стать учение Христа. С подобной идеей царь обратился к Европе - Священный Союз, инициатором и вдохновителем которого был Александр, объединил ее правителей во имя управления народами "по заповедям святой веры", на основе "вечного закона Бога Спасителя". Эта же идея вдохновляла его и во внутренних русских делах.

После Отечественной войны в России под покровительством царя широко разворачивает свою деятельность Библейское общество, распространявшее в разных слоях населения русский перевод Библии. Все чаще публикуются статьи и книги религиозно-мистического содержания. Министерство народного просвещения получает характерную "добавку" в своем официальном названии - "...и духовных дел"; во главе его становится князь А. Н. Голицын, искренне разделявший новое настроение императора и стремившийся привести молодое русское просвещение в соответствие с "истинным христианством".

Однако религиозные устремления императора, при всем своем отличии от его реформаторских планов, имели с ними одно роковое сходство: были столь же абстрактны и оторваны от реальной жизни. Христианская вера Александра имела утонченный, отвлеченно-религиозный характер и была весьма далека от православного, так же, впрочем, как и от любого другого церковного исповедания. Она годилась для узкой секты избранных, экзальтированных мистиков, но внедрить нечто подобное в русскую жизнь, положить в основу русского культурного развития было, пожалуй, еще менее возможно, чем превращение крепостной России в конституционную монархию... Проводниками религиозных идей императора стали либо свирепые ханжи, либо лукавые бездушные карьеристы; эти "истинные христиане" наиболее ярко проявили себя в беспощадном гонении серьезной профессуры... Под совместным воздействием придворных противников министра, недовольных ростом его влияния, и церковных иерархов, испуганных "царской ересью", Александр дал Голицыну отставку и прекратил религиозные эксперименты, в которых он сам уже начал разочаровываться.

Начало двадцатых годов для царя - время жестокого, последнего кризиса. "Как подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря; от этого устаю", - так говорил он в 1824 году. И вместе с тем, Александр отказывается от каких бы то ни было попыток преобразовать Россию, стремясь к одному - худо ли, бедно поддерживать в ней относительный порядок. С обычным для себя пониманием людей, он находит подходящую опору в этом деле - дельного, не рассуждающего и совершенно беспощадного в своей исполнительности Аракчеева. Высокие мечты гаснут в будничной рутине - лишь страшные военные поселения становятся последним зловещим отблеском александровских реформ... А в обществе, разочарованном в своем, некогда обожаемом, повелителе, возникают тем временем революционные организации, которые преследуют, по сути, его, Александра, цели. "...Я разделял и поощрял эти заблуждения; не мне применять строгие меры", - так отвечал царь на один из доносов. Между тем заговорщики именно в разбудившем их царе видели одно из главных препятствий на пути преобразований и ставили вопрос о царевубийстве... А Александра, встревоженного известиями о заговоре, должны были все еще посещать мрачные воспоминания: ведь некогда и он, стремясь облагодетельствовать Россию, принял участие в царевубийстве - убийстве своего отца. И вот пришло время подводить итоги...

Осенью 1825 года Александр с супругой Елизаветой Алексеевной выехал из Петербурга в Таганрог: императрица была больна, и доктора сочли климат Приазовья подходящим для ее исцеления. Перед выездом царь посетил Невскую лавру, где отслужил молебен и имел беседу с схимником, отцом Алексеем, известным своей подвижнической жизнью. Проведя несколько недель в Таганроге, обжившись на новом месте, царь в конце октября совершил поездку в Крым. Из Крыма он вернулся 5 ноября больным, мучимым лихорадкой, расстройством желудка... Болезнь продолжалась две недели, усиливаясь с каждым днем, - и 19 ноября в Петербург полетело известие о кончине государя императора.

Завершая это предельно краткое жизнеописание Александра, отметим утонченность его натуры, искренность и напряженность духовных поисков, которые в конце концов привели к жестокому кризису, ощущавшемуся не только родственниками и приближенными, но и теми, кто был отдален от царя. Отметим также, что смерть царя была совершенно неожиданной и свидетелями ее стал очень узкий круг приближенных Александра. Все это вместе взятое и сделало возможным возникновение удивительной, фантастической легенды об "уходе" императора и житии его в Сибири под именем старца Федора Козьмича.

ЛЕГЕНДА

В создании легенды можно выделить несколько этапов. Вскоре после смерти императора по Руси пошло великое множество слухов; некий дворовый человек Федор Федоров заполнил ими целую тетрадь с характерным заглавием: "Московские новости или новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утверждать ни одних не могу, но решился на досуге описывать, для дальнего времени незабвенного, именно 1825 года, с декабря 25 дня". Государь не умер; в гробу, привезенном в Петербург, не его тело; он "скрывается" - вот при всем разнообразии сопутствующих деталей основной сюжет большинства этих записей (всего их в тетради 51). Затем постепенно слухи утихли, чтобы с новой силой заявить о себе в 1860 - 70-х - в последние годы жизни Федора Козьмича и после его смерти. "Скрывавшийся" царь был обнаружен...

В конце XIX - начале XX веков в печати появился целый ряд любопытных публикаций, связанных с кончиной императора и житием старца. Большой интерес, в частности, представляли приложения к фундаментальному труду Н. К. Шильдера "Император Александр I, его жизнь и царствование", опубликованному в 1904 году. И, кстати, сам Шильдер, очень серьезный и компетентный историк, допускал возможность "ухода" Александра Павловича... Затем стали появляться работы, специально посвященные легенде, авторы которых обращались как к опубликованным, так и к архивным материалам, пытались оценить степень ее достоверности. Одни из них приходили к выводу о несомненном тождестве Александра с сибирским старцем, другие - не менее решительно отвергали такую возможность. "Царственный мистик" В. В. Барятинского - вот, очевидно, самая яркая книга в пользу легенды. Противоположную точку зрения защищал великий князь Николай Михайлович ("Легенда о кончине императора Александра I"); после революции с развернутой аргументацией, направленной против сторонников легенды, выступил К. В. Кудряшов в работе "Александр I и тайна Федора Козьмича".

Отметим узловые пункты этой многолетней дискуссии. Прежде всего вставал вопрос: зачем вообще Александру нужно было инсценировать свою смерть? Те, кто считал легенду истиной, писали о духовном кризисе Александра, о его стремлении искупить свои грехи отказом от власти. Барятинский на первых же страницах своей книги давал целую сводку отрывков из воспоминаний близких к Александру людей, из которых следовало, что мысль об "отставке" постоянно занимала Александра в последние годы: "Я устал и не в силах сносить тягость правительствования..."

Из лагеря противников следует возражение, что подобное желание Александр выражал не только в последние годы, но и на протяжении чуть ли не всего своего царствования, благополучнейшим

образом оставаясь при этом на престоле. "Целью всех этих заявлений о предстоящем отречении было показать, как мало дорожит он своим положением, и в то же время испытывать близких к себе людей, читать их сокровенные мысли..." - сказывался подозрительный, недоверчивый характер царя. К тому же, заявляя о своем желании отказаться от власти, Александр никогда не упоминал о том, что собирается сделать это таким необычным образом. Напротив, незадолго до смерти, упомянув очередной раз в разговоре с одним из самых близких к себе людей, генерал-адъютантом П. Н. Волконским, о своем стремлении к частной жизни, царь сказал: "И ты выйдешь со мной в отставку и будешь у меня библиотекарем". Речь, таким образом, явно шла не о скитаниях по Руси в мужицком обличье...

Затем, первостепенное значение в этом споре имел анализ обстоятельств смерти Александра. Здесь позиция сторонников легенды была, пожалуй, наиболее уязвима. Дело в том, что существует целый ряд документов - дневник и письма Елизаветы Алексеевны, записки и письма Волконского, записи Я. В. Виллие, лечившего Александра, воспоминания другого врача, бывшего при царе, Д. К. Тарасова, - по которым весь ход болезни императора прослеживался в мельчайших деталях. Если эти документы подлинны, тогда ни о какой достоверности легенды не может идти и речи. Развивать рассуждения на тему Александр - Федор Козьмич можно было только преодолев это препятствие - что, не без лихости, и пытался сделать Барятинский.

Его соображения заключались в следующем: 1). Во всех вышеупомянутых документах есть целый ряд различий в описании общего хода событий, развития болезни Александра, бытовых подробностей и т. д.; 2). Дневник Елизаветы Алексеевны неожиданно обрывается на записи 11 ноября: "Около пяти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело. Виллие был весел, он сказал мне, что у него (императора - А. Л.) жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне". Исходя из этого, Барятинский делал смелый вывод: именно 11 ноября между Александром и его супругой состоялось решительное объяснение: царь объявил о своем намерении уйти... Дальнейшие записи в дневнике императрицы содержали рассказ об этом, почему и были уничтожены впоследствии. Все же прочие документы, начиная с 11 ноября, создавались задним числом их авторами, близкими к Александру людьми, взявшимися "прикрыть" уход обожаемого императора, - вот откуда их взаимная противоречивость.

По мнению оппонентов Барятинского, его рассуждения в высшей степени эфемерны. Что касалось несовпадений в рассказе о последних днях Александра, то наиболее серьезные из них содержались в воспоминаниях Тарасова, написанных, в отличие от других свидетельств, много лет спустя после этих событий, - и здесь необходимо было делать скидку на несовершенство человеческой памяти. Подавляющее большинство других различий объяснялось противниками легенды либо плохой осведомленностью того или иного автора, либо незначительностью описываемого. Предположение же Барятинского о том, что дневник Елизаветы Алексеевны не оканчивался 11 ноября, не требовалось и опровергать, поскольку сам Барятинский никаких достаточно серьезных обоснований этой догадке в своей книге не привел.

Дальше вставал вопрос о теле, подвергнутом вскрытию, положенном в свинцовый гроб и отправленном в Петербург. Сторонники легенды, естественно, утверждали, что в гробу лежало отнюдь не тело императора... Они предлагали на выбор три версии: императора "заменял" фельдъегерь Масков, погибший у него на глазах от несчастного случая - вывалившись из коляски и разбив голову; в гроб было положено тело запоротого насмерть солдата, или - несколько измененный вариант - тело солдата, умершего от болезни. Два последних предположения, судя по всему, основывались исключительно на слухах, ходивших после смерти императора. При этом оговаривалось некоторое сходство покойника с Александром - оговорка необходимая, иначе пришлось бы значительно увеличить число посвященных в тайну "ухода" за счет разных лиц, так или иначе видевших тело, т. е. медиков и фельдшеров, вскрывавших его и готовивших к перевозке, таганрогской и столичной прислуги, - не говоря уже о всех членах императорской семьи, прощавшихся с покойным в Петербурге. Кстати, Барятинский обращал внимание на "навязчивые" восклицания при этом прощании вдовствующей императрицы: "Да,

это мой сын, мой дорогой Александр" - Мария Федоровна-де, посвященная в суть дела, сознательно искажала истину.

Вообще энтузиазм, с которым Барятинский стремился обернуть в пользу легенды чуть ли не любой, даже явно противоречащий ей эпизод, просто поразителен... В то же время именно в этом вопросе он добился, пожалуй, наиболее любопытных результатов. Барятинский провел своеобразную экспертизу: изъяв из официального протокола о вскрытии царского тела все, что могло бы подсказать, о ком идет речь, он разослал копии четырем врачам-светилам в медицинской науке того времени. Обращаясь к ним с просьбой установить причину смерти, Барятинский указал предполагаемые варианты: малярия или брюшной тиф (в пользу этих причин свидетельствовал весь документально зафиксированный ход болезни императора); сотрясение мозга в результате несчастного случая (Масков); телесное наказание (вариант с запоротым солдатом). Ответы медиков были просто поразительны. Один из них - хирург К.П. Домровский - ссылаясь на скудность данных, сообщаемых протоколом, отказался делать положительный вывод, но, тем не менее, решительно заявил, что смерть произошла не от малярии и не от брюшного тифа. Это, кстати, было общим мнением всех четырех корреспондентов Барятинского. Однако коллеги нерешительного хирурга оказались смелее: с редким единодушием они определили причину смертельного исхода - запущенный сифилис... Авторитетность вывода подчеркивалась тем, что один из опрошенных - М. П. Манассеин - был, как раз, известный сифилиолог. Подобный результат действительно "путал концы". Барятинский совершенно справедливо писал по этому поводу: "Если даже допустить, что император Александр когда бы то ни было и где бы то ни было заразился сифилисом (что совершенно не соответствует тому, что о нем известно), то весь ход "болезни" все-таки не соответствует такому исходу".

Правда, экспертизе, проведенной Барятинским, его главный оппонент Кудряшов попытался противопоставить свою; он обратился за помощью к авторитетному патологоанатому Ф. Я. Чистовичу. Последний решительно опроверг своих предшественников, заявив, что никаких данных, указывающих на заболевание сифилисом, в протоколе нет. Чистович считал, что "Александр I страдал какой-то инфекционной болезнью, протекающей с желтухой и нагноительным типом лихорадки..." Отметим, однако, что Кудряшов в этом случае действовал не вполне добросовестно: из его собственных слов следует, что Чистович не только знал, о ком идет речь в протоколе, но и был ознакомлен со всей совокупностью материалов, рассказывающих о последних днях императора. Чистота эксперимента, таким образом, грубо нарушалась: ведь одно дело, когда эксперт ставит диагноз, опираясь на вполне отвлеченные данные, и совсем другое, когда ему предлагается определить свою позицию по отношению к такой сложной, запутанной и в некотором смысле скандальной истории: здесь сразу же появляется масса приводящих обстоятельств... Характерно и то, что мнение своих коллег Чистович опровергал одной лаконичной, резкой и совершенно бездоказательной фразой.

Другой комплекс спорных вопросов был связан уже непосредственно с Федором Козьмичем. Здесь противники легенды безоговорочно отвергли все рассказы и предания об обмолвках старца, случаях "узнавания", посещения его загадочными "высшими особами" и прочее, относя все это к сфере безудержной народной фантазии. "В такой стране, как Россия, - писал Николай Михайлович, - уже с древних времен народ часто поддавался самым нелепым слухам, невероятным сказаниям и имел склонность придавать веру всему сверхъестественному. Стоит только вспомнить появление самозванцев... Этому обычно способствовала внезапная кончина или наследника престола, или самого монарха, как это было при убийстве царевича Дмитрия, казни Алексея Петровича и насильственной смерти Петра III". В ответ на это справедливое, в принципе, замечание Барятинский не менее справедливо писал, что в истории Федора Козьмича есть свои особенности, главная из которых - старец ни в коем случае не был самозванцем. Напротив, он старательно скрывал свое происхождение, в корне пресекая всякие домыслы на этот счет. И, тем не менее, слухи о том, что Федор Козьмич - добровольно отрекшийся от власти царь, оказались настолько устойчивы, что пережили старца и сохранились в народной среде вплоть до начала XX века. Уже одно это, по мнению Барятинского, заставляет отнести к ним с особенным вниманием, а не отвергать гуртом, без всякого анализа.

Конечно же, особый интерес для исследователей представляли описания внешнего облика старца. Правда, Кудряшов приводит сообщение, которое объясняет это сходство чрезвычайно просто: "неизвестный художник уже "впоследствии", после смерти старца воспроизвел портрет его во весь рост", "руководствуясь притом портретом императора Александра I". (К сожалению, в книге Кудряшова, вообще очень основательной и снабженной солидным справочным аппаратом, нет ссылки на то, откуда он почерпнул это сообщение). Исследователь приводит другой, менее известный рисунок, несомненно сделанный с натуры и изображающий старца на смертном одре, отмечая, что "орлиная форма носа, жесткое выражение нижней части лица и прямой лоб - черты, конечно, не Александра I". Но ведь опять-таки известно, как искажает смерть черты лица: нос заостряется, рот западает... В целом изобразительный материал не дает данных, которые позволили бы решить интересующий нас вопрос однозначно.

То же самое можно сказать и о рукописном "наследстве" старца. Это - две записки, найденные в мешочке, висевшем у изголовья Федора Козьмича, про который он, умирая, сказал: "В нем моя тайна". Записки представляют особый шифр. На лицевой стороне одной из них значится:

"видишили никакое вас безсловесие счастье слово изнесе".

На обороте:

"Но егда убо А молчат П возвещают".

На лицевой стороне второй записки:

***1, 2, 3, 4
о, в, а, зн а крыются струфиан
Дк ео а м в р
С З Д Я***

На обратной:

***во во
1837 Г.Мар. 26 в "вол"
43 Пар.***

Что писать цифровые и буквенные "ребусы" было в обычае старца, подтверждается целым рядом свидетельств. Трудно сказать, имеет ли шифр разгадку или представляет собой мистификацию со стороны человека, твердо решившего сохранить свою тайну и после смерти. Предлагаем читателям поупражнять свои логические способности и самим разгадать сей секрет; надо надеяться, что достигнутые результаты будут более осмысленны и не так произвольны, как совершенно нелепые "разгадки" Барятинского (см. "Царственный мистик", стр. 141-143) и некоего И. С. Петрова (Вел. кн. Николай Михайлович. "Легенда о кончине императора Александра", стр. 48-49).

Но помимо темного смысла в записках, казалось бы, должно быть и нечто бесспорное - почерк... К тому же, кроме таинственных записок сохранились еще и написанные рукой Федора Козьмича несколько изречений из Священного Писания. Однако и здесь мы едва ли можем прийти к однозначному результату. Без всякой экспертизы очевидно, что почерк, которым были написаны изречения, не схож с почерком Александра I. Однако Барятинский справедливо обратил внимание, что он не так уж безусловно похож и на почерк шифрованных записей. Скажем написание буквы "д" - хвостик книзу с росчерком - здесь куда более близко Александру; в записи же изречений у этой буквы тщательно вырисовывается закрученный вверх хвост... По мнению Барятинского, старец сознательно менял почерк, и здесь тщательно оберегая свою тайну.

* * *

Такова в общих чертах легенда об императоре всероссийском, добровольно отказавшемся от своей неограниченной власти и ушедшем бродяжничать и молиться - во имя искупления своих грехов, во имя духовного совершенствования и укрепления веры. Мы видели, сколько слабых сторон в доказательствах достоверности этой легенды; и в то же время, надо признать, что история смерти - "ухода" Александра сложна, запутана и до сих пор ее едва ли можно оценивать однозначно, безоговорочно отвергая, как бессмысленную выдумку. Смысл в ней как раз был... Ведь легенда эта интересна прежде всего тем, что сложилась, тем, что существует до сих пор. В ее содержании, как в капле воды, отразилась вся фантастичность, сказочность, особость русской истории. В какой еще европейской стране XIX века можно было отыскать правителя, подобного Александру: образованного, утонченного, светского - и в то же время способного породить в народе веру в возможность своего превращения сперва в нищего бродягу, безропотно сносящего телесные наказания, а затем - в блаженного старца? И где еще можно сыскать народ, способный так искренне и надолго поверить в это?.. Трудно сказать, будет ли легенда когда-нибудь опровергнута, или - что еще менее вероятно - появятся убедительные свидетельства ее истинности. Но не случайно ведь в свое время Лев Толстой написал "Дневник Федора Козьмича"; не случайно Даниил Андреев в своей вдохновенной "Розе мира" возвел Александра - Федора Козьмича - в сонм небесных праведников, поставил его во главе "просветительских сил России"... Легенда эта всегда будет волновать историков, писателей, мыслителей и просто всех, кто хочет понять эту удивительную страну.



ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ

Статья написана в 1998 году для русско-польского сборника, интересно задуманного: статья о русском духовенстве должна соответствовать статье о духовенстве польском, статье о русской интеллигенции - статья о польской интеллигенции и т. д. Судьба сборника, который предполагалось опубликовать в конце 1998 года, мне неизвестна.

РЕФОРМА

“Церковь и государство не должны быть враждебны друг другу. Кесарево и Божие не должно быть в конфликте, но в полной гармонии и согласии, друг другу помогая, но не упраздняя свободы и самостоятельности каждого в его собственной автономной области. По официальной терминологии это “симфония”... Церковь ведаёт делами божественными, небесными. Государство - человеческими, земными. Но в то же время государство всемерно печется о хранении церковных догматов и чести священства. А священство вместе с государством направляет всю общественную жизнь по путям, угодным Богу. При таком единстве идеальной христианской цели государство и церковь мыслятся двумя различными функциями одного и того же организма... Их единство уподобляется единству человека, состоящего из души и тела; каждой природе соответствует управляющая ею власть: императора - телом; патриарха - душой”¹.

Мы сочли возможным привести столь обширную цитату, поскольку в ней, как нигде, пожалуй, полно, ясно и выразительно изложено представление о высоком идеале земного существования православной церкви. “Симфония” никогда не была воплощена в жизнь, но все же долгое время пути к ней на Руси оставались, в принципе, открытыми, - вплоть до начала XVIII века, когда Петр I перекрыл их наглухо, да еще и заставы надежные поставил, чтобы никто не совался...

Знаменитая синодальная реформа, упразднившая патриаршество и безоговорочно подчинившая церковь царю, уподобила ее прочим государственным органам - с немногими и неважными отличиями. Об этом свидетельствовало и само определение нового руководящего органа церкви - Синода, заложенное в “Духовном регламенте”: “Духовная коллегия, т. е. еще один орган центрального управления, наряду с коллегиями военной, иностранных дел, вотчинной и прочими. Исчез сидящий рядом с царем православным патриарх, исчезла и идея особого права, в том числе и церкви... Церковь в подчиненном царю аппарате министерств и ведомств лишь одно из министерств или ведомств, а именно “Ведомство Православного Исповедания”, сокращенно “В. П. И.” - классический штампель на всех официальных бумагах всего церковного управления синодального периода”².

Преемники Петра I действовали в том же духе. Важнейшим шагом вслед за Синодальной реформой была секуляризация церковных земель, проведенная Екатериной II в первой половине 1760-х годов. Лишив церковь ее доходов, государственная власть сама стала выплачивать содержание духовенству. Получая с конфискованных у церкви земель огромные доходы, государство обрело подавляющее большинство рядовых служителей церкви на тяжкое, а нередко полунищее существование. При

Екатерине II в штаты, которые получали установленный государством оклад, вошли только соборы и немногим более 100 церквей. Главными источниками существования для подавляющего большинства священников - и попадавших в штаты и "заштатных" - были, во-первых, приписанное к каждой церкви небольшое количество земли (по 33 десятины) и, во-вторых, фиксированная плата за требы и разнообразные сборы с прихожан.

При всех потрясениях, пережитых русским духовенством в XVIII в., оно все же сохранило себя как особое сословие, во всем - и в восприятии мира, и во внешности, и в обыденном поведении. И характерно, что Петр I и его преемники, безжалостно ломая русскую церковь на западный, протестантский, образец, не рискнули-таки довести дело до логического конца. Разрушить духовное сословие, открыв в него широкий доступ со стороны, обрить священников, по образцу других служилых людей, нарядить их в сюртуки - на это не хватило решимости даже у Великого потрясателя устоев...³

Особая, неистребимая повадка духовенства должна была раздражать - и нередко раздражала - государственную власть, стремившуюся к полной "регулярности" и единообразию. Однако, все же, синодальная реформа в значительной степени эту проблему решила: позволив бородатому духовенству сохранить свою бытовую, психологическую и прочую особенность, государство в то же время и службу его и жизнь повседневную подчинило строжайшему контролю со стороны бритых чиновников.

Реальным, полномочным главой Синода был обер-прокурор - лицо светское, для того и внедренное в этот орган, чтобы осуществлять безоговорочный диктат государства над церковью. Не лучшим было и положение на местах - в епархиях. Формально дела церкви здесь находились в руках коллективного органа, созданного по образцу Синода, в котором, однако, представители местного духовенства - благочинные - заседали под руководством своего естественного главы - архиерея. Но в то же время и весь ход заседания по тому или иному вопросу, и его окончательное решение - все это зависело от другого, чисто бюрократического органа, который вел канцелярское делопроизводство, от духовной консистории. Именно этот орган, в котором служили обыкновенные светские чиновники, выруливал в нужном направлении несведущих в бюрократических хитросплетениях благочинных. Секретарь же духовной консистории был несомненным хозяином положения в епархии. Хотя по консисторскому уставу он подчинялся непосредственному архиерею, назначал и смещал его с должности непосредственно обер-прокурор⁴. Перед обер-прокурором, через голову архиерея, секретарь отчитывался о деятельности духовной консистории. Он владел всей информацией, он мог дать любому делу тот или иной ход, он имел всеисильного покровителя в лице обер-прокурора... Немного находилось архиереев, решавшихся конфликтовать со столь могущественным и реально значимым лицом.

Таким образом, вся церковная организация была плотно, сверху донизу, окутана паутиной светской бюрократии, лишавшей ее возможности действовать сколь-нибудь самостоятельно. Церковные реформы 1860-х годов практически ни в чем серьезно не изменили это противоестественное положение. Православная церковь продолжала существовать под железной пятой имперской бюрократии вплоть до 1917 года...

Еще раз подчеркнем, что подобное положение было несомненно противоестественным. Историки, как церковные, так и светские, единодушно и вполне справедливо отмечают, что синодальная реформа имела протестантские корни. Но в Европе протестантизм был органичен и последователен. Он победил там, где ему суждено было победить, причем победил основательно, изменив не только формально положение церкви - в частности, в ее взаимоотношениях с государством, - но и самый дух церковного учения. В России же реформа была проведена сверху, бестрепетной рукой Петра, по одной-единственной причине: государь не желал иметь соперников... Никаких серьезных, органичных оснований, диктовавшихся внутренним ходом развития православной церкви, на то, очевидно, не было. Дух православного учения остался прежним, не потерпев никаких изъятий, но был насильно втиснут в чуждую для него форму. Трудно представить более грубое и беспощадное нарушение самой идеи "симфонии".

Русское духовенство XVIII - XIX веков вынуждено было существовать одновременно в двух мирах: противоречащих, более того - враждебных друг другу, и в то же время неизменно пересекающихся,

неразрывно взаимосвязанных... Сама по себе церковная служба, обличие православного храма, творения святых отцов, вдохновлявшие и поддерживавшие священство, - все это было Богово, идущее из глубины веков, от крещения Руси, от первого благовеста. Но в это стройное, традиционное духовное бытие постоянно и назойливо врезалось кесарево, стремящееся, вопреки Христу, подчинить себе Богово, превратить служение Господу в простое отправление службы государственной.

В результате, существование православного духовенства в России тех времен было сложным и противоречивым. Равнодушные этих противоречий не замечали или смирились с ними на удивление покорно; иных столь неестественное положение мучило, изнуряло, коверкало; немногим дано было совершить подвиги...

В ЗЕМНОЙ ЮДОЛИ

Великое множество настроений характеризовало жизнь российского духовенства в XVIII - XIX в.в. Великое множество жалоб и сетований раздавалось по поводу безобразного духовного образования (пресловутая бурса!), на ограниченность сословных прав духовенства, на многочисленные сложности, связанные с назначением в приход.

Начать, признаться, надо бы
Почти с рожденья самого,
Как достается грамота
Поповскому сынку,
Какой ценой поповичам
Священство покупается,
Да лучше помолчим!⁵

Помолчим и мы, хотя, очевидно, по иным, менее деликатным причинам, чем те, которые понуждали к молчанию Некрасовского священника. Сейчас совершенно ясно, что все названия и многие другие несообразности церковной жизни были вторичными; все они порождались двумя главными пороками, predeterminedными реформой церкви - бюрократизацией духовенства и его материальной необеспеченностью.

Начнем с материальной необеспеченности. Нужно сказать, что долгое время, вплоть до эпохи реформ, духовенство могло лишь точить невидимые миру слезы: будучи сословием чрезвычайно замкнутым, обособленным и предельно законопослушным, все беды свои оно переживало безгласно. Между тем в народе и обществе было устойчивое убеждение в материальном благополучии духовенства, так емко выраженное одним из Некрасовских героев:

Попова каша - с маслицем,
Попов пирог - с начинкою,
Поповы щи - с сметком!
Жена попова толстая,
Попова дочка белая,
Попова лошадь жирная,
Пчела попова сытая,
Как колокол гудет!⁶

Первые три строки вышеприведенного отрывка пошли гулять по страницам газет, журналов, книг, став поистине крылатыми, хотя Некрасов в данном случае, так же, как и во многих других, пустил в литературный обиход то, что давно ходило в народе. Подобное представление о достатке духовенства

сложилось в народной среде, очевидно, потому, что крестьянам постоянно приходилось давать, а причту - брать; ведь плата за требы и разнообразные сборы с населения были одним из главных источников существования духовных лиц. Вопрос в том, насколько обилен был сей источник...

Что касается платы за требы, то они со времен Екатерины II достаточно строго фиксировались и во все времена были очень невелики. П. В. Знаменский таксу за требы, установленную в проникнутое "антиклерикальным" духом правление Екатерины II, справедливо назвал ничтожной: 3 коп. за крещение, 10 коп. за брак, столько же за погребение и т. д.⁷ Естественно, что впоследствии плата за требы росла, но, очевидно, в одном ритме с падением стоимости рубля... Попытки же духовенства нарушить этот ритм в свою пользу решительно пресекались если не окриком со стороны светской власти, то сопротивлением самих прихожан. С. Я. Елпатьевский, известный писатель, сын дьякона одного из приходов небогатой Владимирской губернии, в чрезвычайно интересных воспоминаниях о своем детстве писал: "Попробовал наш священник увеличить плату за требы, но по приходу пошел шум, и приехавший благочинный посоветовал батюшке оставить все как было".

Между тем Елпатьевский утверждал: "Отец был дьяконом, но даже если бы был и священником, не мог бы жить на доходы с прихода. Их было мало этих доходов. Три рубля за свадьбу, десять копеек за годовичное поминовение усопших, три копейки за молебен, столько же за панихиду, плата за другие требы - вот и все денежные доходы. Остальное собиралось рожью и овсом, караваями хлеба на первой неделе поста, яйцами на Пасхе. А приходы по нашим местам были маленькие"⁸.

Детство Елпатьевского пришлось еще на "старые времена" - 1850-е годы. Однако и в пореформенную эпоху положение в этой сфере менялось медленно. Такой внимательный и надежный свидетель, как А. Н. Энгельгардт, писал в 1870-х годах: "Не знаю, как в других местах, но у нас (в Смоленской губернии - А. Л.) церковей множество, приходы маленькие, крестьяне бедны, поповские доходы ничтожны". За свершение водосвятия на скотном дворе самого автора, например, "попы", как обобщенно называет Энгельгардт весь причт, получают всего 25 коп., из которых 11 приходится священнику, 5,5 коп. дьякону, по 2, 75 коп. каждому их трех дьячков. За день "попы" могут объехать максимум три поместья, отслужить три службы... Правда, пишет Энгельгардт, с мужиков попы получают больше: "У крестьян службы не совершаются ежемесячно, но два или три раза в год попы обходят все дворы... и в каждом дворе совершают одну, две, четыре службы..." Во время таких обходов, замечает Энгельгардт, "ежедневный заработок порядочный, но все-таки в сумме доход ничтожный".⁹

Кроме того у заработка этого была еще одна тяжелая сторона - тем более тяжелая, чем достойней, чем "ближе к Богу" был священник:

А то еще не всякому
И мил крестьянский грош.
.....
Деревни наши бедные,
А в них крестьяне хворые
Да женщины печальницы,
Кормилицы, поилицы,
Рабыни, богомолицы,
И труженицы вечные,
Господь прибавь им сил!
С таких трудов копейками
Живиться тяжело".¹⁰

Надо сказать, что Некрасов в своей поэме духовенству отнюдь не польстил, нарисовав батюшку вполне заурядного, но в заурядности своей - достойного. Таких, очевидно, было большинство; брали то, без чего "нечем жить", но брали с оглядкой. Расчет за вышеупомянутые службы, писал Энгельгардт, делался "или тотчас, или по осени, если крестьянину нечем уплатить за службу..." Да и цена за

нее назначалась всегда, "смотря по состоянию крестьянина - на рубль, на семь гривен, на полтинник, на двадцать копеек - это уже у самых бедняков..." По словам автора, во всех этих отношениях "здесьние попы" проявляют себя "гуманно и, у нас по крайней мере, не прижимают".¹¹

Тем более, плата за требы, прочие сборы с прихожан и совсем ничтожное штатное содержание покрывали лишь малую часть потребностей духовенства. "Понятно, что при таких скудных доходах попы существуют главным образом своим хозяйством".¹² Развивая ту же мысль, Елпатьевский писал: "Нужно было работать не покладая рук, самому пахать и косить, приарендовывать лугов у помещика, чтобы выкормить скот и продать осенью; нужно было работать всей семьей, чтобы запастись на год всем, чем нужно".¹³ Энгельгардт же отмечает: "...если дьячок, например, плохой хозяин, то ему пропадать надо. Я заметил, что причетники, в особенности пожилые, всегда самые лучшие хозяева - подбор совершается как и во всем". Вообще, пишет Энгельгардт, "попы наши лучшие практические хозяева, - они даже выше крестьян стоят в этом отношении".¹⁴

Жить трудами рук своих это, очевидно, и означает - жить по-божески. Но духовенство ведь должно было не только по-божески жить, но и Богу служить... А это, несомненно, требовало особого образа жизни. Доходы у духовенства были крестьянские, а жить приходилось, или, точнее, следовало бы, не по-крестьянски и отнюдь не только из-за дочернего приданого и сыновьего образования... Размышления о тщете земного, стремление самому приблизиться к Господу и, главное, другим, пастве своей, открыть этот путь - все это нелегко было совместить с постоянным, изматывающим физическим трудом. И с этой точки зрения естественные комплименты Энгельгардта в отношении "подбора" духовенства звучат крайне двусмысленно...

Конечно, по пословице, "нету у пола сапог, служит и в лаптях". Вопрос в том, как служит. Особое состояние духа тут разумеется само собой. А достигнуть его в тех условиях, в которых находилось большинство духовенства, было совсем не просто. Одних земля ломала, осиливала. Елпатьевский в воспоминаниях создает яркий образ отца, над которым вечно висело "словно смутное предчувствие какого-то большого несчастья": "Мы знали угрюмого человека, вечно озабоченного, с вечными суровыми окриками, с редкими скупыми ласковыми словами".¹⁵ Причем из текста очевидно, что речь идет о человеке изначально добром, очень ответственном и честном, по духу своему как нельзя более подходящем к церковной службе, но силою обстоятельств ввергнутом в уныние, состояние, как нельзя более противное православия.

С другой стороны, "образцовые хозяева" Энгельгардта, преодолевшие землю, заставившие ее служить себе... Здесь крылся немалый соблазн: при таком интенсивном хозяйстве на службу Богу хватало ли духовных сил?... Служить-то подобный причт, конечно же, служил и внешне, может быть, делал это не менее образцово, чем вел свои хозяйственные дела. Но тот же Энгельгардт в "Письмах" передавал характернейший для понимания ситуации рассказ "знакомому ... дьякону".

"Какая ваша работа, - говорит мне один мужик, - рассказывал дьякон, - только языком болтаете!" - А ты поболтай-ка с мое, - говорю я ему! - "Эка штука!" - Хорошо, вот будем у тебя служить на никольщину, пока я буду ектенью да акафист читать, ты попробуй-ка языком по губам болтать. И что же, сударь, ведь подлинно не выдержал! Я акафист-то настоящим вычитываю, а сам поглядываю - лопочет. Лопотал, лопотал, да и перестал. Смеху-то что потом было, два стакана водки поднес: "Заслужил, - говорит, - правда, что и ваша работа не легкая".¹⁶

Мораль сей истории, я думаю, ясна. Энгельгардт, воспринявший ее, как должно русскому интеллигентному человеку, юмористически, с восторгом писал: "Знал дьякон, чем доказать мужику трудность своей работы!" Между тем, служба церковная, приравняваемая к болтанью языком не только тех, к кому она обращена, но и тех, кто ее отправляет, - что может быть печальней!.. То поразительное огрубление самого культа и его служителей, совершенно формальное отношение к делу, превращение служения Господу в необходимую, но лишенную смысла рутину - все эти черты упадка, о которых так много говорилось и писалось в XIX веке, предстают в этой веселой истории с предельной яркостью... Черты служителей Божиих, наставников в вере, все больше терялись в обличье недостаточных, зажатых или образцовых хозяев. И постепенно в восприятии обычного мужика отличие сельского ба-

тюшки от него самого сводилось к искусному болтанью языком и к получению за то пятаков и гривенников, пирогов и яиц...

ДУХОВНЫЕ ТЯГОТЫ

Но еще страшнее и недостатка, душу изматывающего, и достатка, добытого каторжным трудом, душу убивающим, была зависимость духовная - от государства, от бюрократии. Заметная и на самых верхах - в том же Синоде, где обер-прокуроры всех времен не стеснялись подавлять любое поползновение церковных иерархов к самостоятельности, - эта зависимость особенно грубо и прямолинейно проявлялась на местах. Власть консистории, контролировавшей и служебную деятельность, и бытовую жизнь местного духовенства, была поистине беспредельна. Угодить консисторским чиновникам означало обеспечить себе более или менее сносное житье-бытье, не угодить - подвергнуться разнообразным притеснениям, а нередко и откровенным издевательствам. Угодить же можно было лишь одним, обычным на Руси способом...

Елпатьевский вспоминал, какой трепет овладевал всем приходским духовенством при наездах некоего Егора Семеновича. "Это был знаменитый в губернии консисторский чиновник. Он занимал ничкомное место, последняя гнида в консистории... но его сестра была замужем за консисторским секретарем, и в губернии все знали, что проникнуть к секретарю можно только через Егора Семеновича". Этого было с лихвой достаточно, чтобы страшный чиновник "разъезжал по губернии из прихода в приход, везде угощался и у всех требовал денег", везде при этом куражась до отвращения безобразно. "Вот вы все где у меня! - Он сильнее вытянул кулак и засмеялся. - Хочу с кашей съем, хочу масло пахтаю". Непечатная ругань сопровождала его жест... Я видел, как совал ему деньги батюшка, а гость трясущимися руками бесцеремонно пересчитывал их и бросал ему в лицо, и батюшка извинялся и прибавлял еще".¹⁷

Консисторские чиновники "трезвого поведения" творили произвол не менее жуткий, но организованный методичней и основательней. Н. С. Лесков в "Соборях" дал, очевидно, вполне объективную картину бытия своего героя - умного, добросовестного протопопа - в железных тисках консистории. Так, скажем, попытка его "иметь на пасхе словопрение с раскольниками" вызывает со стороны консистории нарекание. Велено, как то заведено по обычаю, "идти со крестом на пасхе по домам раскольников". То есть вместо живого спора о вере, со стремлением объяснить и убедить - все то же, обычное насильственное навязывание веры по своему обряду. Причем и самому протопопу и консисторским чиновникам отлично известно, что все это неизбежно кончится очередным незаконным побором: чтобы не допустить священников-никониан к себе в дом, "раскольники, как всегда, будут откупаться и полуниций причт, как всегда, деньги примет..."¹⁸

Проповедь, произнесенная от души, вдохновенная живой жизнью, столь же неизбежно вызывает запрос: действительно ли говорена "импровизацией проповедь с указанием на живое лицо?" Следует вызов виновного в губернию для объяснения, "тридцатидневное сидение на ухе без рыбы" и затем приказание "все, что впредь пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троидию". Естественно, что подобное стремление заставить "вместо живой речи, от души к душе направляемой, делать риторические упражнения и сими отцу Троидию доставлять удовольствие" надолго замыкает проповеднику уста...¹⁹

Многих неприятностей, впрочем, можно было избежать, и консисторские чиновники всегда стремились направить страждущего на сей торный путь. Лесковского протоиерея больше всего угнетает именно этот "наглый и бесстыжий тон консисторский", с которым говорится: "А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?"²⁰

Стремление беспощадно защитить, затоптать все, что выходило за рамки ежедневной рутины, перевести церковь на положение канцелярии, обюрократить священника - в этом был, наверное, главный ужас системы, восторжествовавшей в России с петровских времен. Система эта разворачи-

ла многих низших - приходских священников; нужно было быть незаурядным человеком, чтобы, подобно лесковскому герою, противостоять ей, пусть и пассивно. Но она самым губительным образом сказывалась и на высших: многие незаурядные церковные деятели этого времени, имевшие многие достоинства, коверкали себя, воспринимая ухватки, а с ними и психологию начальников-бюрократов.

Может быть, самой поразительной в этом отношении фигурой был московский митрополит Филарет (Дроздов). Один из самых замечательных представителей русской православной церкви XIX века, поражающий современников и исключительным умом, и глубиной знаний, и поразительно сильным характером, он буквально терроризировал подвластное ему духовенство. "...Ни в одной русской епархии раболепство низшего духовенства пред архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в Московской во времена управления Филарета. Этот человек... позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке, при каком-нибудь неосторожном неловком движении. Это была не только вспыльчивость - тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место. Об отношениях Филарета к подчиненным всего лучше свидетельствует поговорка, что он ел одного пескаря в день и попом закусывал".²¹ Это желчная характеристика, данная Филарету историком С. М. Соловьевым, сыном московского священника и человеком глубоко верующим, к сожалению, во многом справедлива - во всяком случае, ее подтверждают воспоминания многих современников, так или иначе сталкивавшихся с митрополитом московским.

Так, записки бывших учеников московской семинарии, находившейся при Филарете, по словам Соловьева, "в ужасном состоянии", рисуют мрачные картины. Посещение экзаменов митрополитом, действительно замечательным богословом, превращалось в смертную муку, причем не столько для семинаристов, сколько для их учителей. Пережившие эту процедуру вспоминали гнетущую атмосферу "томительного тоскливого ожидания", конспекты, ходящие ходуном в дрожащих руках преподавателей, земной поклон Филарету "важного и величественного" в обычное время ректора ("земной поклон, не фальсифицированный какой-либо, а истовый, стоя на обоих коленях и прикасаясь лбом к полу") и, наконец, "холодные", устремленные на экзаменующегося глаза владыки... "Экзамен начинается, но вдруг все стихло и замерло, едва слышится слабый голос. Митрополит делает возражение. Ученик отвечает иногда удачно - иногда нет; тут наступает страшная минута для ректора. "Ты что скажешь?" - доносится слабый голос. Ректор отвечает, конечно, большей частью удовлетворительно, так как он сам долго приготавливался к страшной минуте. Но иногда на неудачное объяснение ректора доносится слабый, но металлический - холодный голос: "Дурак".²² После подобного бесхитростного описания данного очевидцем невольно верится в истинность гневной реплики Соловьева: "...преподаватели даровитые здесь были мучениками... Филарет по капле выжимал из них, из их лекций, из их сочинений всякую живую жизнь, всякую живую мысль, пока, наконец, не кастрировал человека совершенно, не превращал его в мумию... Филарет являлся для преподавателей хищным животным, которое прислушивается к малейшему шороху, обнаруживающему жизнь, движение, живое существо, и бросается, чтобы задавить это существо".²³

И ведь это все было написано о человеке избранном, который обладал великими духовными силами и мог производить - и производил - совершенно иное впечатление. "...Был крестный ход в Москве. И вот все прошли - архиереи, митрофорные иереи, купцы, народ; пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось, почт... И вот поодаль от последнего народа шел он. Это был Филарет".

Так рассказывал мне один старый человек. И прибавил, указывая от полу - крошечный рост Филарета: "И я всех забыл, все забыл: и как вижу сейчас - только его одного".²⁴

И вот, что такой великий человек, что секретарь в консистории - все едино... Система властвует, система определяет линию поведения каждого, кто вошел в нее, кто ей более ли, менее верно служит; и система эта требует все подогнать под один аршин, лишит жизни все, что дышит, все, что движется...

“КОШМАР”

Когда пришла эпоха реформ, тайные беды церкви стали явными. Жалобы духовенства на свою бедность и свою зависимость посыпались, как из рога изобилия, сразу же, как только подобные жалобы стали возможны... Характерно при этом, что хорошо сознавая и кляня свою зависимость от государства, подавляющее большинство представителей духовенства на первый план выдвигало все же свои материальные нужды. При этом практически все они предлагали такой способ удовлетворения этих нужд, который должен был бы еще отчетливей вписать церковь в государственную систему: речь шла о том, чтобы священников и весь причт полностью перевести на жалованье, выплачиваемое государством... Диссонансом в этом дружном хоре изредка звучали соображения, подобные тем, которые высказал один из авторов “Православного обозрения”, заявивший, что подобная мера “еще более закрепила бы сословность духовенства и сделала бы его корпорацией, состоящей на службе у правительства и отторгнутой от народа”.²⁵ Других духовных авторов жалоб и предложений подобная перспектива, очевидно, не пугала...

Что же касается правительства, то, хотя подобное предложение было для него и несколько накладным, оно было зато вполне близким и понятным по духу. В 1871 году оно пошло навстречу тем, кто стремился обеспечить свое положение за счет государственного жалованья, четко определив оклады по всему причту: от 144 до 240 рублей для настоятелей храмов и от 48 до 80 рублей для псаломщиков. Это было, пожалуй, наиболее значительным из преобразований; прочие реформы носили вторичный характер. Самое главное, что взаимоотношения между церковью и государством не только остались прежними, но, пожалуй, зависимость церковного бытия от государственной власти еще более усилилась.

...В каком же состоянии вступила русская православная церковь в XX век - век великих потрясений? Вместо подведения итогов сошлюсь на одно поразительное художественное произведение, вызвавшее в свое время множество откликов и продолжающее поражать своею эмоциональной силой и по сей день, - на рассказ Чехова с характерным названием “Кошмар”.

Сюжет этого рассказа прост и трагичен. Молодой, деятельный, хотя и не слишком умный, “непременный член по крестьянским делам присутствия” Кунин, собирающийся играть в своих краях видную роль, не может побороть своей неприязни к одному из местных священников, отцу Якову. “Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице” отец Яков вызывает у Кунина презрение. “Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство”.²⁶

По мере знакомства со священником неприязненное чувство к нему, подкрепляемое все новыми впечатлениями, постоянно растет. Служба в церкви... “Отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто...” При этом дьячок в церкви служил больной и глухой, что приводило к печальным недоразумениям: “Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уже дьячок поет свое, или же отец Яков уже кончил, что нужно, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу”. Дьячку подтягивает маленький мальчик - “в довершение неблагодарности”, поскольку пел он “высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон”. Ощущение убогости всего происходящего без следа рассеивает молитвенное настроение, овладевшее было Куниным при входе в дряхлую сельскую церковь. “Жалуются на падение в народе религиозного чувства... - вздохнул он. - Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!”²⁷

Общение в обыденной сфере усугубляет презрение Кунина к священнику. Он зашел к отцу Якову в его жилище, которое “снаружи ничем не отличалось от крестьянских изб, только солома на крыше

лежала ровнее да на окнах белели занавесочки”; внутри все та же скудность, та же убогость... Глиняный пол, стены оклеены дешевыми обоями, мебель, глядя на которую “можно подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее частями...” Чая, на который рассчитывал непрменный член, он у священника так и не дождался. Не дождался Кунин и проявления интереса к тому вопросу, который его чрезвычайно занимал - о церковно-приходской школе. Зато отец Яков, постоянно навещающий Кунина, проявляет устойчивый и чрезвычайно раздражающий молодого человека интерес к его чаю, кренделькам...

Между тем все эти и многие другие недостойные черты отца Якова имеют одну причину, которая выясняется в его, своего рода, исповеди Кунину - исповеди о скудном поповском бюджете. Оказывается, что, получая с прихода 150 рублей в год, он большую часть денег отдает консисторским мздоимцам: “...Я еще в консисторию за место свое не выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтобы я по десяти в месяц выплачивал”. 40 рублей ежегодно уходит на обучение брата в духовном училище. Три рубля отец Яков выдает каждый месяц спившемуся старику священнику, занимавшему раньше его место... Вот и все. Денег нет у отца Якова, вообще; он и попадая его обречены на жизнь скудную, голодную, разве что сосед крендельком пожалует... Нищета, по христианству, не порок, а благо, но вместить это благо дано не всякому... А причт, в подавляющем большинстве своем состоял из обычных людей, и оставалось лицам духовного звания лишь восклицать, наподобие отца Якова: “Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтобы люди мою бедность видели!.. Стыжусь своей одежды, вот этих латок.., риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?”²⁸

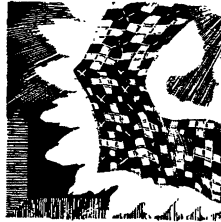
На современников рассказ Чехова произвел сильное впечатление²⁹ - схожее с тем, какое произвел чуть позже написанный знаменитый “Припадок”. Так же, как и в этом случае, против содержания “Кошмара” никто не возражал - возражать было нечего... Уже тогда, в 1880-х, читатели стали привыкать к редкой способности Чехова показывать противоестественную жуть явлений, давно ставших привычными и обыденными.

Однако и “непрменного члена” можно понять: “...Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: “Благослови, владыко!” Хорош владыко!”³⁰ Против этого не поспоришь: таким священник быть не может, не должен... И ведь страдавший, полуголодный, несчастный о. Яков был, наверное, далеко не худшим - именно вследствие несчастий своих. “Сытые”, по горло ушедшие в земные дела батюшки - лучшими ли “духовными отцами” были они для своей паствы?.. Нищета телесная и, куда более страшная, нищета духовная беспощадно разъедали священство, сводили на нет как силу учительствующую, руководящую духовно. А между тем демонический и кровожадный XX век был уже на пороге...

Конечно же, одним “кошмаром” суть дела не определить. И в XVIII - XIX веках православная вера порождала удивительных по силам духа, по глубине веры людей. Правда, касалось это прежде всего черного духовенства - монашества, находившегося по отношению к батюшкам в совершенно особом положении. Но и здесь проявление подобных сил было редчайшим исключением. Трудно согласиться с А. В. Карташевым, когда он, показав дела Петровы по отношению к церкви во всей их силе и безобразии, писал: “Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50 лет - св. Серафима Саровского, через новые 50 лет - святителей Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого потока оптинцев”. И далее: “...следует дать отставку устаревшей, односторонне пессимистической оценке синодального периода и увидеть в нем высшее, исторически-восходящее выявление духовных сил и достижений русской церкви”.³¹

Однако самое беглое знакомство с жизнью и деятельностью перечисленных Карташевым подвижников церкви убеждает: все они стали тем, чем стали, не благодаря, а вопреки синодальной системе. Всем им пришлось пережить великое множество трудностей, а нередко и прямых гонений, преодолеть великое множество препятствий, искусственно воздвигаемых на их пути синодальной бюрократией.

Православная вера жила и спасалась этими людьми, но не Петра за них надо благодарить... Великий царь сделал, казалось, все, чтобы подобные явления стали невозможными, сделал все, чтобы обескровить церковь, бюрократизировав ее, превратив в подчиненную, служебную часть своего "регулярного государства". И законным плодом его преобразований являлись не старцы и святители, а полуничто, приниженное и обессиленное в делах своих духовенство.



СУМЕРКИ ИМПЕРИИ

Летом 1990 года владелец издательства "Форум", выпустивший к тому времени две или три книги и позднее бесследно стигнувший в пучине всеобщего развала, предложил мне написать предисловие к дневнику В. М. Пуришкевича (сколько изданий этого дневника было сделано тогда, в начале 1990-х, почти одновременно, сказать не берусь, у меня на руках есть четыре...). Тогда эта тема, тема трагического крушения империи, только начинала разрабатываться, а точнее, эксплуатироваться многочисленными издателями и авторами. Меня судьба последнего царя и его царства волновала давно, возможность написать чуть ли не первым о том, что раньше было под запретом, придавала этому чувству особую силу; работал я, помнится, с большим увлечением. Надо ли говорить, что издательство развалилось именно "на этой книге"... Сейчас литературы на эту тему - переводной, переизданной (1910 - 20-х годов), современной, - как известно, не счесть. И все-таки я рискнул поместить эту статью в сборник: если материал, на котором она написана и не нов, то вопрос о подходе к трагедии начала века, об оценке действующих в ней героев, - а он для статьи является определяющим - сейчас еще более актуален, чем десять лет назад. Сохранил я и название статьи, хотя оно почти дословно повторяет название известной книги А. Н. Боханова "Сумерки монархии". Все-таки я его первым придумал...

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в одном из аристократических особняков Петрограда был убит "Святой Черт" - страшный, отвратительный Распутин, проклинаемый с Думской трибуны и со страниц газет, как источник ада, как источник и средоточие всех бед, терзавших страну. Известие о его смерти вызвало взрыв ликования и в столичных салонах великосветской знати, и в среде политической оппозиции, и на фронте - офицеры Ставки Главнокомандующего, не стесняясь присутствием царя, заказывали шампанское... Теперь все должно было пойти на лад: армия начнет бесперебойно получать боеприпасы, в города пойдут эшелоны с продовольствием и топливом и, самое главное, царь, наконец, протянет руку Думе...

Прошло два с небольшим месяца, и в России начались события, которые в короткий срок развалили армию, покончили с царем и с Думой и ввергли страну в кровавую трясину гражданской войны. Убийство Распутина - как и всякое убийство - ничего не решило и ничему не помогло. Нужно было долго дышать воздухом заживо разлагавшейся Империи, чтобы возлагать такие надежды на очередной труп - один из многих, отметивших собой скорбный путь России... Трагедия приближалась к своему неизбежному концу, и в особняке Юсуповых был разыгран один из ее последних актов.

Разбираться в сюжете этой трагедии будут долго: помимо того, что она сложна и противоречива, лики ее подлинных героев - последних царя и царицы - залиты жирной липкой грязью. Победителям было мало уничтожить царскую семью физически, они стремились отравить самую память о ней; авторы многочисленных "историко-психологических" этюдов, продолжавшие дело дискредитации царской власти, начатое еще в последние годы ее существования, действовали пером не менее лихо и уверенно, чем Юровский со товарищи огнестрельным оружием. "Загадка Распутина" - т. е. вопрос о причинах возвышения "святого старца" и о степени влияния его на царскую семью - решалась ими с такой простотой и выразительностью, которая присуща лишь русской площадной ругани: безвольный, придурковатый Николай - царь-идиотик, царь-дегенерат; истеричная, растленная Александра и хитрый, властный мужик, подминающий под себя царскую чету с помощью всех возможных и невозможных средств - гипноза, дурманящей травки, небывалой мужской силы... В то же время историки-монархисты, творящие в эмиграции, пытаясь противостоять этому мутному потоку, как правило, вооб-

ще отбрасывали прочь “распутинскую легенду”, закованную и выпеченную, по их мнению, злокозненной жидо-масонской интеллигенцией. Распутин в их изображении - не более чем безобидный шут, приживал, знахарь, пользующий больного царевича... Дегтю заборных надписей они противопоставят золото и лазурь иконописи, без единого темного пятнышка царские лики в их изображении...

Сложна история; история переломных эпох сложна стократно. Пусть простит нас читатель за эту тривиальную истину, но “дискуссия с закрытыми ушами”, которая на протяжении десятилетий велась заочно и до широкого читателя практически не доходила, сейчас выплеснулась на страницы самых разнообразных изданий: противники безжалостно костерят, как им представляется, друг друга; на деле же под их молодецкими ударами корчится прошлое, и без того истерзанное донельзя. Историческую истину, конечно же, не сыскать и нам, на этих двух десятках страниц, и не о том речь: хочется лишь напомнить читателю о трагической сложности всей этой истории, в которой грязь затопила лазурь, а золото тускло просвечивает сквозь самые черные пятна...

Узел русской трагедии, крепко затянутый “Святым Чертом”, был завязан задолго до тех событий, о которых пойдет речь в этом сборнике. Ее истоки лежат в глубинном, безысходном противоречии между политической системой самодержавия, оказавшейся неспособной к последовательной эволюции, и медленным, но неотвратимым процессом исторического развития страны. Уже в начале XIX века эта система, при всех своих частных несовершенствах, приобрела законченную форму и - застыла в величавой неподвижности. А ход истории, между тем, заставил отменить крепостное право, провести ряд непоследовательных, но чреватых самыми серьезными последствиями преобразований в сфере судопроизводства, местного самоуправления, формирования армии. “Великие реформы” 1860 - 70-х годов исподволь крушили устои самодержавия. Последние десятилетия XIX века стали временем быстрого оскудения поместного дворянства; столь же неуклонно и последовательно шел процесс разложения патриархального общинного крестьянства, а между тем именно эти сословия на протяжении веков служили верной опорой царской власти. Оскудевая и разлагаясь, они питали своими соками преемников - тех, кто неуклонно пробивался вперед, на авансцену российской истории: буржуазию, все в большей степени, по мере осознания своей экономической мощи, проявлявшую интерес к государственным делам, и пролетариат, которому нечего было терять, кроме своих цепей... И если до этих времен русская интеллигенция, находившаяся в постоянной политической оппозиции к самодержавию, обитала в полном вакууме, то теперь у нее появлялись самые широкие возможности для приложения своих недюжинных сил - пропаганды, агитации, разъяснений, призывов и т. д.

То, что общее направление развития страны является губительным для самодержавного строя, было ясно осознано властью еще в конце XIX века, при Александре III. Суть его правления определялась политикой контрреформ, с помощью которых правительство пыталось нейтрализовать результаты “великих преобразований”. Однако исторический процесс необратим - Россию не удалось повернуть вспять; ее лишь остановили в пути, “подморозили”, затормозили ход ее развития на полтора десятка лет, а затем - как плотину прорвало... На пути этого потока оказался последний русский царь Николай II, и он встретил удар груду.

Николай не был наделен сколько-нибудь яркими чертами, его нельзя назвать талантливым человеком, и все же, если попытаться без предубеждения оценить его личность, - остается впечатление неординарности, необыкновенности, по крайней мере, в сравнении с его окружением, придворными, министрами и, тем более, политическими противниками. И дело здесь не только в том, что царь был человеком на редкость цельным, твердо сознающим смысл своего существования и не ведавшим сомнений; хоть это и бросается в глаза, но людей, не уступавших ему в этом качестве, не так уже трудно отыскать даже среди того разброда и шатания, который охватил россиян в начале XX века. Главное, в основе этой цельности лежала глубокая, искренняя, истовая вера в православного Бога, вера, давным-давно утраченная значительным большинством образованных русских людей.

Торжественные слова коронационной молитвы “Боже Отцов и Господи Милости, Ты избрал мя еси Царя и Судию Людям Твоим...”, которые он произнес 14 мая 1896 года, были для Николая не пустой формальностью, не данью обветшавшей традиции, а жизненным кредо, определившим и оправдавшим

все его душевные движения, действия - всю его судьбу... В день коронации он добровольно принял на себя тяжкое бремя ответственности за судьбы России - единоличной ответственности перед Господом, разделить которую он был не в праве ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах... Столь свято, как в свое божественное призвание, Николай верил и в промысел Божий: на избранном пути он готов был безропотно принять - и принимал любые испытания. Рожденный в день поминовения Иова Многострадального - о чем он не раз вспоминал - Николай терпел неудачи во всех начинаниях, но до самого конца оставался верен своей теплой вере. Уж если и сравнивать с кем последнего царя, так с мужиком, который, раз за разом теряя свое достояние от пожара, засухи, града, стиснув зубы, продолжает тянуть лямку, искренне веря, что так надо, что иначе нельзя, что то посылает Господь... Несомненно, именно эта вера порождала поразительное самообладание царя, позволившее ему сохранить свое человеческое достоинство в самых катастрофических ситуациях: в разгар первой революции, в день отречения, в Ипатьевском доме...

Относясь подобным образом к своей миссии, царь требовал того же и от своих приближенных. Он ни в малейшей степени не обладал властной силой своего отца, державшего в страхе божием министров, великих князей, двор, всю страну. Напротив, в личном общении Николай производил впечатление человека мягкого, уступчивого, не способного отстаивать свою точку зрения: он всегда уходил от споров, никогда не делал выговоров, тщательно избегал каких бы то ни было сцен. У Николая было одно в высшей степени характерное качество, которое он сам в себе отлично осознавал: почти физическая неспособность высказать свое неудовольствие в глаза собеседнику, принести огорчение и расстройство. Обычный прием Николая при расставании с членами своего правительства и другими приближенными навлек на него множество упреков в лицемерии и коварстве: отставке нередко предшествовала ласковая беседа с обреченным сановником, в которой царь выражал полное удовлетворение его деятельностью, и затем, уже из вторых рук или из официальной бумаги, составленной, за редким исключением, в самых милостивых выражениях, заинтересованное лицо узнавало о своей отставке.

А отставки в это царствование следовали одна за другой - Николаю было трудно угодить. По сути дела, тот своеобразный процесс, который позже, в последние, "распутинские" дни получил название "министерской чехарды", свои истоки брал в самых первых годах его правления. У Николая почти не было постоянных сотрудников, которым он доверял безоговорочно, - т. е. таких, которые искренне разделяли бы его взгляды на сущность государственного строя в России; таких, которые не за страх, а за совесть принимали бы точку зрения В. Н. Ламсдорфа, занимавшего в начале века пост министра иностранных дел: "Моя обязанность заключается в том, чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем государь решит - я должен стараться, чтобы решение государя было выполнено".

С такими министрами царь чувствовал себя спокойно... Но на дворе стоял XX век, когда даже в среде высшей бюрократии подобные взгляды все в большей степени казались анахронизмом. Для этого времени куда более характерной фигурой был знаменитый С. Ю. Витте, который в ответ на искреннее исповедание веры одним из самых близких царю по духу сановников Д. С. Сипягину с нескрываемым ехидством писал: "Вы говорите: царь самодержавен - он создает законы для подданных, а не для себя; я - ничто, я только докладчик. Царь будет решать, ему никаких правил не нужно; тот, кто требует правил, желает ограничить царя; тот, кто сомневается, что царь, а не я будет решать, полагает, что значит царь сам не может решать; тот, кто хочет ограничить число и форму решений, хочет отделить царя от подданных... Ваша теория, дорогой, милый, крепко любимый Дмитрий Сергеевич, имеет много общего с непогрешимостью папы..."

Сам Витте в "непогрешимости папы" совершенно не верил. Он отлично сознавал неизбежность - а следовательно, и необходимость перемен; всегда стремился к максимальной свободе и независимости в своих действиях... Именно поэтому он, несмотря на весь свой ум и ловкость, на все свои бюрократические таланты, был обречен... Николай подобных деятелей в лучшем случае терпел по необходимости, стремясь избавиться от них при первом удобном случае. Любая фигура, заслонявшая

трон, была для царя неприемлема, точно так же, как неприемлемы были и любые действия, ведущие к принципиальным переменам существующего строя. Ведь здесь речь шла о самом главном, заветном - Символе Царской Веры, в защите которого Николай был непоколебим. Соотечественники чаще всего говорили в этой связи о злокозненном упрямстве царя - внешне такого кроткого, "с глазами лани"; иностранные же наблюдатели, может быть, более спокойные и объективные, трактовали это качество несколько иначе: немецкий адмирал фон Тирпиц, например, писал о "стальных мускулах" Николая; французский же президент Лубэ, развивая ту же, по сути, мысль, отмечал, что "под личиной робости, немного женственной, царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет".

Однако, шествуя по своему тернистому пути, Николай с каждым годом все более должен был ощущать свое неизбывное одиночество. По мере развития событий, усиления кризисных явлений, безудержного роста революционного движения и оппозиции всех сортов, значительная часть правящей бюрократии приходила к мысли о необходимости уступить духу времени, пойти хотя бы на самые скромные перемены во внутреннем строе Империи, - т. е. "левела" и тем самым становилась неприемлемой для Николая. Это было особенно прискорбно потому, что подобную эволюцию претерпевали, как правило, люди и честные, искренне озабоченные будущим России. Сотрудники же "верноподданные", подобные Сипягину, который при всей своей умственной простоте был человеком исключительно порядочным, составляли редкое исключение. Сплошь и рядом под личиной "без лести преданных" монархистов скрывались деятели беспринципные, вожделеющие власти, почестей, богатства и не стесняющиеся в достижении своих целей никакими средствами... Люди честные все чаще представлялись царю политически ненадежными; люди "верные" - сплошь и рядом оказывались взяточниками, казнокрадами, политическими авантюристами... С каждым годом в душе Николая росло чувство недоверчивости к окружающим, к своим сотрудникам - не случайно, многие современники писали о подозрительности, как одной из отличительных черт его характера.

Ни малейшей отдушины не находил царь и при дворе, где он, казалось бы, должен был быть окружен близкими по духу людьми. Что касается непосредственно придворных этой поры, то, очевидно, прав был издатель "Нового времени" А. С. Суворин, человек знающий и толковый, писавший в дневнике: "У нас нет правящих классов. Придворные - даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд". Но особенно характерным было то, что Николай довольно быстро попал в почти полную изоляцию в семействе Романовых... От своих ближайших родственников, великих князей, он практически не видел сочувствия - одни только дополнительные тяготы. Помимо довольно обычных в этом кругу амурных походов, нередко совершенно невозможного, скандального характера, и весьма свободного обхождения с казенными средствами, царские дядя и двоюродные братья с каждым годом все в большей степени проникались оппозиционным духом, который, казалось бы, был им совсем не к лицу... Проявлялся сей дух в самых разнообразных и своеобразных формах: Николаевичи интриговали, Михайловичи флиртовали с оппозицией, Владимировичи открыто высказывали собственные притязания на престол и все вместе, совокупно со своими супругами, сплетничали, сплетничали, сплетничали... В годы мировой войны именно эта среда стала одним из главных источников тех грязных слухов, которые сыграли роковую роль в судьбе Империи.

Таким образом, бросив вызов времени во имя сохранения традиционного строя во всей его полноте и целостности, Николай оказался без помощи и поддержки. А между тем его положение год от году становилось все более сложным. В конце XIX - начале XX веков в стране шел бурный процесс так называемого "классового самосознания", охвативший, прежде всего, пролетариат и буржуазию, которые, с легкой руки оппозиционной интеллигенции, политизировались не по дням, а по часам. В столицах и провинции создавались подпольные и полуподпольные организации, разрабатывались теоретические программы, развертывалась широкая агитация в массах - одним словом, закладывались основы будущих политических партий. И лидеры каждого из многочисленных направлений общественного движения имели свои, совершенно надежные рецепты спасения России; они отлично знали, что нужно русскому народу и как эти нужды удовлетворить. Они горели желанием проверить свои теоре-

тические разработки на практике, - а для этого прежде всего нужно было добиться права управлять страной... Вопрос о власти - т. е. о замене самодержавия чем-то иным, конституционной монархией или республикой, - стал определяющим для русской жизни начала века.

Свое единовластие Николай отстаивал чрезвычайно последовательно. Лишь в 1905 году, в разгар революции, когда всеобщая политическая забастовка грозила перерасти в столь же всеобщее и потому почти наверняка непреодолимое восстание, царь пошел на уступки, да и то только после трагической беседы со своим дядей великим князем Николаем Николаевичем, которому он предложил возглавить военную диктатуру: Николай Николаевич, называемый при дворе без особых на то оснований "единственным настоящим мужчиной в царской семье", заявил, что застрелится на глазах у племянника, если тот не выкинет белый флаг... 17 октября царь подписал манифест, по которому населению даровались гражданские свободы и выборный законодательный орган - Государственная Дума.

Это событие, без сомнения, было одним из самых тягостных в жизни царя, быть может еще более тягостным, нежели отречение от престола, когда он окончательно сбросил со своих плеч бремя власти и снял с себя всякую ответственность перед Господом. Сейчас же, вынужденный к тому силою вещей, нарушая обет, данный во время коронации, царь в своем дневнике сделал характерную запись: "Это страшное решение, которое я принял тем не менее совершенно сознательно. После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, умири Россию". В ответ на "утешения" Витте, главного автора манифеста, докладывавшего, что Дума обеспечит опору и помощь царской власти, Николай с редким для него раздражением возразил: "Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага..."

Подобное отношение к Думе царь сохранял постоянно; противоборство с ней составляло один из главных политических сюжетов последнего царствования. Даже "ручная" столыпинская III Дума не вызывала в нем никаких теплых чувств. Из всех депутатов "своими по сердцу" он считал только крайне правых, которые и в Думу-то прорывались в основном затем, чтобы дискредитировать этот орган, призывая к восстановлению традиционного строя во всей его полноте. Однако консервативный элемент в России был чрезвычайно слаб; и слабость эта оказывалась прежде всего в том, что он проявлял себя наиболее ярко не в позитивной работе по устройству русской жизни, а в буйных хулиганско-погромных выходках, носивших, по сути своей, антигосударственный характер. Ненадежная это была опора... Манифест помог справиться с революцией; но после октябрьских дней 1905 года еще глубже стала пропасть между Россией реальной и той самодержавно-патриархальной Русью, которую лелеял в своем сердце последний царь.

Именно в это трагическое для него время царь начинает все чаще обращаться за поддержкой к единственному человеку, который был ему по-настоящему близок, - к своей супруге, царице Александре Федоровне. Духовная близость объединяла царскую чету изначально; недаром их брак был заключен по любви - редчайшее явление в царствующих домах Европы... Николай познакомился с дочкой великого князя Гессенского Алисой во время ее визитов в Россию - она навещала свою старшую сестру Эллу (в православном крещении Елизавету Федоровну), вышедшую замуж за родного дядю будущего царя, великого князя Сергея Александровича. Николай влюбился в молоденькую красавицу; влюбился сильно и, казалось, безнадежно: его родители были категорически против этого брака - мать сразу же почувствовала к Алисе Гессенской самую жестокую антипатию; отец, исходя из политических расчетов, подыскивал наследнику более подходящую невесту в иных землях... Вот тут-то Николай, может быть, впервые проявил капитальнейшую черту своего характера: тихое, но совершенно определенное упорство в достижении тех целей, которые казались ему жизненно важными. Он ждал своего часа несколько лет и все же сумел вырвать у больного уже отца согласие на брак с гессенской принцессой. Бракосочетание состоялось менее чем через неделю после смерти Александра III. Накануне свадьбы невеста крестилась по православному обряду, приняв имя Александры Федоровны; медовый месяц молодые провели в печальной атмосфере панихид и траурных визитов...

Неласково встретил Петербург новую царицу. С легкой руки вдовствующей императрицы, имевшей огромное влияние на столичный высший свет - во всяком случае, на придворных дам, которые,

собственно, и “делали погоду”, - здесь сразу же установилось глубоко неприязненное отношение к Александре. А. В. Богданович, усердно собиравшая в свой дневник придворные сплетни, уже в 1895 году страницу за страницей заполняет соответствующими записями: молодую царицу “все ненавидят”, от нее “все несчастья”, “всегда с ней рядом идет горе”; ее называют “горбом царя”; в один голос корят ее за избалованность, высокомерие, гордость и прочее, и прочее... Из придворных сфер подобные пересуды легко проникали в общество, а отсюда медленно, но верно расходились в народе, обрстая по пути самыми невероятными подробностями... Между тем наступала эпоха великих потрясений; нескладный, но доселе кое-как державшийся уклад русской жизни рушился на глазах, и многочисленные горести, и без того обременявшие жизнь большинства россиян, становились все более тяжкими... Горе и тревоги порождали ненависть, а ненависть всегда ищет выхода: она не может быть абстрактной, ей нужна ясная цель. Придворные сплетни, в которых уже на второй год нового царствования так недвусмысленно была определена причина “всех несчастий”, имели далеко идущие последствия...

Если же разобраться в сути той придворной неприязни, которая густым, удушливым облаком постоянно окутывала царицу, скрывая ее истинный облик, то нетрудно увидеть, что в основе ее лежали такие черты характера, которые могут вызвать скорее сочувствие, чем неприязнь. Прежде всего, Александра была чрезвычайно серьезным человеком, напроць лишенным того, что называют “светским легкомыслием”, - и этим резко отличалась как от своей свекрови, так и от подавляющего большинства придворных дам. Не охотница до балов и иных развлечений, она, при всей ее несомненной любви к Николаю, смотрела на свое замужество, как на миссию, сопряженную с целым рядом многотрудных обязанностей, которые старалась выполнять добросовестным образом.

Поначалу речь шла исключительно об обязанностях семейных, которые по великосветским понятиям давным-давно считались пустой формальностью. Александра стала примерной женой и матерью. Это ей, кстати, тоже не преминули поставить в вину: у молодой царицы-де один разговор - о воспитании детей... Николай же благодаря жене обрел не “светскую”, а настоящую, истинную семью - единственный уголок во всей его огромной империи, где он бывал по-настоящему счастлив.

По традиции, супруга царя занималась попечительством о бедных; под ее началом находился целый ряд комиссий и комитетов, связанных с этой сферой дел. Как правило, это “руководство” носило также сугубо формальный, а нередко - комический характер. Александра же и здесь в полной мере проявила присущую ей серьезность и добросовестность, о чем свидетельствует ее сотрудник по попечительству, знаменитый юрист А. Ф. Кони, для которого справедливость была и ремеслом и неотъемлемым свойством характера. Будучи либералом до мозга костей и, соответственно, весьма неприязненно относясь к царской чете, как политик и общественный деятель, он тем не менее признавал, что совместная работа с царицей вызывала у него “чувство нравственного удовлетворения”: “Она живо интересовалась этим делом, и все ее вопросы и замечания были проникнуты большой, хотя и, надо заметить, теоретической обдуманностью”. Царица, писал Кони, держалась “самостоятельными взглядов и стояла всегда на разумной и целесообразной стороне... умела прислушаться к правдивому голосу вопреки уверений угодливых советников”. Он вспоминал, с какой нетерпимостью относилась Александра к столь характерному для чиновников и светских дам, занятых в попечительстве, “легкому” отношению к этому делу, чреватому многочисленными злоупотреблениями за счет обездоленных. В военные годы царица столь же добросовестно и дельно организовывала помощь раненым.

Постепенно Александра стала занимать определенную позицию и в отношении дел общегосударственных. Позиция эта безоговорочно определялась Символом веры ее мужа. Приняв православное крещение, царица со свойственной ей последовательностью приняла и новую для себя веру во всей ее полноте. Задушевные взгляды Николая на происхождение самодержавной власти, на ее роль и значение в России стали царице близки и понятны. При этом, обладая сильным умом и энергичным характером, Александра восприняла мировоззрение своего мужа не пассивно, а за счет напряженной духовной работы и готова была не только молиться за царя, но и оказывать ему самую деятельную поддержку - поддержку, в которой он нуждался... Таким образом, в годы первой русской революции

во внутривнутриполитической жизни России появилась новая и весьма значительная сила, и многим заинтересованным лицам пришлось на себе ощутить ее воздействие. Так, С. Ю. Витте в своих воспоминаниях с нескрываемым раздражением писал: "Когда после 17 октября государь принимал решения, которые я советовал не принимать, я несколько раз спрашивал его величество, кто ему это посоветовал. Государь мне иногда отвечал: "Человек, которому я безусловно верю". И когда я однажды позволил спросить, кто сей человек, то его величество мне ответил: "Моя жена"."

Между царем и царицей установилась та редкая духовная близость, когда друг друга понимают не то что с полуслова - понимают без слов... Но разделив с царем его взгляды, Александре пришлось разделить и его одиночество, что, впрочем, для нее, парии петербургского двора, было привычным состоянием... Больше того, своей энергией, своим страстным неприятием всего, что выходило за магический круг раз и навсегда определенного Самодержавного Идеала, царица еще дальше уводила царя от реальной России, в которой этому идеалу уже не было места... Гибельная безнадежность такого отчуждения не могла не ощущаться - пусть и бессознательно - царской четой; приветственные телеграммы с мест в поддержку "православного царя", посылка которых организовывалась небольшой кучкой черносотенцев, служили плохим утешением... После революции и вызванных ею перемен Николай и Александра все чаще начинают обращать свои взоры к небесам, ожидая помощи и поддержки свыше...

При всей ее несомненной глубине и искренности, вера царской четы отличалась некоторыми своеобразными чертами, очень характерными, впрочем, для многих и многих православных. На первом месте для царя с царицей стоял церковный обряд, во всей его пышности и благолепии; сущностная сторона православного учения отступала при этом на задний план. Между тем, исполнение обряда не всегда может утолить духовную жажду; не всегда даже истинную веру может уберечь от суеверия. Преклоняя колени перед Господом, царь с царицею слишком буквально понимали слова молитв, слишком много ждали свыше: пророчеств, знамений, чудес... Правда, в их положении только и надежд оставалось, что на чудо...

Впрочем, в те годы это было явление общего порядка: вся атмосфера светского Петербурга была пронизана в равной степени ощущением близкого конца и жадной чудесного, мистицизмом, как правило, впрочем, самого дешевого пошиба. Каких только "святых" и чудотворцев не демонстрировали при дворе, в салонах великих князей и столичной аристократии! Из них из всех, пожалуй, только Митя Коляба был действительно "человек божий, не от мира сего": юродивый в старорусском духе, глухонемой, полуслепой, кривоногий, с кривым позвоночником и обрубками вместо рук, он не извлекал из своих судорожных движений и томительного мычания никакой иной корысти, кроме скудного пропитания и ветхой одежды. Для всех прочих "сверхъестественные" знания и дарования служили источником куда более значительных благ. Так, например, шарлатан-"ясновидец" француз Филипп, представленный царской четой и произведший на нее самое сильное впечатление, получив, вопреки всем законам, чин действительного статского советника, а "доктор тибетской медицины" Багдамаев, лечивший высший свет своими таинственными "травками", приобрел огромное закулисное влияние, которым пользовался без зазрения совести для самых темных дел. Но все это были лишь провозвестники, мелкие бесенята, мостившие путь "Святому Черту", Григорию Ефимовичу Распутину.

В Петербурге Распутин появился в самое подходящее время - в 1905 году,* когда начинающаяся революция донельзя усилила у великосветской знати тягу к сношениям с потусторонними силами. О прошлом своем он рассказывал в духе "святого жития": родился в Сибири** (в селе Покровском Тобольской губернии), в крестьянской семье; в юности получил известность по всей округе как вор, хулиган и блудодей, за каковые грехи бывал бит нещадно; к 30-ти годам, под влиянием случайной беседы с проезжим монахом, одумался, покался и круто изменил образ жизни; совершал подвиги во славу Божию: неделями молился, не принимая пищи, паломником по святым местам исходил всю Русь, бывал в Иерусалиме; подобно святым, слышал голоса и имел видения; подобно святым, получил свыше дар пророчества и чудотворства...

Распутину предшествовала громкая слава; ему оказывали покровительство высшие лица духовной иерархии и столичная знать. Особенно поражены были "божьем человеком" великие князья, дяди царя вышеупомянутый Николай Николаевич и его брат Петр, вкупе со своими супругами, черноморскими князьями Анастасией и Милицей,* ** выделявшимися своею страстью к подобным явлениям даже на фоне шалого петербургского света: именно они в свое время проторили дорогу ко двору "магу" Филиппу; они же в 1907 году добились высочайшей аудиенции для "святого старца".

Французский посол Морис Палеолог, по долгу службы весьма интересовавшийся личностью Распутина и собиравший о нем сведения в великосветском кругу, сообщает, что перед тем как допустить до себя Распутина царь и царица обратились за советом к одному из главных покровителей Распутина духовнику царицы архимандриту Феофану, которого очень уважали, - ведь за "старцем" уже тогда числились не только подвиги во славу Божию, но и многочисленные скандалы: в Царицыне он лишил невинности монахиню, в Тобольске - обольстил благочестивую даму, в Казани - "изгнал" из публичного дома голую девицу, бичуя ее поясом... Слухи о некоторых из этих походов, очевидно, дошли до царских ушей. Палеолог передает слова Феофана следующим образом: "Григорий Ефимович - крестьянин, простец. Полезно будет выслушать его, потому что его устами говорит голос русской земли. Я знаю все, в чем его упрекают. Мне известны его грехи: они бесчисленны и большей частью гнусны. Но в нем такая сила сокрушения, такая наивная вера в божественное милосердие, что я готов был бы поручиться за его вечное спасение. После каждого раскаяния он чист, как младенец, только что вынутый из купели крещения. Бог явно отмечает его своей благодатью".

Если Феофан и впрямь произнес нечто подобное, то он дал своему подопечному самую блестящую рекомендацию, на какую тот только мог рассчитывать. Каждое слово было в цель. В дверь царских покоев постучался тот, кого здесь давно ждали, на чье пришествие так надеялись! Царь с царицею, мучительно ощущавшие свою оторванность от народа, получали возможность услышать глас его из уст человека, избранного самим Богом! Царской чете должны были запомниться и слова архимандрита о конечной безгреховности насквозь греховного Григория, о его удивительной способности к постоянно-му духовному возрождению "через наивную веру в божественное милосердие".

Распутин с лихвой оправдал все ожидания... С первого же свидания он очаровал царскую чету своею "простотою", неуклюжею силой, сквозившей в каждом его движении, - это и впрямь был настоящий мужик, "простец"... И в то же время на нем незримо почивала благодать Божия - недаром ведь царь с царицею расслышали в его странной, косноязычной почти речи, в его обрывистых фразах свои собственные заветные мысли: в самодержавии спасение России, нужно всячески оберегать царскую власть, любое ослабление ее грозит гибелью стране и народу... И это говорил, повторяя раз за разом, с присловьями и присказками не придворный холоп, не равнодушный льстец-чиновник, а человек из народа - "божий человек"! Духовное одиночество царской четы находило чудесное разрешение - им был ниспослан свыше незаменимый друг и советник.

Восприятие Распутина, как Божией благодати, как "Друга" - именно так, с прописной буквы, именовался он в переписке царской четы, - еще более усиливалось благодаря некоторым и в самом деле незаурядным способностям Распутина. Этот человек, отличавшийся поразительной жизненной энергией, несомненно обладал гипнотической силой и умел ею пользоваться, в частности, в лечебных целях (чем нынче нас не удивить). Царская же семья с 1904 года, с рождением наследника российского престола цесаревича Алексея, жила в состоянии постоянного напряженного страха. Швейцарец П. Жильяр вспоминал, как он ясно ощутил это при первом же свидании с мальчиком, которого вынесла ему царица: "Она была счастлива и гордилась красотой своего ребенка. Цесаревич был действительно прелестный мальчик с чудными белокурыми локонами и большими серо-синими глазами, оттененными длинными ресницами. У него был свежий цвет лица здорового ребенка, и когда он улыбался, две ямочки показывались на его щеках... Во время этого первого свидания я заметил, как неоднократно императрица прижимала сына к груди, точно охраняя его или боясь за его жизнь. Этот жест и сопровождавший его взгляд обнаруживали острое внутреннее страдание..."

Дело было в том, что прелестный, выглядевший таким здоровым мальчик был поражен опасной,

неизлечимой болезнью - гемофилией, при которой кровь теряет свою естественную способность свертываться: любой сколько-нибудь сильный ушиб неизбежно приводит к обширному кровоизлиянию, причиняющему страшные страдания и грозящему смертью. Как ни берегли мальчика - он уже в раннем детстве видел смерть в глаза. Не раз царице приходилось сутками не отходить от сына, мучаясь вместе с ним. Трагедия усугублялась тем, что без вины виноватой в ней была сама Александра.* Наверное, именно у постели сына она получила ту сердечную болезнь, которая так мучила ее в последние годы жизни. И вот теперь появляется человек, который обладал способностью успокаивать больного ребенка, снимать боль, излечивать ушибы... По некоторым свидетельствам, впервые интерес к Распутину царица проявила именно тогда, когда услышала о его целительной силе.

Распутин в сущности играл в беспроигрышную игру - все козыри были у него на руках. Понять, чего от него ждут в царских покоях, было не так уж и сложно: он прошел уже хорошую школу при великих князьях, отлично ориентировался в дворцовых делах и, конечно же, загодя составил себе ясное представление о тех, с кем ему предстояло увидеться. Нужно отдать должное "старцу": он великолепно играл свою роль, раз за разом укрепляя то впечатление, которое ему удалось произвести при первом свидании. Самое главное - он стремился крепко-накрепко внушить царю и царице мысль, что все будущее их семьи, наследника, Империи связано с ним, посланцем Божиим, которому открыто будущее, который знает, чем и как надо спасти Самодержавие и Россию... И Распутин в этом много преуспел. Если царь при всем своем внимании к словам "старца" сохранял все-таки способность к критическим оценкам и самостоятельным действиям, то царица поверила ему безоговорочно.

Распутин вошел в интимнейший кружок царской семьи, главным членом которого, кроме него, была фрейлина и близкая подруга царицы Анна Вырубова. Его принимали здесь как Друга, посланного Богом: открывали перед ним душу, спрашивали совета, искали утешения. И Распутин советовал и утешал, ласкал и успокаивал царевича, в котором болезнь вызвала повышенную возбудимость. Все это он делал виртуозно, поскольку был в своем роде умен и умел искусно и вовремя пускать в ход свои "сверхъестественные" способности. А самое главное, он почти всегда угадывал, каких слов и действий от него ждут, что было, наверное, при удивительной цельности характера и мировоззрения царской четы, не так уж трудно... Палеолог, со слов царского адъютанта, передает характернейшее высказывание Николая по этому поводу: "...когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне нужно услышать (разрядка моя - А. Л.). И действие его слов длится целые недели..."

Таким образом, самые глубинные убеждения царской четы, их верность Самодержавной Идее - все это освящалось теперь авторитетом "старца", на котором почивала благодать Божия... Распутин стал совершенно необходим царю и царице: он лечил наследника и молился за него; он духовно облегчал им борьбу с коварными противниками самодержца; он, наконец, сам был залогом победы в этой борьбе. Естественно, что любые слова и действия, направленные на то, чтобы умягчить влияние "старца", не говоря уже об изгнании его из столицы, воспринимались Николаем и Александрой, как явное недоброжелательство по отношению к ним самим, как кощунство, как издевательство над святыней.

А между тем, сей "старец" был куда как далек от Божией благодати. Его заклятый противник иеромонах Илиодор недаром дал ему прозвание "Святой Черт": при всем своем "великом постничестве и молитвах" Распутин был человеком до мозга костей развращенным и духовно, и физически... Влияние, полученное при дворе, дало Распутину большие деньги, неограниченную возможность гульбы, пьянства и блуда и то ощущение огромной, почти беспредельной власти, которое, судя по всему, значило для него очень много. Кого только не было у него в доме на Английском проспекте - позже на Гороховой - в "часы приема", с десяти до часу: генералы и студенты, высокопоставленные чиновники и крестьяне, светские дамы и кокетки; очень часто к Распутину приходили так называемые инородцы, особенно евреи, пытавшиеся с помощью его влияния обойти многочисленные ограничения в правах, которыми обставлено было все их существование в России. И Распутин благотельство-

вал... По свидетельству его секретаря Арона Симоновича - воспоминания которого, в целом, внушают мало доверия, но содержат некоторые любопытные, очень жизненные подробности, - Распутин многим, особенно мужикам, помогал бескорыстно; дворян же, аристократию ненавидел как сословие и куражился над соответствующими просителями бесовски; особенно тяжело приходилось дамам из высшего света... Но, как справедливо говаривал сам Распутин: "Я ж не насилюю их. Они сами шлятся ко мне, чтобы я за них хлопотал у царя... Почему мне не брать их? Не я ищю их, а они приходят ко мне..." Трудно себе представить более яркое свидетельство разложения высшего общества, чем это постоянное кружение светских дам перед наглым, по-звериному грубым мужиком. А ведь летели, как мухи на мед...

Почти каждую ночь "старец" кутил - дико, грязно... Он, впрочем, и из оргий умел извлекать выгоду, завязывал самые тесные отношения с прожигательницами жизни высокого полета - любовницами великих князей, министров и пр.; от этих "ночных бабочек" Распутин, помимо прочего, получал самые разнообразные сведения, необходимые ему в его многотрудной деятельности. О расходах он мог не заботиться - об удовлетворении всех прихотей "старца" трогательно заботились банкиры-евреи Манус, Рубинштейн, Каминка и пр., которые с легкой руки Симоновича быстро сообразили, какая крупная рыба плавает в их финансовые тенета... Но, может быть, самым жутким было то, что "старец", гуляя и бесчинствуя на глазах у всего Петербурга, безудержно хвастался своим влиянием при дворе, хвастал царскими подарками - сорочками, вышитыми руками царицы, и пр. "Папа", "мамаша", "старушка" - эти и подобные им "ласковые" прозвища, которыми он награждал Николая и Александру, не сходили с его языка. Напившись до зеленых чертей, он похвалялся делами совершенно невозможными, бесчестил царицу, ее дочерей... Марая царское имя в кабацкой грязи, Распутин безжалостно растапывал ту самую Идею Самодержавия, истовым защитником которой выступал перед Николаем и Александром.

Дискредитируя власть, бесчестя дворянство, "святой старец", может быть, наибольший ущерб нанес церкви. Судя по всему, он не был просто расчетливым проходимцем, наделенным талантами "мага и гипнотизера". Распутин действительно веровал и веровал глубоко, но не по-православному, а по-хлыстовски. Многие, хотя и косвенные, но очень убедительные данные свидетельствуют о том, что он входил в эту секту, члены которой на своих радениях, доводя себя до душевного и эротического экстаза, вступают в мистическую связь со Святым Духом, снисходящим на них в божественном сиянии. Хлыстовский "святой дух" "накатывал" и на Распутина: надо думать, именно экстазическая вера придавала ему ту небывалую, бесовскую силу, которая так подчиняла себе окружающих.*

Хлысты, внешне, "для обличия" принимавшие церковный обряд, ненавидели православную церковь в той же степени, в какой церковь всегда преследовала и гнала их. Хлыстовство Распутина многое объясняет в тех пакостях, которые он учинял православным иерархам. Именно в церковные дела он, заручившись безоговорочной поддержкой царя и царицы, стал вмешиваться в первую очередь, беззастенчиво издеваясь над Святым Синодом, добиваясь таких перемещений и назначений духовных лиц, которые были ничем не оправданы, кроме его произвола. При этом покровительствовал он почти исключительно людям подлым, глупым или пьяным: "мазурику" Восторгову, Макарию Гневушеву, которого обвиняли в уголовных преступлениях, своему собутыльнику, полуграмотному чернецу Варнаве. Пожаловав последнему, в обход Синода, епископский сан, Распутин говорил царице: "Хоть архиереи и будут обижаться, что к ним, академикам, мужика впихнули, да ничего, наплевать, примирятся..."

Попытки разоблачить Распутина перед царской четой были совершенно безуспешны. Весь трагизм ситуации великолепно передал В. В. Шульгин, идейный монархист, глубоко переживавший дискредитацию самодержавия и церкви Распутиным: "Царской семье он обернул свое лицо "старца", глядя в которое, царице кажется, что дух Божий почитает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего - сатира из тобольской тайги..."

Появление Распутина окончательно завершило тот трагический процесс отчуждения царской четы, заставшей в величественной идейной неподвижности, от России, которая неудержимо рвалась к

переменам. Все от него зависящее сделал "святой старец", чтобы этот процесс оказался необратимым...

Впрочем, строки Шульгина, приведенные выше, относятся к последним годам Империи. Довольно долгое время положение, казалось, не было столь трагичным: о Распутине знал лишь достаточно узкий круг людей, да по столице ходили слухи. Буржуазные политики-думцы, имевшие влияние на значительную часть средств информации, к "старцу" особого интереса не проявляли, им и без него хватало хлопот: нужно было постоянно отбиваться от умного, энергичного Столыпина. Пожалуй, впервые "достоянием гласности" Распутин стал в начале 1910-х годов. Особенно послужил его "славе" скандал 1911 года, когда несколько священнослужителей во главе с саратовским епископом Гермогеном и иеромонахом Илиодором, разобравшись, наконец, с кем они имеют дело, попытались скомпрометировать Распутина, уличив его перед свидетелями в "непотребных деяниях". Процесс уличения носил суровый характер: Гермоген, чья физическая мощь превосходила даже распутинскую, буквально измордовал "старца" наперсным крестом, принудив его покаяться и дать клятву не преступать порога царского дворца... Инициаторов сего деяния обвинили в покушении на жизнь "божьего человека" и разослали по дальним монастырям; Гермогена к тому же пришлось увольнять из Синода. Вот тогда-то имя "старца" впервые всплыло в Думе: лидер октябристов Гучков, которому впоследствии довелось сыграть самую активную роль в "антираспутинской компании", впервые произнес речь о "закулисных влияниях". Тогда же о Распутине заговорили - в пределах дозволенного - в прессе. "Старец" счел за лучшее на время удалиться из столицы; вспомнив былые годы, Распутин отправился в паломничество в Иерусалим, после чего толки о нем довольно быстро заглохли.

Но вот в Россию пришла война, которая окончательно погубила самодержавие... Страна оказалась совершенно не готовой к испытаниям военного времени - ни технически, ни организационно, ни политически. Она ввалилась в мировую мясорубку со всеми своими заботами и тяготами, со всей своей внутренней неустroенностью, с ворохом нерешенных проблем. В подобном состоянии воевать нельзя было ни с кем, тем более с Германией... Недаром Витте еще в начале XX века накануне русско-японской войны, будучи министром финансов и поэтому, может быть, лучше, чем кто-либо другой, представляя себе уровень жизнестойкости империи, утверждал: "В мирное время - проскрипим; придет война - развалимся". Он знал, что говорил... К 1914 году положение не улучшилось - усугубилось. И результаты не заставили себя ждать.

После временных успехов в начале военных действий началось "Великое отступление", в ходе которого Россия оставила неприятелю значительную часть Прибалтики и Белоруссии, почти всю Западную Украину. К концу 1915 года, писал Шульгин, Россия "потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противника. Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходился в два русских, показывает, как щедро расходует русское пушечное мясо. Один этот счет - приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор всем нам... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей..."

Глубоко справедливые слова... Но в той гибельной ситуации, которая сложилась на второй год войны, "весь правящий" и, особенно, весь "неправящий" класс менее всего готов был к такому абстрактному покаянию; их представителей гораздо больше волновали поиски конкретных виновников создавшегося положения. "Кто должен отвечать за все происходящее?" - вот как формулировался "главный вопрос дня" на страницах прессы и с думской трибуны. И вопрос этот все громче и громче звучал на всю страну - перед лицом наступающего врага и нарастающего революционного движения, в преддверии надвигающейся разрухи и анархии...

Вожди политической оппозиции в России не скрывали своей цели - "заклеймить виновников национальной катастрофы". Но за этим стремлением, порожденным несчастным ходом войны, скрывалось еще и другое - давнее, выношенное стремление к участию в управлении страной. Дума, созданная событиями 1905 года, после столыпинского "переворота" 3 июня 1907 года превратилась в совер-

шенно безвластную говорильню. В то же время эти события ясно показали, что уступки у царя можно вырвать только силой; и вот сейчас, в разгар несчастливой войны, впервые со времен революции появилась реальная возможность проявить силу, пошатнуть трон... В 1915 году в Думе был организован так называемый Прогрессивный блок, в который вошли фракции буржуазных партий и отклонившиеся от правых националисты. Они объединились под лозунгом "министерства доверия", т. е. такого министерства, в которое войдут государственные деятели угодные Думе, готовые сотрудничать с нею. Сторонникам же неограниченной монархии в правительстве объявлялась война, - хотя, казалось бы, всем должно было хватать той большой, настоящей войны, в которой Россия терпела такие жестокие поражения... Именно на "министров-монархистов" возлагалась блоком вся полнота ответственности за "национальную катастрофу".

Первой жертвой стал военный министр В. А. Сухомлинов, который после бурной обличительной компании, развязанной в Думе и на страницах оппозиционной печати, был смещен со своего поста и отдан под суд по обвинению в "противозаконном бездействии и превышении власти, подлогах по службе, лихоимстве и государственной измене". Царь проявил совершенно непростительную слабость и выдал лично ему очень симпатичного министра головою - очевидно, потому, что правительству тоже нужен был козел отпущения за неудачи на фронте. Сухомлинов, очевидно, имел за собой лишь ту вину, что и великое множество других государственных деятелей самодержавной России: по своим деловым и моральным качествам совершенно не соответствовал своему посту. Но дело даже не в этом... Когда Э. Грей, министр иностранных дел Англии - страны-союзника, - узнал об этом процессе в России, он, не вникая в суть дела, иронически заметил думской делегации в Лондоне: "Ну и храброе же у вас правительство, раз оно во время войны решает судить военного министра". Подобные процессы, в которых власть компрометирует сама себя, действительно, требуют от нее своего рода "храбрости"... А между тем это были лишь цветочки той грандиозной компании по компрометации власти, которую разворачивал Прогрессивный блок; ягодки только еще наливались соком...

Дело Сухомлинова стало для блокистов своего рода стереотипом в их последующей борьбе против власти. В ходе этой борьбы обычно и речи не заходило о политических убеждениях министров, хотя все дело было именно в них; на первый план выдвигались обвинения либо в "неспособности", "продажности или лихоимстве", которые бывали иногда справедливы, но, как правило, не отличались особой доказательностью; либо в государственной измене - эти, последние, никогда не имели под собой и тени серьезных оснований. Вот тут-то оппозиции и пригодился "святой старец"...

С легкой руки деятелей блока имя Распутина в считанные недели стало символом всех зол, истерзавших правительство: и коррупции, и бездарности, и немецкого влияния. "Старец" предстал в роковой для России роли то ли вождя, то ли верного слуги неких "темных сил", очерчиваемых очень туманно, но, может быть, именно поэтому наводящих особый страх. Ясно было только, что силы эти угнездились "в тени трона" и через голову царя, как марионетками, управляют министрами. Конечные цели сих сил представлялись столь же смутными, как и их очертания, но ближайшие были предельно ясны: поражение России в войне или, на худой конец, позорный, сепаратный мир с Германией. Соответственно и все беды - неудачи на фронтах, срыв снабжения армии и городов, нехватка снарядов и продовольствия, трагическая по своим последствиям неразбериха на транспорте и пр., и пр. - все это восходило к тому же корню, все это вызывалось кознями Распутина, стоявших за ним злых сил и полностью зависимых от него министров...

В деле Сухомлинова имя Распутина почти не фигурировало. Но уже каждый последующий министр, которого "валила" Дума, со зловещей неизбежностью ощущал на своем лбу клеймо - "распутинец". Это представляло большое удобство, поскольку избавляло оппозицию от излишних рассуждений и хлопотных доказательств. Для того, чтобы разоблачить очередного "клеветра темных сил", использующего свое служебное положение во зло России, достаточно было известия, что "старца" видели у него в приемной; что они посещают одних и тех же лиц; даже случайная встреча с Распутиным могла скомпрометировать напрочь.

Насколько основательна была вся эта пропагандистская кампания, проводившаяся оппозицией в

Думе и в печати с железной последовательностью? Несомненно, в годы войны влияние Распутина на царскую чету, и без того немалое, выросло еще больше. Так же, как и раньше, он продолжал посещать Царское Село, утешая и вдохновляя царя с царицей на стойкую защиту самодержавных устоев, и вершил свои пакостные дела по светским гостиним, министерским кабинетам, царским кабакам... По-прежнему его окружали самые разнообразные ходатаи - во время войны распутинское влияние еще больше возросло в цене. Когда в атмосфере надвигающегося распада и разложения запахло выгодными гешефтами, на первый план среди клиентов Распутина выдвинулись те лица, клиентом которых он сам был долгое время: Манус, Рубинштейн и пр. Люди это было все страшненькие - настоящие "акулы капитализма", родиной которых была международная империя финансистов и промышленников; у них давным-давно были налажены теснейшие деловые связи с манусами и рубинштейнами зарубежных, в том числе и германскими; и они, сохранив эти связи во время войны, не гнушались никакими "деловыми операциями", в том числе и преступными с патриотической точки зрения, лишь бы те приносили им соответствующий процент прибыли. То, что с помощью Распутина эти дельцы соблюдали свою выгоду, не раз по условиям военного времени заслужив тюремную решетку, - очень вероятно. А все же видеть в подобной шушере, пусть даже и крупнокалиберной, те самые "темные силы", манипулировавшие царем и царицей, сознательно и последовательно разваливающие фронт и тыл, предписывающие министрам свою программу действий - право же, для этого не было и нет серьезных оснований... В еще меньшей степени ответственность за катастрофы, происшедшие и надвигающиеся, можно было возлагать на таких мелких, незначительных, лишенных всякого политического смысла людей, составлявших самый интимный круг царской четы, как беззаветно преданная Александра Вырубова или дворцовый комендант Воейков, хотя на них и обращался постоянно указующий перст прокуроров от оппозиции.

Хорошо отработанный, превратившийся в аксиому тезис "царь, царица, их доверенные лица, министры, которых они назначают, - все это игрушки в руках Распутина и темных сил", тезис, на котором Прогрессивный блок на протяжении полутора лет строил свою пропагандистскую кампанию, - не выдерживает серьезной критики. С Распутиным постоянно советовались, к нему прислушивались - это несомненно. С его благословения были проведены на свои посты председатель Совета Министров Б. В. Штюрмер и министр внутренних дел А. Д. Протопопов, вызывавшие самую острую неприязнь у блокистов; с его благословения царь сам занял в 1915 году пост Верховного Главнокомандующего, сместив с него великого князя Николая Николаевича, - что так же вызвало взрыв негодования в среде думской оппозиции. Все это несомненно, но... суть дела, очевидно, не в том, чего желал Распутин, а в том, чего желал царь. А царь со свойственной ему с первых лет правления последовательностью назначал министров, в полной лояльности которых был уверен, и смеялся тех, в ком заподозривал склонность выступать против его воли и желаний, нарушать Самодержавный принцип, идти на сотрудничество с оппозицией. Точно так же и Николай Николаевич, весьма милостиво принимавший на фронте одного из самых активных деятелей блока Гучкова, ведший с ним тайные переговоры, вызвал недоверие царя, и он его отправил на Кавказ, сам заняв пост, самый важный пост в государстве, на который и назначить-то больше было некого...

Иными словами, царь прислушивался к советам Распутина, поскольку последний говорил именно то, что его собеседнику хотелось услышать. О желаниях же Николая, как правило, догадаться было совсем не трудно. Кроме того они, по большей части, совершенно органически совпадали с желаниями самого "святого старца", для которого любой шаг в сторону ослабления царской власти был шагом к конечной гибели... В то же время С. С. Ольденбург в своем капитальном труде о царствовании Николая, исходя из переписки царской четы, приводит десятка два примеров, когда советы Распутина, всегда поддерживаемые царицей, но не совпадающие с намерениями царя, оставались без малейших последствий. Мы же обратим внимание читателя лишь на один эпизод, не вошедший в перечень Ольденбурга, но, может быть, самый характерный: не желая и боясь надвигающейся войны, Распутин попытался оказать поддержку главному ее противнику в среде сановной бюрократии С. Ю. Витте, которого очень уважал. Последний, будучи с 1906 года удаленным от дел, по-прежнему вожделем к

власти и готов был воспользоваться на пути к ней любой оказией. Но царь, видевший в Витте своего рода воплощение всех конституционных зол, подавил эту попытку в самом зародыше; и слушать не захотел, никакие ссылки на Божий промысел не помогли...

Несомненно, при всем при этом, что в годы войны Распутин сыграл свою роковую роль в развале власти. Когда царица с горечью писала царю: "Мы столько знаем, а когда приходится выбирать министров, нет ни одного человека годного на такой пост - нет настоящих джентльменов..." - то ведь именно Распутин стоял непреодолимой преградой на пути тех немногих монархистов-"джентльменов", которые и годились в министры, но не желали терпеть рядом с тронном "Святого Черта". Из-за борьбы с влиянием "старца" и с самим "старцем" вынуждены были оставить свои места такие деятели и в то же время преданные идее самодержавия люди, как обер-прокурор Синода А. Д. Самарин, товарищ министра внутренних дел В. Ф. Джунковский. Выбор суживался донельзя... Но мы видели, что подбор надежных сотрудников был для царя серьезнейшей проблемой чуть ли не с первых дней его царствования. Распутин лишь усугубил ее: теперь Николаю приходилось учитывать при назначении на тот или иной пост не только лояльность претендента по отношению к себе, но и по отношению к "старцу".

Но это ведь в принципе ни в коей мере не влияло на общее направление внутренней политики, проводимой царем. Он в годы войны так же, как и всегда, упорно и последовательно отстаивал свои принципы, свою систему управления Россией, в которой "властной" Думе не было места. Именно он, Николай II, а не Гришка Распутин, был главным препятствием на пути создания "министерства доверия", на пути каких бы то ни было уступок оппозиции. Именно с ним, по существу, и воевал Прогрессивный блок, но не имея ни сил, ни желания вести эту борьбу в открытую, прибег к диверсии, утопив царя с царицей в "распутинщине", благо толпой грязи в ней было предостаточно.

Кампания компрометации верховной власти, открытая оппозицией в 1915 году, толком не изучена, а право же в ней много поучительного. Распутин мифологизировался заживо; этот хитрый мужик, при всей своей экзальтации и мистических склонностях думавший прежде всего о своем благополучии, приобретал черты сверхчеловека, "злого гения России". Его взяла в работу пресса: за Распутинным следили, напрашивались к нему на свидания, собирали всевозможные сплетни. Вот тут-то и пошел в ход запас "информации", собранный светскими дамами; да и господ старались от них не отстать. Любое слово Распутина, произнесенное им в полупьяной, блаженной болтовне, подхватывалось на лету, ложилось на бумагу и служило основанием для самых далеко идущих выводов.

Грязи, повторяем, и в самом Распутине и около него было предостаточно; теперь же она обильным потоком хлынула на потрясенную Россию. Газетные заметки, страстные выступления с думской трибуны и, главное, слухи, слухи, слухи, самые жуткие, самые невероятные - все это вместе взятое постепенно складывалось в массовом сознании в достаточно ясную и внутренне стройную картину, о которой мы уже говорили выше: царь-дегенерат, распутная царица-немка, страшный мужик, взявший за горло всю страну... И когда в темных кинозалах, где демонстрировалась лента с кадрами награждения царя боевым орденом Св. Георгия, раздавались крики: "Царь с Егорием, царица с Григорием", - думские деятели, очевидно, должны были испытывать чувство удовлетворения - их усилия не пропали даром...

Конечно же, во всей этой вакханалии нельзя видеть только голый политический расчет. Трагизм положения заключался в предельном отчуждении противников друг от друга; через пропасть, их разделявшую, лица человеческого видно не было... В политических отношениях этого времени отсутствовала плодотворная деловая простота; борьба строилась не на ясном понимании вещей, а на домыслах, слухах, фантазиях. Подавляющее большинство общественных деятелей, принимавших в ней участие, искренне уверовало в ими же созданный миф. Увидев распутинскую "развратную, пьяную и похотливую рожу сатира-лешего", оппозиция оказалась обманута и зачарована ею почти в той же степени, в какой царская чета уверовала в Божью благодать, почившую на сем "святом старце".

Ненависть и страх перед Распутинным постепенно приобретали характер маниакальной истерии: все в нем, все зло, все беды от этого воплощения "темных сил". Причем, если оппозиция видела в нем главное препятствие на пути "обновления России", то многие убежденные монархисты, ошелом-

ленные размахом антираспутинской кампании, начинали прозревать в "старце" роковую угрозу для дорогого им самодержавия. Именно в этой среде, состоявшей в основном из людей, не любивших рассуждать, предпочитавших действовать, и родилась несложная мысль решить все проблемы, терзавшие Россию, путем убийства "проклятого Гришки".* "Распутинский комплекс" послужил одной из главных причин, толкнувших значительную часть правых националистов во главе с Шульгиным в объятия Прогрессивного блока в Думе. Что же касается правоверных монархистов-думцев черносотенного пошиба, то они крепились по мере сил; нападками на власть Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский и пр. пытались противостоять, исходя из определяющего принципа своих убеждений: "Царь, пока он царь, - всегда прав".

Но вот и от этой группы откололся один из главных ее лидеров - В. М. Пуришкевич. В своей речи, произнесенной в Думе 19 ноября 1916 года с присущим ему темпераментом, он буквально повторил постоянный припев выступлений своих заклятых противников-блокистов: "Все зло идет от тех темных сил, от тех влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным". Живописуя в своем дневнике впечатление, произведенное этой речью в Думе и за ее пределами, Пуришкевич ничуть не преувеличивает. Хотя лидер правых и не сказал в ней ничего нового, но сам он был настолько яркой фигурой в черносотенно-монархическом движении, что перемена им фронта вызвала настоящую сенсацию, - и, в частности, в придворных кругах. Как выяснилось позже, именно эта речь стала отправной точкой в подготовке последнего покушения на Распутина.

Пуришкевич был родом из Бессарабии, из богатой дворянской семьи. Надо сказать, что западные губернии, захваченные чертою оседлости, вообще дали России чуть ли не большинство черносотенных и националистических лидеров. Свои крайние взгляды Пуришкевич достаточно ярко проявил уже в молодости; именно как крайне правый он 35-лет от роду прошел во II Думу от Бессарабии и затем последовательно избирался в Думы III и IV созывов. Характеризуя свою политическую позицию в "русском парламенте", в котором депутаты рассаживались соответственно своей партийной принадлежности справа налево - от черносотенцев до эсеров и эсдеков, - Пуришкевич говаривал: "Если бы я выбирал место соответственно своим взглядам, мне пришлось бы сидеть на барьере", т. е. на правом фланге ему места уже не хватало... Как и для всякого последовательного черносотенца-сторонника неограниченного самодержавия, для Пуришкевича Дума сама по себе была попушением Божеским - органом для России противоестественным и опасным, постоянным источником самой зловредной пропаганды; участвовать в ее работе имело смысл только в целях борьбы с этой пропагандой. И Пуришкевич вел себя во время думских заседаний соответственным образом: постоянно устраивал скандалы, прерывал выступавших, выкрикивал оскорбительные реплики. В то же время он сам был неплохим оратором и на трибуне производил впечатление: небольшого роста, с совершенно голым черепом и маленькой рыжеватой бородкой, с резкими судорожными жестами, крикливым голосом и мимикой на грани кривляния, он всем своим обликом как нельзя лучше соответствовал сути своих злых, нетерпимых выступлений. Дневник Пуришкевича очень хорошо передает общий стиль и тон его постоянно нервной, почти истерической речи.

Вне Думы он показал себя незаурядным организатором - свидетельством тому "Союз русского народа", самая массовая черносотенная организация, в создании и работе которой Пуришкевич принял самое деятельное участие; "Союз Михаила Архангела", который он создал в 1908 году под единоличным своим руководством, разругавшись с другим вождем союзников, доктором Дубровиным; и, наконец, "Общество русской географической карты" - о нем Пуришкевич рассказывает в своем дневнике.* Санитарный поезд, организованный им вскоре после начала войны и стоявший ему огромных средств, единодушно признавался образцовым.

Все это вместе взятое создавало Пуришкевичу огромный авторитет среди единомышленников; прислушивались к нему и в высших сферах. Неудивительно, что его речь от 19 ноября послужила своего рода сигналом для Феликса Юсупова...

Этот отпрыск одного из самых знатных и богатых аристократических родов России,* женатый, к тому же, на двоюродной племяннице царя, княжне Ирине Александровне - именно ее имя послужило

приманкой, которой Распутина заманили в юсуповский особняк, - был плоть от плоти петербургского высшего света, с его утонченной изысканностью форм и полным духовным бесплодием... Один из историков-монархистов, Кобылин, дает ему следующую, очевидно, справедливую характеристику: "Юсупов играл на гитаре, пел с настроением цыганские романсы, прекрасно играл в теннис и был тем, что теперь называется "play-boy"... Впрочем, он собирался послужить матушке России и в означенное время проходил курс военных наук в Пажеском корпусе, точнее - в своем особняке: преподаватели ходили к нему на дом..."

В высшем свете Юсупов вращался в том кругу, где Распутина - а в равной мере и царицу - ненавидели с особенной силой, полностью разделяя ту точку зрения, что именно они являются корнем всех зол; в частности, он был дружен с главным фрондером среди великих князей, своим близким родственником по жене Николаем Михайловичем. Именно этого великого князя многие считали вдохновителем Юсупова... Для полноты впечатления можно еще привести несколько строк из дневника Палеолога, написанных после известия об убийстве "старца": "Князь Феликс Юсупов, двадцати восемью лет, обладает живым умом и эстетическими склонностями; но его дилетантизм слишком склонен к нездоровым мечтам, к литературным образам Порока и Смерти, и я боюсь, что он видел в убийстве Распутина прежде всего сценарий, достойный его любимого автора Оскара Уайльда. Во всяком случае, его инстинкты, лицо, его манеры делают его похожим скорее на героя "Дориана Грея", чем на Брута или Лорензанно". Если же верить некоторым слухам, ходившим в столичном высшем свете об Юсупове, то он в некотором отношении был похож не только на Дориана Грея, но и на своего любимого автора: Распутин, якобы, лечил его от противоестественной склонности к лицам своего пола... Во всяком случае энергичный, деятельный Пуришкевич был совершенно необходим этому любителю "литературных образов Порока и Смерти" для совершения задуманного.

О прочих участниках убийства и сказать-то практически нечего - в том числе и о великом князе Дмитрие Павловиче, фигуре совершенно бесцветной, представлявшей из себя сколок с того же Юсупова. "Высокий статный красавец" - вот вся характеристика, на которую оказался способен в своем дневнике очень расположенный к великому князю Пуришкевич. Ограничимся ею и мы. Следует только отметить, что участие в убийстве Распутина члена семьи Романовых, несомненно, носило принципиальный характер, недаром почти все великие князья горой встали на защиту Дмитрия Павловича, когда царь решал вопрос о наказании убийцам.

Несколько слов следует сказать и о В. М. Маклакове, которого Пуришкевич пытался вовлечь в круг заговорщиков. Маклаков был кадетом, но кадетом единственным в своем роде: если Пуришкевич "сидел на барьере" в отношении всей Думы, то Маклаков такую же позицию - крайне правую - занимал в кадетской партии. В то же время он был одним из самых ярких думских ораторов и в своих эффектных речах неоднократно выступал с критикой министров-"распутинцев", даже самого царя. Очевидно, у Пуришкевича, обратившегося к Маклакову с предложением принять участие в убийстве, была мысль и в этом деле организовать что-то вроде блока, показав, в случае разоблачения, сколь различные политические силы стремились избавиться России от Распутина. Но, как он пишет в дневнике, его собеседник оказался все-таки "типичным кадетом": дал яд, преподнес каучукую гирию - одно из орудий убийства, - обещал свое содействие как адвокат, но от "нелегалщины" отказался. Любопытно, что Дмитрий Павлович, узнав об этом отказе, выразил полное свое удовлетворение: хорошо, мол, что эту высоко идейную акцию проведут одни монархисты.

...В ночь с 16 на 17 декабря Григорий Распутин был убит. Это событие подробнейшим образом запечатлено в дневнике Пуришкевича и воспоминаниях Юсупова, публикации которых в наши дни украшают витрины чуть ли не каждого газетного киоска. Мы во все эти подробности вдаваться не будем, отметим только, что, несмотря на все попытки участников преступления героизировать "сей дерзкий акт", оно выглядит столь же грязным и отвратительным, как и любое иное убийство... Если что, помимо невероятной жизненной силы Распутина, и поражает воображение в описаниях этой ночи, так это общая атмосфера жуткой ирреальности бредового кошмара, окутывавшая "спасителей России". Все происходило, как в страшном сне... Пытаясь скрыть следы преступления, убийцы действовали на

редкость суетливо и бестолково. И ничего удивительного нет в том, что уже на другой день оно было раскрыто, а еще через день подо льдом Малой Невки у Крестовского острова найден труп Распутина. По свидетельству судебно-медицинской экспертизы, этот человек, будучи травленным, стрелянным, битым гирей по голове, под водой продолжал еще некоторое время жить...

После короткого дознания по убийству, которое не представляло никаких сложностей, убийцы были высланы из Петрограда: Юсупов в свое поместье в Курской губернии; князь Дмитрий - на Кавказский фронт. Пуришкевич, еще раньше покинувший со своим поездом столицу, вообще никаким взысканиям не подвергся. Возможно, такое мягкое наказание убийц было вызвано желанием избежать "великокняжеского бунта" - почти все родственники царя подписали письмо с ходатайством вообще не привлекать к ответственности Дмитрия (на нем Николай наложил резолюцию: "Никому не дано права убивать"); возможно, на царя произвело впечатление то, какую всеобщую радость и облегчение вызвало известие об этом убийстве. А вероятнее всего, он в очередной раз помянул Иова Многострадального...

Распутина похоронили в царскосельской часовне; в глазах царицы мученическая кончина "старца" была очередным подтверждением его святости. В оставшиеся ей несколько месяцев жития в Царском Селе она часто ходила с Вырубовой на могилу Распутина - молиться...

И все пошло по-прежнему, по той же колее, которая вела к окончательной катастрофе: развал фронта и тыла, нарастающая нехватка топлива и продовольствия, транспортный кризис, обличения министров с думской трибуны... Распутинщина была отвратительным, грязным явлением, которое, конечно же, свидетельствовало о том, что Империя тяжело больна, но нарывы, порожденные внутренним болезнетворным процессом, бесполезно удалять хирургическим путем. Еще раз скажем: убийство Распутина ничему не помогло и ничего не изменило. Все уже было решено; уже созрели и готовы были к борьбе те силы, с которыми оказались не способны справиться ни царь, ни Дума. До Февральской революции оставалось два месяца, до Октябрьской менее года.

Вот, очевидно, последнее упоминание о "Святом Черте" в той горькой летописи русской жизни, которую вели современники: "Вчера вечером гроб Распутина был тайно перевезен из царско-сельской часовни в Парголовский лес, в пятнадцать верстах от Петрограда. Там на прогалине несколько солдат под командой саперного офицера соорудили большой костер из сосновых ветвей. Отбив крышку гроба, они палками вытащили труп, так как не решались коснуться его руками вследствие его разложения и не без труда втащили его на костер. Затем все это полили керосином и зажгли. Сожжение продолжалось больше шести часов, вплоть до зари. Несмотря на ледяной ветер, на томительную длительность операции, несмотря на клубы едкого дыма, исходившего от костра, несколько сот мужиков всю ночь толпами стояли вокруг костра, боязливые, неподвижные, с оцепенением растерянности наблюдая святотатственное пламя, медленно пожиравшее мученика "старца", друга царя и царицы, "божьего человека". Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом. (Морис Палеолог. Дневник. 23/10/ марта 1917 г.)



УЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ ЗНАЛИ ВСЁ

Статья, опубликованная в газете "Modus vivendi" в 1996 году (номер я запомнил, помню только, что в названии была сделана потешная опечатка: "Учреждение, о котором знали все"...). Впрочем, текст, в основном, повторяет предисловие к книге В. Д. Новицкого "Из воспоминаний жандарма", изданной нашим университетским издательством в 1991 году. Была задумана серия "Записки жандармов" - замысел рухнул вместе с советской властью.

Борьба самодержавной власти с оппозиционно настроенным обществом пронизывает историю России XIX - нач. XX веков. Консервативно настроенная власть явно не поспевала за ходом времени; общество же в своих преобразовательных устремлениях нередко опережало его. И прежде всего это касалось крайне левого, радикального крыла, которое становилось тем яростней и непримиримей, чем медленней и неповоротливее действовало правительство. Нерешенные проблемы русской жизни порождали революционеров - поколение за поколением, эпоха за эпохой: декабристы, революционные демократы, шестидесятники, народники 1870-х и т.д., и т.п., вплоть до большевиков и их с ними.

Отказываясь от последовательных преобразований, власть неизбежно занимала боевые позиции по отношению к своим оппонентам. Революционеры действовали все организованней, движение их становилось все более массовым - власть принимала свои меры. Так, ответом на первый "революционный взрыв" - восстание декабристов - явилась деятельность III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, созданное Николаем I в 1826 году. Взаимодействуя с Корпусом жандармов, сформированным в то же время, этот орган произвел неизгладимое впечатление на современников; казалось, антиправительственная деятельность была скована им намертво.

Однако III отделению и тесно связанным с ним жандармским органам на местах так и не суждено было стать профессиональными органами политического сыска, несмотря на целый ряд многообещающих черт в их организации и деятельности. Слишком уж грандиозные задачи поставил перед ними их создатель, последний император крепостной России. Николай I, этот великий охранитель, очень широко трактовал само понятие "антигосударственной деятельности". Он видел ее не только в идейной борьбе, в либеральных и радикальных умствованиях, но и в служебных проступках, пренебрежении церковными обрядами, безнравственном поведении - в любых отступлениях от раз и навсегда определенных норм частной и общественной жизни. В результате новоявленным органам государственной безопасности приходилось принимать на себя массу обязанностей политической полиции, как правило, ей не свойственных. Они должны были не только бороться с противниками существующего строя, но и брать под свою опеку всех благонамеренных россиян, зорко следя за тем, чтобы эта

благонамеренность нигде не давала сбой: чтобы чиновники не воровали, обыватели не спивались, мужья не изменяли женам, богатые не притесняли бедных, бедные не держали зла на богатых и т.д., и т.п.

Подобные задачи всерьез можно было ставить, наверное, только в николаевской России - "тихой", как бы заснувшей стране, упокоенной на прочном крепостном фундаменте, разделенной на обособленные, живущие своей, ни с кем не схожей жизнью сословия... Но вот грянула Крымская война, наступила эпоха реформ, и - "все смешалось в доме Облонских". Общественное движение оживилось небывало, и главную роль в нем стали играть интеллигенты-разночинцы. Выходцы из самых различных сословий, родства, как правило, не помнящие, они традиций не соблюдали и всю Россию склонны были рассматривать как белый лист бумаги, на котором им предстояло начертать план будущего идеального общественного устройства. При этом народ все был отчаянный, скорый на решения и готовый к жертвам - и среди своих и, тем более, среди неприятеля...

III отделение, скованное немыслимой задачей тотального надзора, по сути, проглядело взрыв общественного движения. По мере того как правительство сворачивало реформы, это движение становилось все радикальнее, с одной стороны, все многочисленнее и организованней - с другой. С каждым годом жандармы все в большей степени теряли контроль за событиями, происходившими в России. Изуродованный труп царя-реформатора Александра II, убитого 1 марта 1881 года взрывом бомбы, после многомесячной облавы, устроенной на него подпольной революционной организацией "Народной волей", стал горьким свидетельством их полного банкротства.

Вот тогда-то власть и пошла на коренное преобразование охранительной системы, которое дало блестящие в своем роде результаты. III отделение было ликвидировано; все его наследство по сыскной части передано в специальное делопроизводство МВД. В ведение этого министерства перешла и вся разветвленная структура жандармских органов. Но, главное, на местах - в Москве, Варшаве, в Петербурге - создавались "Отделения по охране общественного порядка и безопасности", в просторечии - охранка.

Это был своеобразный эксперимент. В то время, как "обычным" жандармам и полицейским полагалось вести ежедневную, будничную борьбу с потрясателями основ, охранка брала на себя роль своего рода лаборатории политического сыска. Охранным отделениям выделялись значительные средства, на службу в них набирались наиболее способные жандармы и "штатские специалисты", и - качество редкое в бюрократическом аппарате Российской империи - здесь всячески поощрялись инициатива и предприимчивость. Были бы результаты...

А они не замедлили прийти. Особенно "заблестала" в 1880-х - 1890-х годах московская охранка. Возглавлявшие охранку полковник Бердяев и вслед за ним знаменитый Зубатов подняли на небывалую высоту сыск во всех его проявлениях. Здесь под началом Евстратия Медникова была создана знаменитая "школа филеров", воспитывавшая приметливых, смысленных шпиков, с хорошо отработанными приемами "наружного наблюдения" - от примитивной слежки до целых сыскных феерий с погонями, переодеваниями, переменой внешности, засидками на чердаках, в погребах и т. п. Здесь основательно взялись за данные, поставляемые перлюстрацией, за постоянную, кропотливую, целенаправленную их разработку. Наконец, именно здесь впервые была сплетена и накинута на подполье плотная сеть "секретной агентуры": к началу XX века в Москве не было, пожалуй, ни одной нелегальной организации, чья деятельность не освещалась бы подробнейшим образом одним или чаще несколькими проволоторами.

На высочайшем канцелярском уровне в московской охране находились и все дела бумажные. Учет информации, получаемой из разных источников, поставлен был образцово. "Регистрация, - писал В. В. Жилинский, один из исследователей деятельности московской охраны, - была идеальной. Всякий, кто хотя бы только подозревался в чем-либо, попадал на особую регистрационную карточку, на которой проставлялся № дела, и всякую справку на любое лицо можно было получить в несколько минут. Таких регистрационных карточек имеется до миллиона. На этих карточках можно найти имена всех общественных деятелей, высокопоставленных особ, карточку почти всякого интеллигентного человека, кото-

рый хоть раз в жизни задумывался над политикой. С начала XX века особые “разноцветные” досье составлялись на различные революционные и оппозиционные направления: на красных карточках группировались данные на эсеров, на синих - на эсдеков, на зеленых - на анархистов и т. д. Целые шкафы заполнялись фотокарточками арестованных, подозреваемых, эмигрантов; целые тома - тематическими подборками газетного и журнального материала. Конечным же результатом всей этой работы, венцом обобщения информации являлись схемы различных нелегальных организаций, подробные, как топографические карты-двухверстки, - на них были нанесены центральные органы и вспомогательные, указаны все их члены, прослежены всевозможные связи. Неудивительно, что, по признанию многих деятелей подполья, “делать революцию” в Москве в конце XIX - начале XX веков стало чрезвычайно трудно, почти невозможно.

Работа московской охранки была замечена и отмечена высоким начальством. С конца XIX века “москвичей” начинают использовать чуть ли не в масштабах всей России - европейской, по крайней мере. Из “евстратинских филеров” формируется особый “летучий отряд”, которому поручаются наиболее важные дела по части выслеживания, высматривания и вынохования. Да и начальник охранки Зубатов с ближайшими сотрудниками постоянно находится в движении от одной “горячей точки” к другой: то в Поволжье “разбирается” с социалистами-революционерами, то в Минске борется с Бундом...

В 1902 году министр внутренних дел В. К. Плеве по рекомендации Зубатова провел последнее серьезное преобразование системы государственной безопасности. Охранные отделения по образцу и подобию московского были созданы во всех губернских городах. Им поручалась вся работа по организации и ведению политического сыска; на долю же “явных” жандармов в губернских управлениях теперь оставались лишь такие дела, как формальное ведение дознаний по политическим преступлениям (материал по которым готовила все та же охранка), аресты, содержание под стражей, конвой и т.п. Новые органы в своей деятельности подчинялись начальнику Особого отдела Департамента полиции, которым был назначен сам Зубатов; вместе с ним на повышение пошел и Медников; зубатовские же “птенцы” из московской охранки - жандармские офицеры Спиридович, Сазонов, Петерсен и др. - разлетелись по всей стране, возглавив охранные отделения в губерниях; так же, вразъезд, на руководящие должности по “наружному наблюдению” отправились с столичными филеры. Охранная сеть, сплетенная в Москве, опутала теперь всю Россию.

Сыск, реформированный Плеве и Зубатовым, представлял собой серьезнейшего противника для революционного движения. “Столичные” охранные методы вполне оправдали себя и в масштабах всей страны. Всероссийская охранка имела подробнейшую, если не исчерпывающую, информацию о всех революционных партиях и организациях, недаром среди их членов трудно отыскать такого, кто хоть раз не побывал бы под арестом, в тюрьме, ссылке.

Но сбором информации и арестами дело отнюдь не ограничивалось. Ведь охранка оказалась в значительно более сложном положении, чем все ее многочисленные предшественники. В конце XIX века Российская империя вступила в полосу затяжного общеполитического кризиса. В стране были миллионы недовольных существующим положением вещей. Революционное движение, которое при Николае I захватило десятки людей, при Александре II - сотни, теперь приобретало массовый характер.

Охранка не могла да и не должна была решать те проблемы, которые порождали это недовольство; ей приходилось пожирать плоды - сражаться с недовольными. Ощущение того, что это дело совершенно безнадежное, что искоренить революционное движение своими силами она ни в коем случае не может, становилось в охранной среде все более сильным; и постепенно, исподволь приходило решение - попытаться взять это движение под контроль, овладеть им, разложить его изнутри. Недаром с конца XIX века главным орудием борьбы охранки с революционерами становится провокация, которая быстро приобретает совершенно поразительный размах.

Провокация целиком и полностью основывалась на деятельности “секретной агентуры”, т. е. штатных сотрудников охранки, поставлявших разнообразные сведения по интересующим ее вопросам.

Официальные инструкции в довольно категоричной форме запрещали секретным сотрудникам принимать сколько-нибудь активное участие в революционной деятельности; имелось в виду, что они должны избегать нарушения законов, исполняя роль пассивных “наблюдателей”. Но что мог знать о деятельности той или иной подпольной организации человек, оказывающий ей лишь какое-то косвенное, малосущественное содействие? Напротив, тем теснее агент охраны был связан с подпольем, чем большую ценность представлял он для жандармов-охранников. Приходилось выбирать: или “сочувствие” революционерам - и жалкие крохи информации, или участие в их деятельности - и реальная возможность проникнуть в самые сокровенные тайны подполья. Нет необходимости говорить о том, какой выбор сделала охранка.

Иногда - и не так уж редко - охранка шла на прямое участие в провокациях: через своих сотрудников целенаправленно устраивала подпольные типографии, которые затем сама же и “разыскивала”; переправляла оружие из-за границы для боевых групп, пребывавших у нее под колпаком, и т. п. Но обычно этого и не требовалось: достаточно было лишь закрыть глаза на деятельность агента, который сам, вместе со своими сотоварищами-подпольщиками, организовывал революционную работу, в то же время подробно информируя своих работодателей-жандармов обо всех своих действиях. И охранка обычно отнюдь не торопилась эти действия пресекать; свои карательные функции она осуществляла в высшей степени осмотрительно. Полученная информация почти никогда не использовалась в полном объеме: подпольные организации не уничтожались целиком - свеча оставалась стоять на окошке, и новые мотыльки, взамен сгоревших, летели на нее со всех сторон. А самое главное, аресты производились с таким расчетом, чтобы не скомпрометировать того, кто поставил информацию; курочку, несшую золотые яйца, оберегали всеми возможными средствами.

В начале XX века охранка знала о подполье если не все, то очень многое; она держала под надзором большинство революционных организаций, имея ясное представление об их планах и о конкретных действиях; более того, охранка нередко с успехом влияла и на то, и на другое. Но за этот грандиозный сыскной успех приходилось платить страшной ценой: агент охраны Азеф был в то же время главой Боевой Организации партии социалистов-революционеров и подготавливал убийство царских министров; агент охраны Малиновский, по сути, возглавлял думскую фракцию большевиков в IV Думе и с незаурядным красноречием пропагандировал с думской трибуны разрушительные идеи. И то была лишь верхушка айсберга: когда после революции на основе архивов охраны газеты начали публиковать списки провокаторов, они заняли целые полосы - сотни, сотни имен... И все эти люди предавали не только своих товарищей по подполью - они, по сути, предавали в то же время и тот строй, которому их наняли служить. Провокационная деятельность неразрывно сплеталась с революционной; развращая революционное движение, охранка с железной неизбежностью развращалась сама. Чем изощреннее становились ее провокационные приемы, тем страшнее была та сила, с которой запущенный жандармами бумеранг бил по охраняемому ею устоям. И хотя, конечно же, отнюдь не деятельность охраны породила кризис самодержавия, она усугубила его донельзя. Система государственной безопасности сработала в конце концов как разрушительная сила.



КРИЗИС ВЛАСТИ ГЛАЗАМИ ДЕЯТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА*

Российская империя неудержимо движется к краю пропасти - в начале XX века подобное ощущение становится все более распространенным в кругах тех, кто так или иначе управлял страной. Это ощущение проскальзывает между строк официальных документов, фиксируется в переписке и, конечно же, особенно ярко выражается задним числом - в записках и мемуарах. Объяснения катастрофическому процессу даются, естественно, самые разнообразные - и зачастую именно эти объяснения, исходящие от людей, несущих ответственность за то, что происходило в России, как нельзя лучше убеждают в неизбежности трагического исхода...

В центре нашего внимания произведения, ставшие "классикой" литературы о политическом сыске: записки А. И. Спиридовича, воспоминания В. Д. Новицкого и А. В. Герасимова. Все они составляют, на наш взгляд, нечто единое, своеобразную трилогию: и по своему тематическому единству, и потому, что в них просматривается движение "жандармской мысли", осознание происходящего - с одного уровня на другой. У авторов, как у всех жандармов, много общего - потомственное дворянство, военная служба до поступления в корпус и, главное, - безоговорочно верноподданные взгляды. "...Быв убежденным монархистом, воспитанным в духе полнейшего единодержавия, я представляю из себя человека, всецело преданного русской национальной идее, с которой шло мое служение родине и жизнь: эта жизнь и служение сливались в одно громадное целое, беззаветно преданное монархам и отечеству".³² Под этим высокопарным, но, несомненно, искренним пассажем из воспоминаний Новицкого каждый из его коллег подписался бы не задумываясь. И, тем не менее, несмотря на это, казалось бы, определяющее сходство, наши авторы очень разнятся - вплоть до того, что представляют собой три различных и очень характерных типа, причем не просто жандармов-"сыскарей", но - государственных людей Российской империи.

Начнем с В. Д. Новицкого, на протяжении многих лет возглавлявшего Киевское ГЖУ, - и не только потому, что он старше своих коллег и описывает, в основном, события, происходившие в последней трети XIX века. Генерал представляется нам фигурой чрезвычайно цельной, мыслившей и действовавшей с максимальной простотой и прямолинейностью. Ему бы родиться пораньше... Мировосприятие

Новицкого корнями своими уходит в "спокойную", стабильную дореформенную жизнь, в царствование Николая Павловича, когда теория "официальной народности" была последним словом государственной мудрости, а III отделение собственной канцелярии - свежеспеченным учреждением.

С точки зрения Новицкого, Российская империя - в принципе спокойная, благоустроенная, счастливая страна, без каких-либо серьезных проблем; во всяком случае, в своих воспоминаниях он не касается общих вопросов государственного устройства и социально-экономического бытия России. Но это благополучие, по мнению генерала, как серной кислотой разъедается деятельностью "преступных элементов", которые проявляют себя в двух ипостасях.

Прежде всего это, конечно, революционеры - по мнению Новицкого, люди, вся деятельность которых определяется их исключительной испорченностью: "... дела о них свидетельствовали о полнейшем неуважении личных прав человека и полнейшем забвении чувства собственного достоинства, выражавшихся в убийствах товарищей, лишь заподозренных, в обмане отцов, соблазне девиц, ограблении, воровстве и обмане целых обществ неразвитых людей, под видом политических целей, тогда как они были предпринимаемы из личных видов и выгод, для улучшения собственного материального положения и средств".³³ При этом подобные деятели полностью оторваны от народа, а "интеллигентный класс", если и поддерживает их, то по незнанию своему, не понимая, что "борьба с социалистами была поднята правительством за общество..."³⁴

С подобным злом, которое, в принципе, легко искоренимо, необходимо, считает Новицкий, бороться беспощадно, традиционными методами, не вступая с ним ни в какие иные отношения. Кроме чисто репрессивных. Именно так, единственно правильным образом, действовали, по мнению генерала, жандармские управления. И, несомненно, одержали бы победу, если бы зло не проникло в ряды самих борцов "с революционным хаосом и анархией"...

Ключевой в воспоминаниях Новицкого является глава "С. В. Зубатов". Этого реформатора политического сыска генерал трактует как чуть ли не главного потрясателя основ Российской империи. "...Зубатов жестоко обманывал и обманул высшие власти, не понимавшие еще и того, что в лице Зубатова был злейший противоправительственный деятель социал-революционер и безусловный террорист..."³⁵ Вся деятельность его была направлена на то, чтобы разложить изнутри главную опору власти - политическую полицию, оттереть в сторону "честных и преданных", традиционно мыслящих жандармских офицеров - прежде всего на местах, в ГЖУ - и, наводнив революционное движение своими людьми - провокаторами, манипулировать им в каких-то не вполне ясных, по Новицкому, но, несомненно, преступных целях.

Подобный "анализ" кризисной ситуации поначалу производит впечатление горячего бреда. Однако психологически подобная фантастика вполне объяснима: Новицкий страдался в неравной борьбе с новаторами политического сыска. Революционное движение конца XIX - нач. XX века, приобретшее массовый характер и совершенно новые формы, явно вышло за пределы понимания старозаветного генерала. Он совершенно очевидно не справлялся с ним в своей епархии.³⁶ Новых же методов, предложенных Зубатовым, который стремился не столько подавить революционное движение, сколько овладеть им с помощью провокаторов, развратить изнутри, поставить под контроль охраны - всего этого Новицкий вместить не мог... В этом отвращении к "зубатовщине" была, наверное, своего рода моральная правота. Но зубатовцы в начале XX века шли от успеха к успеху, а Новицкому Киевский комитет РСДРП послал к 25-летию юбилею службы во главе ГЖУ издевательское поздравление "с глубокой благодарностью за полезную деятельность", позволившую социал-демократам "стать на ноги, окрепнуть и развернуть деятельность во всей ее нынешней широте".³⁷ В то же время главный оппонент генерала, начальник киевской охраны зубатовец А. И. Спиридович, пользуясь своими методами, арестовывал главу Боевой организации эсеров Гершуни. Новицкий, судя и по его воспоминаниям, и по запискам самого Спиридовича, ужасно переживал подобную "несправедливость", ревновал, устраивал формально подчиненному ему начальнику охраны сцены и в конце концов вынужден был подать в отставку. В своих мемуарах генерал, естественно, рисует себя жертвой зубатовских интриг, направленных против него - самого честного и бескомпромиссного защитника устоев Российской империи.

Нельзя сказать, что, обратившись к запискам самого А. И. Спиридовича, одного из самых последовательных и удачливых зубатовцев, мы можем найти более глубокие размышления о причинах надвигающегося хаоса. Несомненно, что Спиридович, так же, как и его наставник, куда более трезво, чем Новицкий, оценивал революционное движение, несравнимо больше о нем знал, лучше его понимал. Другими словами, он был в куда большей степени, чем незадачливый начальник ГЖУ, профессионалом, способным успешно решать конкретные задачи политического сыска. Но нам представляется, что этот профессионализм нередко застилал Спиридовичу глаза - так же как самому Зубатову и многим его сотрудникам, - заставляя верить, что с помощью провокаций и иных манипуляций подобного типа можно решить чуть ли не все глобальные проблемы бытия Российской империи.

Особенно ярко подобный подход сказывается в отношении Спиридовича к зубатовщине (полицейскому социализму), а затем и к гапоновщине. Все эти в сущности бесперспективные манипуляции рабочей массой оцениваются им безусловно положительно, как искреннее стремление Зубатова "поставить под контроль широкое профессиональное движение в России"³⁸ (под своим, естественно, контролем). И все было бы совсем хорошо, и рабочие обрели бы вернопопуданические взгляды, и революции в России не было бы, кабы... Причины конечной и очевидной неудачи в этом "благородном деле" Спиридович указывает различные, но исключительно субъективного характера: недосмотрели, недоработали, не на того человека поставили (Шаевич в Одессе), а главное - начальство никудышное. Вот по отношению к начальству и по своей линии - департамент полиции, - и к высшему - Витте, Плеве, Святополк-Мирский - у Спиридовича претензии самые серьезные. Не смогло это начальство или не захотело оценить светлых идей Зубатова, "все сразу обрушилось на него"³⁹ при первых неудачах - и погубили прекрасное начинание. Подобные же претензии Спиридович постоянно предъявляет к начальству и в отношении своей непосредственной сысчной деятельности: не дают нормально работать, "правая рука не знает, чего хочет левая", и вообще "походило на сумасшедший дом"⁴⁰. Во многих конкретных случаях подобные оценки Спиридовича, наверное, вполне справедливы, но ведь и начальство-то с ума сходит не случайно... В целом при всем внешнем противостоянии двух авторов их воспоминания схожи в главном: в неумении или нежелании трезво оценить ситуацию. В конечном итоге точка зрения: Зубатов развалил Российскую империю - не так уж далеко от точки зрения: Российская империя пала оттого, что Зубатову и его сотрудникам не дали как следует развернуться...

А. В. Герасимов, один из самых дельных работников сыска, сумевший, в частности, даже Азефа на какое-то время поставить под свой полный контроль, т. е. сделать действительно полезным сотрудником, в своих оценках кризисной ситуации выказывает, по нашему представлению, куда более глубокое понимание сути дела. Прежде всего он здраво оценивает ограниченность революционных потрясений в России, их обусловленность нерешенными проблемами русской жизни. И оценка Герасимовым представителей высшей власти тесно связана с тем, понимают они эту взаимосвязь или нет. Так, Плеве, импонирующего ему решительностью и профессионализмом - "Он был крупный человек и знал, куда шел и чего хотел" - Герасимов оценивает все же отрицательно, исходя из полной бесперспективности избранного им пути. "Плеве был одушевлен тогда одной идеей: никакой революции в стране нет, все это выдумки интеллигентов. Широкие массы рабочих и крестьян глубоко монархичны. Надо выявить агитаторов и без колебаний расправиться с революционерами"⁴¹. (Это ведь точка зрения Новицкого, да и Спиридович недалеко от нее ушел.)

Но куда страшнее этой "упертости" Плеве, по мнению Герасимова, та слабость и неуверенность, которой характеризовалась внутренняя политика при его преемниках. "С ужасным концом Плеве начался процесс быстрого распада центральной власти в империи, который чем дальше, тем больше усиливался. Все свидетельствовало об охватившей центральную власть растерянности"⁴². Именно эта "растерянность", не будучи главной причиной революции, чрезвычайно способствовала ее развитию. По твердому убеждению Герасимова, власть не должна уступать революции, делая все возможное, чтобы противостоять ее давлению. Здесь он сторонник решительных жестких мер - и не только в теории: именно Герасимов, в качестве начальника Петроградской охранки, с блеском провел ликвидацию Совета рабочих депутатов, проведя в два дня несколько сотен обысков и арестов. Герасимов

убежден: уступки революционному движению неизбежно приводят к его дальнейшему развитию, вплоть до полного хаоса... Порядок нужно наводить любой ценой.

Но затем, для того, чтобы его сделать прочным, - "желательны реформы". Исходя из этого соображения, Герасимов с видимой симпатией описывает деятельность Витте в 1905 году, что в охранных кругах случай уникальный. Но главный герой Герасимова - это, безусловно, Столыпин. "Уже во время первого свидания Столыпин произвел на меня самое чарующее впечатление как ясностью своих взглядов, так и смелостью и решительностью своих выводов". Работа под руководством этого главы правительства "принадлежит, - писал Герасимов, - к самым светлым, самым лучшим моментам моей жизни".⁴³ Все это более чем естественно: и темперамент, и, главное, убеждения начальника и подчиненного полностью совпадали. Под знаменитыми словами Столыпина: "революция болезнь не наружная, а внутренняя, и вылечить ее только наружными средствами невозможно" - Герасимов, вне всяких сомнений, готов был подписаться обеими руками. Желательны реформы...

С этих позиций понятно резко отрицательное отношение к "безответственному" черносотенству; понятно восприятие им Распутина и распутинщины, как "нового врага, не менее страшного, чем революционеры". Эти силы в конечном итоге взяли верх над кумиром Герасимова. После смерти Столыпина была предопределена и его отставка. Более того, была предопределена революция... Вот эту горькую предопределенность Герасимов, несомненно, ощущал очень хорошо и хорошо сумел передать в своих воспоминаниях. Ключевым в этом отношении в них является, пожалуй, следующий эпизод: в 1909 г. Столыпин "с удивлением и большой горечью" рассказал Герасимову, как при высочайшей аудиенции в ответ на его слова о том, что революция окончательно подавлена и царю лично не грозит уже никакая опасность, Николай "с раздражением" заявил: "Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые..."⁴⁴

Мне представляется, что воспоминания Герасимова вплотную подводят нас к пониманию того, в какой сложной, практически безысходной ситуации оказались деятели политического сыска - среди которых было немало умных, дельных людей - в начале XX века. Им приходилось вести борьбу, в которой они были заведомо обречены на поражение. Как бы успешно охранники ни проводили ту или иную операцию, ликвидируя тех или иных противников режима, с революцией им справиться было не дано. Она порождалась объективными причинами, которые, по сути своей, были вне ведения, вне компетенции политической полиции. Охранка-то в это время работала очень хорошо: владела почти исчерпывающей информацией о своих противниках, умело манипулировала ими, в большинстве случаев успешно решала поставленные перед собой конкретные задачи. Но для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно было выкорчевать корни революции - решить проблемы русской жизни... Эту задачу должна была выполнить государственная власть - вся, в совокупности всех своих структур и отдельных функционеров, - которая оказалось к этому совершенно неспособна.



ПРИМЕЧАНИЯ К I ЧАСТИ

ЧАСТЬ I. ВЛАСТЬ

ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ

* "Знание - сила", 1992, № 5-7.

** Имеется в виду старший сын императора Александра II, умерший еще при жизни отца, в 1860 году. Александр I он, соответственно, приходился внучатым племянником.

¹ А. В. Карташов. Воссоздание святой Руси. М., 1991, с. 71-72.

² А. В. Карташов. Очерки по истории русской церкви, т. 2. М., 1992, с. 367.

³ Известно, что нечто подобное замысливал несчастный внук Петра Великого - Петр III. Надо думать, что та удивительная легкость, с которой его супруга, Екатерина, постоянно демонстрировавшая свое уважение к церкви и духовенству, совершила переворот, не в последнюю очередь объяснялась этими диковинными планами.

⁴ Устав духовной консистории. СПб., 1841, с. 1, 6.

⁵ Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо? (Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т.5. Л., 1982, с. 19.

⁶ Там же, с. 26.

⁷ П. В. Знаменский. История русской церкви. М., 1996, с. 348.

⁸ С. Я. Елпатьевский. Крутые годы. М.-Л., 1929, с. 73.

⁹ А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. 1872-1887. М., 1960, с. 66.

¹⁰ Н. А. Некрасов. Указ. соч., с. 25.

¹¹ А. Н. Энгельгардт. Указ. соч., с. 66.

¹² Там же, с. 66.

¹³ С. Я. Елпатьевский. Указ. соч., с. 74.

¹⁴ А. Н. Энгельгардт. Указ. соч., с. 66.

¹⁵ С. Я. Елпатьевский. Указ. соч., с. 78.

¹⁶ А. Н. Энгельгардт. Указ. соч., с. 277.

¹⁷ С. Я. Елпатьевский. Указ. соч., с. 124-125.

¹⁸ Н. С. Лесков. Собрание сочинений, т.4. М., 1957, с. 32, 34.

¹⁹ Там же, с. 43.

²⁰ Там же, с. 32.

²¹ С. М. Соловьев. Избранные труды. Записки. М., 1983, с. 237.

²² Цит. по Петр Иванов. Тайна святых. М., 1993, с. 521.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ "Православное обозрение" 1863, т.10, с. 368.

²⁶ А.П.Чехов Полное собрание сочинений, т. 5. М., с. 61.

²⁷ Там же, с. 65.

²⁸ Там же, с. 68-70.

²⁹ Там же, с. 619-621.

³⁰ Там же, с. 63.

³¹ А.В.Карташев Очерки по истории русской церкви, т. 2. М., 1992, с. 320.

КРИЗИС ВЛАСТИ ГЛАЗАМИ ДЕЯТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА

* До этого Распутин побывал в Петербурге в 1904 году - принял благословение от чрезвычайно популярного во всех слоях общества "целителя душ и тел человеческих" проповедника отца Иоанна-Кронштадтского, причем произвел на него самое сильное благоприятное впечатление, и вернулся к себе.

** По разным сведениям, в 1871 или 1872 году.

*** По некоторым данным, "черногорки", как их обычно называли, первые "открыли" Распутина для высшего света; встретив "святого старца" на богомолье в Киеве, они решили представить его царю и царице. Другие источники свидетельствуют, что в Петербург Распутина "выписал" духовник царицы архимандрит Феофан, и уже с его легкой руки "старец" попал в гостиные великих князей, а оттуда - ко двору.

* Гемофилия передается по наследству только мужчинам и только от матерей, которые сами никогда ею не болеют. Одной из главных причин гемофилии являются, очевидно, частые браки между близкими родственниками, что было так характерно для династических браков европейских правящих домов. В данном случае

болезнь шла еще от бабки Александры английской королевы Виктории. Большинство больных гемофилией по вполне понятным причинам умирают в детском возрасте, что, однако, отнюдь не является общим правилом: среди европейских родственников Александры несколько больных дожили до 30-летнего возраста, а ее племянник, сын Генриха Прусского, - до 56 лет.

* Как известно, Андрей Белый в 1908 - 1909 годах, когда вся мрачная слава Распутина была еще впереди, написал роман о хлыстах - "Серебряный голубь", в котором гениально провидел, какая мрачная сила может заполнить духовный вакуум разлагавшейся Империи. Впоследствии он имел все основания писать, с излишней, может быть, самокритичностью отмечая, что роман этот "неудачный во многом, удачен в одном: из него торчит палец, указывающий пока еще на пустое место; но это место скоро займет Распутин".

* Первым, опережая время, еще до войны с этой "идеей" выступил ялтинский градоначальник Думбадзе, известный своей оголтелой свирепостью на всю Россию. Он испрашивал благословения начальства на то, чтобы избавиться от Распутина во время пребывания его вместе с царской семьей в Ливадии. Начальство благословения не дало... В 1915 году министр внутренних дел А.Н.Хвостов, человек энергичный, жестокий, пытавшийся вести сложную игру с думской оппозицией и воспринимавший Распутина как помеху, также безрезультатно готовил убийство "старца". Единственное состоявшееся до 1916 года покушение на Распутина - крестьянка Хиония Гусева нанесла ему удар ножом в живот - было вызвано не политическими, а сексуальными мотивами...

* Это общество, кстати, после Октябрьской революции стало первой контрреволюционной организацией в Петрограде, и Пуришкевич, соответственно, - руководителем первого контрреволюционного заговора; он действительно был человеком дела. В конце 1917 года заговор был раскрыт, но поскольку все это происходило до начала "красного террора", Пуришкевич отделался несколькими месяцами заключения; затем принимал самое активное участие в белом движении и в 1920 году умер от тифа в Новороссийске.

* Полный титул его был: князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон.

* Текст доклада, сделанного в 1998 году на чрезвычайно любопытной конференции "Исторические чтения на Лубянке"

³² В.Д. Новицкий. Из воспоминаний жандарма. М., 1991, с. 44.

³³ Указ. соч., с. 86.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же, с. 172.

³⁶ См. по этому поводу воспоминания В.В. Водовозова, принимавшего активное участие в деятельности киевских социал-демократов, который полностью отказывает Новицкому в каких бы то ни было "сыщицких талантах". Указ. соч., с. 21-30.

³⁷ Указ. соч., с. 29.

³⁸ А.И. Спиридович. Записки жандарма. М., 1991, с.103.

³⁹ Указ. соч., с. 105.

⁴⁰ Указ. соч., с. 183.

⁴¹ А.В. Герасимов. На лезвии с террористами. М., 1991, с. 20.

⁴² Там же, с. 16.

⁴³ Указ. соч., с. 75.

⁴⁴ Там же, с. 146.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



О ПРАВЕ НА НЫТЬЕ

(очень краткий очерк русской интеллигенции с сопутствующими замечаниями и размышлениями)

Это эпохальное произведение было создано для стенной печати... В конце 1980-х годов несколько студентов, специализирующихся на нашей кафедре (История России XIX - начала XX веков), постоянно развязывали дискуссии на историко-животрепещущие темы. Основным средством разжигания дискуссий были тематические стенгазеты (у одного из главных "разжигателей" - О. Р. Айрапетова - они должны храниться до сих пор). Интересно было... Я вспоминаю это время с большим удовольствием и некоторой ностальгической тоской. Насколько я знаю, другие участники наших споров - давно уже остепененные и, отчасти, остепенившиеся - тоже.

Начинать приходится с совершенно необходимой оговорки: из всех, поистине неисчислимых точек зрения, с которых можно рассматривать русскую интеллигенцию, автор выбрал, естественно, лишь одну: его волнует вопрос о той роли, которую сыграла эта интеллигенция в истории нашей страны. При этом он ясно видит, что здесь не обойтись без некоторого, хотя бы самого краткого, теоретического отступления: ведь прежде чем ответить на этот вполне конкретный вопрос, необходимо достаточно четко определить, на что вообще интеллигенция способна, что может дать она "городу и миру"?

В век Просвещения было принято сравнивать "здоровое общество" с разумно устроенным организмом, обладающим внутренней слаженностью и справедливым распределением функций: "Телу потребна глава, здравие всех членов и душа; обществу потребна верховная власть, все должности и науки; земледелец питает, солдат защищает, ученый просвещает". Так вот, обращаясь к этой, весьма наивной, но отнюдь не глупой аллегории, я рискну, пожалуй, провести параллель между интеллигенцией и теми нервными волокнами, которые, реагируя на физические и прочие повреждения организма, создают ощущение боли... Именно эти ощущения и побуждают исправлять испорченное, лечить заболевшее; но выполнять подобную задачу должны уже совсем другие органы...

Быть может, неуклонно-поступательный ход истории Западной Европы в значительной степени объясняется тем, что уже в средние века там появляются люди, болезненно остро реагирующие на несовершенство мира? И, коли так, главным залогом успеха реформ Петра, стремившегося раскатать неподвижную Русь, двинуть ее вперед по европейскому пути, было то, что преобразователь сумел создать условия для появления здесь подобных людей - пусть не сразу, пусть много десятилетий спустя после открытия первых школ, в которых дворянских недорослей из-под палки учили "географии, ифике, политике" и пр., пр., вплоть до "танцевального искусства и поступи немецких и французских учтивств".

Члены кружков Станкевича и Герцена, Чаадаев, славянофилы и западники, Чернышевский и Писарев, Толстой и Достоевский - в продолжении этого перечня российских интеллигентов, очевидно, нет необходимости, поскольку должно быть ясно, что, на мой взгляд, определяет глубинное родство этих людей. Все они обладают до предела развитой способностью ощущать боль своей страны; все они чутко улавливают "проклятые вопросы", поставленные историей перед народом, неотъемлемой частью которого они себя ощущают; все они страстно ищут вождельный ответ... Они просто созданы

для этого вечного поиска, для вечных духовных терзаний; недаром их отличают ни на миг не затухающее движение мысли, так схожее постоянством своим с движением истории, никогда не иссякающая неудовлетворенность действительностью и поразительный максимализм в понимании конечных целей - им подавай "новую землю и новое небо", на меньшее они не согласны!

Но все это хорошо, пока дело ограничено сферой духа; на практике подобный "идеализм" немедленно становится серьезной помехой. Чтобы понять разницу между теми, кто ставит вопросы, и теми, кто, обратившись от возвышенных мечтаний к грубой действительности, готов дать ответ, сравните Грановского и Н. Милютина, Достоевского и Победоносцева, Лаврова и Ал. Михайлова. Поиски "новой земли" неизбежно приводят к либеральным реформам, реакционным указам, хорошо организованному подполью с четкой программой действий - и на этом тернистом пути преобразования действительности мечта меркнет, становится все более односторонней, теряет свое обаяние... Нужны новые духовные усилия, чтобы возродить ее, - и снова на сцене интеллигенция со своими вечными, неразрешимыми, "проклятыми вопросами". И в ее раздражающей непрактичности, в бессмысленных, на первый взгляд, терзаниях, в рефлексии, нередко представляющейся ничемным нытьем, скрыто прозрение будущего...

Впрочем, вся путаница сплетенных здесь словес, все неуклюжие аллегории - все это без остатка растворяется в великолепном афоризме Горького: "Интеллигенция - это цветение ржи".



ЛИБЕРАЛИЗМ КАК СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ*

(образ Т. Н. Грановского в пореформенной публицистике)

Все возрастающий интерес к истории русского либерализма несомненен. Однако некоторые аспекты проблематики либерального движения до сих пор находятся вне сферы внимания исследователей. Большинство поздних трудов и публикаций на эту тему носят, так сказать, “партийно-политический” характер, будучи связанными прежде всего с историей - или предысторией - образования и деятельности либеральных партий и движений. При этом исследователей, естественно, интересует вполне определенная эпоха: конец XIX - начало XX веков, время, когда политическая борьба в России достигла своего апогея.

Между тем существует целый ряд интереснейших проблем, связанных с “допартийной” историей либерализма, со временем, когда он выходил из самого нежного возраста, переживая период становления, оформления в нечто действительно серьезное, исторически значимое. Для любого общественного движения этот период, очевидно, не менее важен, чем для отдельной личности, обретающей в юности свою неповторимую индивидуальность. Развивая это сравнение, мы можем сказать, что либерализм отнюдь не исчерпывался партийными программами и политической деятельностью, являя собой достаточно сложную совокупность нравственных, психологических, морально-этических и даже эстетических установок. Именно поэтому последовательно принятый либерализм, как правило, охватывал отнюдь не только сферу политических убеждений, он мог стать вообще определяющим свойством личности.

Это в известной степени можно сказать о любом сколь-нибудь значимом общественном движении в любой стране (и о любом общественном движении в России - в особенности). При этом история движений, определявшихся деятельностью интеллигенции, имеет серьезные преимущества перед многими другими: она всегда обеспечена массой разнообразных источников, позволяющих проследить, как шел этот процесс духовного становления; здесь относительно легко выявить людей и события, оказавших на него определяющее влияние. Этой задаче, собственно, и посвящена наша статья.

... 4 октября 1855 года умер Тимофей Николаевич Грановский - человек, который в глазах многих современников был воплощением лучших черт “либерала-идеалиста”, символом “замечательного десятилетия”, 1840-х годов. В обществе, особенно в московском, в университетской среде он был настоящим кумиром, на него только что не молились¹... Смерть Грановского, совсем еще не старого человека (ему минуло всего 42 года), произвела на его поклонников самое сильное впечатление - было сделано все, чтобы воздать профессору должное... 6 октября состоялись похороны, подобных

которым Москва никогда не видела прежде², а затем потоком пошли некрологи. Писали их все люди славные в обществе - М. Н. Катков, П. М. Леонтьев, Н. Ф. Павлов³... Некрологическую литературу пронизывала одна, пожалуй, главная для нее мысль: Грановский был важен для русского общества не столько своими научными трудами, публицистическими выступлениями или даже своими замечательными лекциями; предельно важен был сам факт существования профессора, его духовный облик, его принципы, его манера поведения... Лучшие всех эту мысль, как всегда, выразил И. С. Тургенев, писавший: "...Люди, подобные Грановскому, теперь нам крайне нужны. Время еще впереди, когда настанет для нас потребность в специалистах и ученых; мы нуждаемся теперь в бескорыстных и неуклонных служителях науки, которые бы твердо рукою держали и высоко поднимали ее светоч; которые, говоря бы нам о добре и нравственности - о человеческом достоинстве и чести, собственно жизнью подтвердили истину своих слов... Таков был Грановский... Заменить его теперь не может ни один человек..."⁴.

Некрологи создавали образ возвышенный. Грановский предстал в них человеком гармоничным во всех своих проявлениях, воплощавшим черты некой "новой личности" - высоко духовной, предельно принципиальной, с чрезвычайно развитым чувством собственного достоинства и в то же время мягкой, терпимой, открытой для сочувствия и понимания. В глазах друзей-западников это был не просто образ - это был образец, достойный всяческого подражания, своего рода идеал для несовершенного русского общества. Этот высокий пафос западнических некрологов сразу же уловили и уяснили себе враги (или, по Герцену, "друзья-враги") - славянофилы. А. С. Хомяков писал по этому поводу, что западники, вознося до небес Грановского "как русского общественного деятеля", стремятся "дать своей партии... общественное значение, так сказать, исключительное"⁵. Подобное наблюдение порождало мысль об отпоре: если "партия западников" возвеличивала себя за счет Грановского, то со стороны "партии славянофилов" было вполне естественно попытаться нанести удар противнику, ниспровергнув его кумира. Именно эту цель преследовала статья В. В. Григорьева "Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве", опубликованная в 1856 году в славянофильской "Русской беседе".

У этой статьи была своя предыстория. Григорьев, наверное, самый близкий друг Грановского в студенческие годы, разошелся с ним сразу же после окончания Петербургского университета. Попав под обаяние теории "официальной народности", Григорьев оказался на службе в министерстве внутренних дел, под началом знаменитого "обер-шпиона" И. П. Липранди, причем, судя по немногим имеющимся у нас сведениям, работал здесь не за страх, а за совесть: поручения ему приходилось выполнять более чем деликатные⁶... Когда в 1848 году Грановский узнал о полицейском характере службы Григорьева, он порвал с "другом Васей" все отношения - "не пустил во двор". Григорьев, человек весьма самолюбивый и вообще тяжелый по характеру, естественно, затаил обиду, тем более, что был уверен в своей правоте: он всего лишь добросовестно выполнял тяжелые и малопрятные, но необходимые для блага государства служебные обязанности... Эта обида к тому же усугублялась завистью: судя по переписке, Григорьев, начинавший как серьезный ученый ориенталист, тяжело переживал успехи Грановского в университете, его огромную популярность в обществе, считая все это совершенно незаслуженным. Хвалебные же некрологи окончательно вывели его из себя. Не отвечая на просьбу Кудрявцева сообщить ему сведения о юных годах историка, Григорьев писал одному из друзей: "О Грановском переписываться с его биографами нет у меня ни времени, ни желания, тем более что они торопятся его обессмертить... Для меня, ты знаешь, Грановский не был ни мыслителем, ни гражданином, перед которым стоило бы кланяться; профессор-артист - вот, по-моему, вернейшее определение его характера и заслуг; успел же он потому, во-первых, что артист на кафедре у нас дело небывалое; во-вторых, потому, что был человек своего времени: с кем следовало кутить и в картишки бился"⁷.

В этих строках Григорьев как нельзя лучше выразил весь пафос своей будущей статьи, на страницах которой он несколько позже виртуозно нарисовал портрет своего ненавистного "приятеля"; портрет весьма выразительный, в чем-то схожий с реальным Грановским, как схожа бывает с оригиналом талантливая, злая карикатура... Под пером Григорьева юный Грановский превращался в человека

“неразвитых понятий”, с весьма скудным запасом знаний и полным отсутствием “привычки к упорному труду”. Свой жизненный путь сей юноша избрал совершенно случайно: не зная, чем заняться после окончания университета, он соблазнился “прелестью заграничной поездки”. Не имея за душой ничего, кроме “смутных стремлений”, Грановский легко попал под мощное влияние “избранных представителей” германских науки и искусства; он “полюбил все немецкое”; более того, историк, “презрев все родное...и по привычкам и по образу мыслей превратился в пруссак”.⁸ Григорьев особо подчеркивал, что страстное, восторженное усвоение немецкой учености “лишило Грановского духовной независимости; впитывая чужие идеи, он утратил способность самостоятельно мыслить...”

Отказ от самостоятельной “головной работы” порождает то “облегченное” мировоззрение, которое Григорьев безоговорочно приписывал историку: Грановский, по его словам, брал с жизни “возможную дань удовольствий, верил в прогресс и потому легко утешался в существовании темных сторон человечества”. Вот эту-то “легкую” и, по твердому убеждению Григорьева, совершенно бесплодную “веру в прогресс” Грановский проповедовал молодому поколению, заражая его всеми своими недостатками: ленью, беспечностью, отсутствием самостоятельности в мыслях и поступках...

Исходя из всего сказанного, Григорьев с легкостью чрезвычайной разрешал ту загадку, которую Тургенев называл “тайной обаяния Грановского”. По мнению автора статьи, историка “любили и превозносили” в обществе не за весьма сомнительные достоинства, а... за бесспорную его слабость. “Сильных, убежденных людей, - писал Григорьев, - в кружках не жалуют”; знаменосцем становится тот, “чье умственное превосходство не давит никого из сочленов, чье нравственное достоинство не колет никому глаза, тот, кто красивее всех носит одежду его недостатков...” Именно таков был Грановский; в его личности многочисленные почитатели как бы видели самих себя, но “в изящной, облагороженной форме”. “Никто не смел усомниться в чистоте его помыслов, а между тем он причастен был всем слабостям общества. Как же было не любить его общество, которое находило в нем блестящее оправдание своим слабостям”.⁹

Вне всяких сомнений, статья Григорьева, при всей озлобленности автора против своего “героя”, была значительно более серьезным явлением, чем простое сведение личных счетов; в ней так же, как и в некрологах Грановскому, явственно ощущались “партийные” интересы. В самом деле, западники, создавая идеальный образ, стремились до читателя несложную мысль: “Вот лучший *из нас*” - и тем самым привлечь симпатии к своему направлению; Григорьев же, выставляя на страницах “Русской беседы” карикатуру на западнического кумира, повторял здесь ту же самую фразу, но совсем другими интонациями: “Вот *лучший* из них”...Все многочисленные слабости и изъяны “героя” статьи рассматривались как особенности западнического либерализма: таким образом компрометировалась не отдельная личность, а целое направление, - недаром в редакции “Русской беседы” статья была принята на “ура”.

Реакция западников не заставила себя долго ждать: оценив статью Григорьева, как “вызов общественному мнению”, они организовали своего рода крестовый поход против ее автора. Герцен, писавший в одном из писем под свежим впечатлением от чтения этой статьи: “Неужто у Грановского не осталось ни одного близкого друга в России, который бы палкой отдул мерзавца”¹⁰, - мог быть доволен. Григорьеву пришлось испытать горькую чашу. Так, например, Кавелин весь свой памфлет “Слуга” - первоначальное, не прошедшее цензуру название которого было “Лакей” - построил на беспощадно резких, издевательских выпадах против его личности¹¹. Не пощадили Григорьева и авторы других, написанных в более спокойном тоне, статей - А.Д. Галахов и Н.Ф. Павлов¹².

Однако западники не ограничились издевательством над “бездарным завистником”. Немало сил они потратили на опровержение тех обвинений, которые Григорьев возводил на Грановского. И прежде всего либеральные публицисты попытались “снять навет” с того дела, которому посвятил историк свою жизнь, ибо оно в равной степени было *их* делом. Прежде чем перейти к самостоятельной “головной работе”, писали Галахов и Павлов, необходимо “освоить почву, приготовленную веками”, “вкусить плодов западного просвещения”, овладеть западной наукой. Это дело сложное, и свершить его русское общество может только благодаря подвижническому труду людей, подобных Грановскому.

То, в чем Григорьев усматривал следствие “духовной лени и умственной несамостоятельности”, западники оценивали как “великий подвиг”. Восстанавливая “некрологический” образ историка, Павлов писал: “Грановский остается в памяти...идеальным образом, имя его будет передаваться из поколения в поколение”¹³.

Так, решительной победой западников завершился первый тур полемики “вокруг Грановского”. При этом характерно, что споры о духовном наследии историка и преподавателя были совершенно лишены академизма - публицистичность пронизывала их насквозь. В глазах участников полемики Грановский являл собой живое воплощение определенных идей; личность историка сливалась со знаменем, которое он защищал... Поэтому огромное, из ряда вон выходящее внимание уделялось именно его личным качествам. За то, чтобы утвердить в памяти потомков тот или иной образ Грановского, сражались. Как сражаются за любимую идею...

Прошло совсем немного времени, и страсти, бушевавшие вокруг имени Грановского, поутихли - могло показаться, что навсегда... Россия перешла за грань долгожданных реформ; “замечательное десятилетие” уплывало все дальше в прошлое, становилось давней историей, стариной. ...Определяющей фигурой общественного движения стал радикально настроенный разночинец, которого волновали совсем, совсем иные проблемы. Характерно, что уже Н. Г. Чернышевский, в 1857 году, в самый разгар полемики, заявляя, что “вся правда” в ней, несомненно, на стороне друзей Грановского, выражал сомнение: “...Но стоит ли развлекать внимание журналистов и публики подобными вопросами?”¹⁴. Духовного лидера разночинцев не волновали ни доводы “за”, ни доводы “против”; Грановский, сам по себе, был ему глубоко безразличен. Пришедший же в начале 1860-х годов на смену Чернышевскому новый властитель дум молодого поколения Д.И. Писарев уже совершенно откровенно и категорично трактовал историка, как человека “умного и честного”, но - вредного: “сладкогласными песнями” своими отвлекавшего молодежь от решения насущных задач русской жизни...¹⁵. А Н.А. Некрасов, пытаясь несколько сгладить подобную категоричность, прочел по “идеализму 1840-х”, воплощением которого был Грановский, настоящую отходную - в своей “Медвежьей охоте”.

Диалектик обаятельный,
Честен мыслью, сердцем чист!
Помню я твой взор мечтательный,
Либерал-идеалист!

.....
Ты, в котором чуть не гения
Долго видели друзья,
Рыцарь доброго стремления
И беспутного житья!
Хоть реального усилия
Ты не сделал никогда,
Чувству горького бессилия
Подчинившись навсегда, -
Все же чту тебя и ныне я,
Я люблю припоминать
На челе твоём уныния
Беспредельного печаль:
Ты стоял перед Отчизною,
Честен мыслью, сердцем чист,
Воплощенной укоризною
Либерал-идеалист!

И далее:

Их песня спета - что нам в них?¹⁶

Однако очень скоро выяснилось, что эта песня далеко не спета; что люди и идеи 1840-х годов самым тесным образом связаны с делами Писарева и Некрасова и готовы "ожить" при первом удобном случае...

Этим случаем являлась публикация биографии Грановского, написанной А. В. Станкевичем. Нужно отдать должное автору: в своей объемной, насыщенной фактическим материалом работе он впервые воссоздал весь жизненный путь Грановского, подробно и основательно познакомив читателя и с делами историка, и с его мыслями. Однако, будучи человеком довольно ограниченным¹⁷, "исповедую" самый умеренный и осторожный либерализм, Станкевич многое в своем герое не понимал, многое просто игнорировал. Хорошо знавший Станкевича Ф. Е. Корш писал о "разногласиях и расхождении" его с Грановским, которые автор биографии историка "колебался обнаружить перед непосвященными... не для того, конечно, чтобы выдавать Грановского за своего безусловного единомышленника, а потому, что кое-какие частности, в которых они расходились, противоречили образу Грановского, который сложился в его представлении..."¹⁸. Судя по тексту биографии, Станкевич все эти "колебания" преодолел весьма последовательно: он почти полностью игнорировал в своей работе те черты мировоззрения Грановского, которые выходили за рамки либеральной доктрины. Противоречия, терзавшие историка, были заботливой рукой биографа не просто приглажены - сведены на нет. В результате со страниц своей первой биографии Грановский глядел ликом совершенно иконописным... К этому следует прибавить еще и подчеркнуто почтительное, более того - восторженное отношение Станкевича к созданному им образу; по вполне справедливой оценке Огарева, биография была написана "казенным слогом мемуаров о генерале Кутузове".¹⁹ Герцен же писал в одном из писем: "Не такого биографа нужно было Грановскому... Плох он, т.е. Станкевич, и плохо написал и много напутал".²⁰

Тем не менее работа Станкевича вызвала самые оживленные отклики в русской печати, послужив толчком к возрождению споров о Грановском и его наследии.

В либеральном лагере работа Станкевича была воспринята в высшей степени благосклонно; с точки зрения тех, кто считал себя "наследниками" Грановского, она появилась на свет весьма и весьма своевременно. Дело в том, что в пореформенной России положение русских либералов стало значительно более сложным, нежели их предшественников. Наряду с правительственной реакцией и "консервативными устремлениями" части русского общества "благонамеренным" последователям Грановского приходилось теперь в полную силу бороться еще и с радикальным движением, охватившим в первую очередь русскую молодежь. Как никогда раньше, нуждался русский либерализм в героях, в примерах, достойных подражания...

Кто же, как не Грановский, должен был выступить в этой роли? Кого, как не его, следовало противопоставить тем враждебным либерализму тенденциям, которые так четко определил В.И. Герье, написавший рецензию в "Вестнике Европы": "Возвращение к прошедшему, увлечение отжившими идеалами и торопливое усвоение незрелых выводов науки, ложное понимание прогресса, вот две ошибки, в которые легко впадают у нас и против которых всегда будут вооружаться люди, вполне уснившие себе задачи цивилизации". Грановский же, в глазах рецензента, являлся чуть ли не живым воплощением этой цивилизации; "светлый, идеальный образ" историка, его идеи и дела - все это должно было стать орудием в борьбе как с поклонниками "отживших идей", так и с приверженцами "грубого, мертвящего материализма"²¹.

С этой точки зрения, возражений не вызывал даже приторный, назойливо-восторженный тон работы Станкевича: его объяснили "искренним чувством автора". Полное понимание в либеральной прессе нашло и стремление Станкевича затушевывать все противоречия и слабости Грановского, рисуя его портрет исключительно розовой краской: "пора было появиться сочинению, на котором читатель

мог бы отдохнуть от сплетен и дразг и которое могло бы послужить утешением для старого поколения и назиданием для молодого"²².

В свою очередь, не замедлили высказаться и представители тех течений, которым либералы пытались противопоставить Грановского, вернее его "икону", написанную Станкевичем. Так, в "Деле" последователи Писарева оценили работу Станкевича, как собрание "общих мест и неопределенных рассуждений", лишь затемняющих суть предмета. А суть эта, по мнению "грубых материалистов", была предельно проста: всем своим конкретным содержанием биография Грановского свидетельствует о том, что историк был слабым, непоследовательным, а, следовательно, - ничемным человеком. В органе русского нигилизма Грановского оценили, как "мечтателя чистой воды", который посвятил все свои силы "проповеди отвлеченных понятий", пошел бесплодной дорогой идеализма и "вследствие этого при всех своих талантах принес обществу такую ничтожную, неуловимую пользу"²³.

Но самой замечательной и характерной была реакция, которую книга Станкевича вызвала в стане "друзей-врагов" - тех, кто был или считал себя продолжателями дела славянофилов. Хотя к этому времени обе противоборствующих стороны понятие "дружбы" утеряли, пожалуй, однозначно - осталась неукротимая вражда... Статья Н. Н. Страхова, наверное, самого глубокого мыслителя среди "почвенников", совершенно очевидно продолжала ту линию, начало которой положил Григорьев: Грановский не "высокий идеал общественного развития", а типичный представитель западнического общества, в котором, как в капле воды, отразились и немногие его привлекательные черты, и, в еще большей степени, многочисленные слабости. При этом Страхов далек от того раздражительного, "личного" тона, который делал столь уязвимой статью Григорьева. Постоянно подчеркивая объективность своего взгляда на проблему, он не обличал, а теоретизировал - причем, со свойственной ему основательностью.

В преамбуле своей статьи Страхов оценивал Грановского, как "самого яркого и чистого представителя известного периода нашей умственной жизни". "...Сочувствие всему прекрасному и высокому, где бы и как бы оно ни являлось, есть единственная формула, в которую можно уложить направление Грановского... И только с такой точки зрения, как нам кажется, открывается перед нами вся красота духовного образа Грановского... Этот человек находил свою отраду в созерцании благородных и высоких явлений в истории человечества. Его взгляд на предметы был исполнен любви к людям, веры в лучшие стороны человеческой души, надежды на преуспевания человечества... Это был некоторого рода энтузиаст истории - и в распространении этого энтузиазма, во внушении юношам того стремления ко всему прекрасному и высокому, которого он сам был полон, состоит главная заслуга Грановского"²⁴.

Под этими прочувственными строками, наверное, не отказался был поставить свою подпись и самый горячий поклонник историка. Но для самого Страхова весь этот панегирик был не более, чем тонкой игрой, с помощью которой он намеревался низвергнуть либерального кумира. Ведь во всех "прекрасных стремлениях" Грановского Страхов, в конечном итоге, видел лишь "мечтания и отвлечение"; энтузиазм же историка был в его глазах энтузиазмом космополита, творящего все дела свои в полном отрыве от родной почвы.

Подобное "житие" понятно и отчасти простительно для "героя 40-х годов". Но, напоминал Страхов, его поднимают на щит нынешние либералы, хотя на дворе уже конец 60-х... "Ту эпоху, которую мы переживаем, в такой степени может быть характеризует практическое и реальное направление, в какой теоретичность и отвлеченность идеи были ярким признаком русского общества тридцатых, сороковых годов". Теперь, писал Страхов, "нельзя желать *вообще* просвещения", нельзя толковать "просто о свободе" - надобно ясно заявить, *какое именно* просвещение, *какая* свобода тебе надобны.

Вот к этим-то конкретным мыслям и, тем более, к конкретным делам Грановский и его последователи подготовить русское общество оказались не в силах, поскольку сами всю жизнь свою провели "в абстрактных мечтаниях". В результате все их старания принесли горькие плоды: "...вместо общего и неопределенного сочувствия ко всему прекрасному и великому - мы получили весьма определенные и узкие стремления, часто идущие прямо против всего прекрасного и высокого". Воспроизводя ниги-

листическую оценку Грановского в “Деле”, Страхов заявил либералам: это ведь тоже наследие вашего кумира. И он не жалел сарказма, высмеивая “современных западников”, которые в своем стремлении “назад к Грановскому” “стали отстаивать свою исходную точку, т.е. поколение и подражание Западу и вместе отрицать все последствия, порожденные в нашем умственном мире этим поколением”²⁵.

Страхов, таким образом, подхватывал и очень последовательно развивал основные соображения Григорьева: излишняя “легкость” в восприятии истории, отсутствие основательности в ее разработке, замена самостоятельных, упорным трудом приобретенных идей общими абстрактными положениями, некритически заимствованными у западных философов, - все это суть главные пороки Грановского. Достоинств профессора Страхов, в отличие от Григорьева, никоем образом не оспаривал, но искуснейшим образом обращал их в страшное зло: да, Грановский умел увлечь за собой, но куда, в какую бездну он влек? Чему он учил? Кого воспитывал?...

Все эти вопросы были для Страхова отнюдь не риторическими. Впервые, пожалуй, в русской публицистике проводилась мысль о *полной* ответственности прекраснодушных “либералов-идеалистов” 1840-х годов за нигилизм 1860-х годов со всеми его разрушительными последствиями. Однако, у Страхова - публициста, была, как известно, печальная судьба: его умнейшие, тонкие до изысканности статьи, практически, не имели общественного резонанса; их не читали... О причинах этого разговор должен быть особый; возможно, что они коренились именно в тех характерных чертах русского общества, о которых с такой горечью писал сам Страхов...

Однако статья о Грановском имела продолжение, причем преудивительное... Именно она обратила на себя внимание Ф. М. Достоевского, томящегося за границей и внимательнейшим образом изучавшего “Зарю”, сразу воспринятую им как “свой” печатный орган, и на книгу Станкевича, и на полемику вокруг него. Именно в это время потрясенный нечаевским процессом писатель приступал к работе над “Бесами”. В феврале 1870 года он пишет Страхову: “...Если возможно, выпишите мне на будущий кредит... книжку Станкевича о Грановском. Окажите мне этим огромную услугу, которую век буду помнить. Книжка эта нужна мне как воздух и как можно скорее, как материал необходимый для моего сочинения - материал, без которого я ни за что не могу обойтись”²⁶. Образ Степана Трофимовича Верховенского уже маячил перед писателем - образ, в котором тема расплаты за прекраснодушие и безответственность нашла свое ярчайшее, не умирающее воплощение. Дискуссия о судьбах либерализма выходила на новый уровень.



СИНДРОМ РАЗНОЧИНЦА*

ТЕРМИН

Как справедливо заметил в свое время П. Б. Струве, история слова “интеллигенция” в русской речи “могла бы составить предмет интересного этюда”,²⁷ более того, добавим, - серьезного исследования. Пока же мы можем лишь отметить, что становление этого термина происходило постепенно, причем в него в разные времена и в разных кругах вкладывался отнюдь не единый смысл. Тот же Струве цитирует И. С. Тургенева, один из героев которого под “нашей интеллигенцией” подразумевал “публику, бывавшую на балах в дворянском собрании”, - определение явно ироничное, хотя по словам автора (И. С. Тургенева) и “ученое”...²⁸ В то же время это слово изредка мелькает в кругу западников, его употребляет в своих трудах и переписке А. И. Герцен, правда, по большей части применительно к Западной Европе; в отношении же России тот же Герцен предпочитал емкое и выразительное определение “образованное меньшинство”. По-настоящему широкое хождение термин “интеллигенция” получает в 1860-х годах, когда те, кто готов был принять его на свой счет, становятся уже не единичным, а массовым явлением. Известные претензии П. Д. Боборыкина на то, что именно он в эти годы стал крестным отцом русской интеллигенции, очевидно, не вполне справедливы в отношении чисто хронологическом - термин появился раньше; однако реальным содержанием этот термин, действительно, наполнился только в пореформенную эпоху.

Однако история проникновения в русский язык этого, подчеркнуто чужого для него слова, как бы ни интересна и увлекательна она была сама по себе, отступает все же на второй план по сравнению с главным - сущностью понятия “интеллигенция” в России. Словарь иностранных слов помогает здесь мало. Определение этого термина в нем - “социальная группа, в которую входят люди, профессионально занимающиеся умственным трудом и обладающие необходимыми для такого труда знаниями” - носит, естественно, вневременной и, так сказать, интернациональный характер. Тем показательней, что подобное определение будет все же справедливым всегда и везде (или почти всегда и везде), за исключением одной страны и одной эпохи: России XIX - начала XX веков. Очевидно, что эта особенная, ни на что не похожая социальная группа, которая начала складываться в России в начале этого периода и сыграла затем в ее истории такую грандиозную роль, в рамки данного словарного определения никоим образом не укладывается. Недаром знаменитая “Британика” после статьи, посвященной оценке интеллигенции, как явления общего порядка, специально обращается к вопросу о русской интеллигенции, как явлении особенном и уникальном.

Ощущение такой особенности было сильно у современников - прежде всего у тех, кто пытался

начать процесс изучения этого феномена. Еще в 1906 г. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, автор одной из первых обобщающих работ на эту тему "Истории русской интеллигенции", провел в ней резкую разграничительную черту между двумя явлениями. "В культурных странах, - писал он, - интеллигенция... представляет собой, если можно так выразиться, величину бесспорную, ясно определившуюся, сознающую свое назначение, свое призвание. Там интеллигенция делает свое дело, работая на всех поприщах общественной жизни, мысли и творчества и не задаваясь... мудреными вопросами вроде: что же такое интеллигенция и в чем смысл ее существования? Там не поднимаются "споры об интеллигенции"... Вместо того в тех счастливых странах пишут книги по истории наук, философии, техники, искусства, общественных движений, политических партий". Обращаясь же к России - именно она, конечно, скрывается у Овсяннико-Куликовского под определением "страны отсталой и запоздалой", - автор пишет: "Здесь интеллигенция является чем-то новым и необычным, - величиною не бесспорною, не определившеюся: она создается и стремится к самоопределению; ей трудно уяснить себе свои пути, выйти из состояния брожения и обосноваться на прочном базисе разнообразного и плодотворного культурного труда..." Вот именно в таких странах, по словам Овсяннико-Куликовского, и пишут "историю интеллигенции", т. е. историю этих недоуменных и мудреных вопросов ("кто виноват?", "что делать?" и пр. - А. Л.). И такая "история" по необходимости превращается "в психологию"²⁹.

Обычный в контексте общественной мысли спор - отсталость или особый путь - Овсяннико-Куликовский, как видим, решает однозначно, по-западнически. Но, соглашаясь или не соглашаясь с автором в определении *причин*, порождающих особенность русской интеллигенции, нельзя не отдать ему должное в анализе их сущности: действительно, постоянная надрывная рефлексия и, особенно, саморефлексия постоянно обращает на себя внимание даже при самом беглом обращении к теме. И путь, как представляется, Овсяннико-Куликовский указывает наиболее плодотворный - подвергнуть анализу прежде всего душу интеллигенции в ее рождении, становлении, развитии...

ИСТОКИ

Истоки (самые отдаленные) этого феноменального явления следует, очевидно, искать в эпохе петровских преобразований. В большинстве своем эти реформы - в сфере государственного строительства, социального устройства, хозяйственного уклада и т. п. - были достаточно органичны. Действуя революционными методами, Петр I доводил здесь до логического конца то, что неспешно, с оглядкой начинали его предшественники. Очевидно, что определенные основания существовали и для того великого перелома в духовной жизни, который произвел в России великий царь. И все же именно в этой сфере разрыв с вековыми традициями "старой" России был совершенно очевиден и чрезвычайно мучителен и для последующих поколений. Резкое, принципиальное неприятие религиозно-церковной культуры, стремление к полной секуляризации духовной жизни России - подобная установка чревата была грандиозными потрясениями... В первые десятилетия XVIII века традиционная культура последовательно вытеснялась за пределы бытия государственных структур и, соответственно, за пределы жизни и быта привилегированного дворянского сословия, теснейшим образом с этими структурами связанного.

Лакуна, черная дыра, неизбежно возникавшая в ходе разрушения традиционных культуры и быта, спешно заполнялась соответствующими европейскими суррогатами. Петр брал в Европе лишь то, что соответствовало его понятию государственной пользы, - именно с этой точки зрения, в традиционной культуре было слишком много лишнего и, более того, вредного. Суррогаты эти внедрялись в соответствующую среду различными средствами, но, прежде всего, путем образования, поставленного должным образом.

Именно с Петра образование в России приобретает искусственный характер и, именно поэтому, - особую важность: оно вполне соответствует искусственному положению государства и привилегированного сословия, противопоставивших себя остальной России, продолжающей существовать в рамках

традиционных культуры и быта. Именно благодаря особому, “европейскому” просвещению государство и дворянство закрепляют за собой свой, противостоящий традиционному, “европейский” облик, “воспроизводят” себя, растят смену...

Хорошо известно, насколько прагматично, “по-деловому” определял задачи, стоящие перед просвещением, Петр I. “Он, - писал В. О. Ключевский, - хотел иметь школу, из которой бы “во всякие потребности люди происходили, в церковную службу и гражданскую, воинствовать, знати строение и докторское врачебное искусство”... Однако, продолжал историк, “по недостатку средств и подготовки широко задуманный план высшего учебного заведения разбился на мелкие элементарные или технические училища”.³⁰ Уровень петровской школы Ключевский справедливо оценивал чрезвычайно низко, отмечая принудительный характер нового образования, отсутствие самых необходимых учебных пособий, бездарность преподавателей, палочную дисциплину, - “школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей”.³¹

И все же при всем, при том, не менее справедливыми представляются те оценки, которые давали новому образованию историки более позднего времени, во многом связанные с Ключевским общностью взглядов на исторический процесс, П. Н. Милюков, А. А. Корнилов. “Петровская школа, - писал последний, - несмотря на свой профессиональный характер, имела большое общекультурное значение: она была школой светской, она отрелась от прежнего страха ересей и новшества и явилась... главной воспитательницей первого поколения русской интеллигенции (разрядка моя - А. Л.). Эта интеллигенция, надев европейское платье, отличалась от народа уже не только по внешности; в эту именно пору между народом и интеллигенцией начался тот нравственный раскол, который продолжается до нашего времени”.³² Ни в коем случае не соглашаясь считать образованных по-новому дворян, типа В. Н. Татищева, за интеллигентов, признаем, что вектор процесса отмечен здесь верно: именно школа закрепляла и давала развитие “новому человеку”, рожденному в эпоху петровских реформ.

СТАНОВЛЕНИЕ

Следующим важным этапом на этом пути стало создание в России высшего учебного заведения европейского (без кавычек) типа - Московского университета и поток просветительской литературы, хлынувшей в Россию при Екатерине II. Чисто прагматическое отношение к просвещению, способному дать государству дельного, нерассуждающего работника, сменяется иным: теперь от просвещения ждут, что под его чудесным воздействием в России вырастут “достойные граждане”... Не будем сейчас разбираться, какой смысл в это понятие вкладывала Екатерина II, какой - ее оппоненты. Отметим лишь, что во второй половине XVIII века эти споры составляли, может быть, главное содержание духовной жизни в очень узком слое русского общества, которое пыталось жить сознательно, в соответствии с теми или иными принципами.

Именно в это время впервые начинает осознаться и обсуждаться в обществе основное, может быть, противоречие послепетровской России, в которой, по справедливому замечанию Н. Я. Эйдельмана, рабство и просвещение развивались практически синхронно.³³ Ведь в самом деле, просвещение в России насаждалось одновременно с усилением самодержавной государственности и крепостного права - то самое просвещение, которое декларировало освобождение личности, введение представительного правления и прочее. Это неизбежное противоречие становилось все очевидней, начинало терзать многие души - короче, требовало разрешения, если не на деле, то хотя бы “в умах”.

Напомним остроумную и во многом справедливую классификацию возможных путей разрешения этого “внутреннего конфликта”, предложенную Эйдельманом. Среди так или иначе просвещенных людей второй половины XVIII века исследователь выделяет “циников”, которые сознательно вышеназванное противоречие игнорируют: “они хотят “выгод просвещения” (не отстать от Европы) и хотят сохранить рабство в экономике и политике”, т. е. существующее “раздвоение” признается необ-

ходимым и, более того, выгодным. К этой группе Эйдельман относит “Екатерину II, Потемкина, Орловых, многих фаворитов, немалое число дворян на службе или в имениях...”

“Правящим циникам” противостоят две группы просвещенных людей, на первый взгляд диаметрально противоположных друг другу, но в то же время, имеющих нечто общее. Это, с одной стороны, “идейные просветители, серьезно верившие в грядущее преодоление “петровской двойственности” за счет развития одного из двух полюсов - просвещения”. С другой - “просвещенные консерваторы”, критикующие пороки современной им России с “позиции старинной нравственности”, мечтающих “о движении к будущему, как бы “через прошлое”, о реставрации утраченной патриархальной нравственности и ряда старинных институтов”³⁴.

Подобные рассуждения представляются нам весьма плодотворными в плане развития нашей темы. Не вдаваясь пока в анализ весьма существенных различий между представителями двух последних групп, отметим то, что их роднит: все более критическое отношение к самодержавному правительству и привилегированному сословию (представителями которого они, как правило, сами и являются), неприятие столь выгодного для этих кругов “просвещенного цинизма”, желание так или иначе, но разрешить противоречия русской жизни. Таким образом, помимо отчуждения от народа, которое сохраняется в полной мере, позиция этих представителей общества все в большей степени характеризуется отчуждением от власти и своего собственного привилегированного сословия. Процесс зарождения русской интеллигенции продолжал свое необратимое развитие...

От мартинистов конца XVIII века лежит прямая дорога к декабристам начала XIX века. При всех многочисленных различиях родственные черты ощущаются здесь с чрезвычайной силой. Искренняя озабоченность судьбой России, стремление к общему благу, которое красной нитью прослеживается в декабристском движении, столь же решительное, как и у их предшественников, неприятие “правительственного цинизма”. Гораздо более сложные и развернутые, чем у “людей XVIII”, программы переустройства России у декабристов тоже, в конечном итоге, восходят в основном к философии просвещения. Нет необходимости, очевидно, напоминать и о том, насколько герои 14 декабря “далеки были от народа”.

“Интеллигентская душа” явно проглядывает в идеологии и деяниях представителей этих родственных движений. Основные критерии, как нам кажется, ясны: неприятие консервативно-циничной власти, полная оторванность от непонятного, но заведомо “косного” народа, ощущение себя проводниками неких истин, единственной силой, способной направить и народ, и власть на единственно верный путь. И ощущение, может быть, менее ясное, но постоянно властно утверждаемое реальным ходом событий, что время этих идей не пришло, что ни власть, ни народ не спешат последовать указанным маршрутом... Отсюда неизбежна нарастающая разочарованность: обратной стороной избранности оказывалось духовное изгойство.

Однако все эти черты пока что неясны, смазаны - прежде всего потому, что духовный раскол “избранных” и прочих в это время еще не сопровождался социальным. И “мартинисты” второй половины XVIII века, и декабристы начала XIX века были все же дворянами по преимуществу со многими свойственными дворянству привычками, образом жизни, бытовыми понятиями и т. п. Все в большей степени ощущая себя особенными, “иными” духовно, они сохраняли тесные социальные связи с тем слоем, к которому принадлежали их отцы, деды, прадеды... Термин “передовое дворянство”, прочно утвердившийся в советской историографии, по-моему, достаточно хорошо отражает суть дела.

“ТИХАЯ РАБОТА”

Оформление интеллигенцией своего особого социального облика, соответствующего особой, “уникальной” духовности, начинается, на наш взгляд, в 1830 - 1840-е годы. Отчасти это было неизбежным следствием внутренней эволюции “избранных”, отчасти этому способствовали внешние обстоятель-

ства. Можно говорить о том, что общий ход развития России с каждым десятилетием все больше способствовал вычленению интеллигенции в особую социальную группу.

Именно в это время высшие и средние учебные заведения в России - университеты и гимназии - становятся серьезным явлением хорошего европейского уровня. Растет, соответственно, и читательская аудитория: совершенно иной, нежели раньше, размах приобретает книгоиздательское дело; журналистика начинает все более интенсивно воздействовать на умы в духе "интеллигентских" воззрений. В результате, с одной стороны, значительно расширяется круг европейски образованных, то есть predeterminedных, в известной степени, к интеллигентности людей. С другой, именно в это время либо оформляются, либо становятся несравнимо более распространенными, чем раньше, интеллигентские профессии, не связанные напрямую ни с бюрократическими структурами, ни с бытием российского дворянства. Люди "умственного труда" - профессура, учителя, журналисты, писатели - либо утверждают свой профессиональный статус, либо впервые обретают его. Тем самым появляется возможность постепенного оформления подобных людей в особую социальную группу.

Самодержавие, бывшее прежде поистине демиургом российской истории, в эту эпоху совершенно очевидно начинает терять творческую потенцию, занимает все более откровенно консервативную позицию, стремясь удержать то, что достигнуто. Образованное же общество, не скрывавшее своего постоянно растущего критического отношения к достигнутому, все в большей степени начинало ощущать, что изменить его можно только полагаясь на свои силы. Пожалуй, впервые за всю русскую историю у государственной власти появился конкурент, пришел такой соперник, которого она сама же усиленно создавала, как представлялось, себе на благо...

Реакция была незамедлительной. И прежде всего правительство обрушилось на то, что на протяжении целого века было предметом его усиленных забот: на просвещение. Неистовый и безумный погром университетов в конце царствования Александра I во времена его преемника сменился более сдержанным, но зато несравнимо лучше налаженным и последовательным бюрократическим контролем над просвещением. Под максимально жесткий цензурный гнет попала печать. Деятельность власти была сориентирована прежде всего против образованных людей. Правительство, вступившее в бой под знаменем теории "официальной народности", стремилось, собственно, к одному: выправить образованное общество по своему образцу - придать ему столь же консервативный характер, лишить критической закваски, представлявшейся чрезвычайно опасной.

Как известно, этот бой правительство проиграло. Жесткому нажиму со стороны государственных структур "образованное меньшинство" противопоставило то, что Герцен так удачно назвал "тихой работой". В условиях николаевской России, когда политическая борьба была совершенно невозможна, "меньшинство" повело борьбу за умы и души... "Все мы, - вспоминал позже Герцен, - были сильно заняты, все работали и трудились, кто - занимая кафедры в университетах, кто - участвуя в обозрениях и журналах, кто - изучая русскую историю". Эту общую для представителей "образованного меньшинства" позицию отлично определил в одном из своих писем Т. Н. Грановский: "...В большей части из нас сохранилось желание труда и пользы в кругу деятельности, данной обстоятельствами (разр. моя - А. Л.)... Дела много".³⁵

С университетских кафедр и журнальных страниц постоянно провозглашались новые ценности, восприятие которых русским обществом неизбежно и беспощадно разрушало каноны официальной идеологии. Избегая открытой и совершенно невозможной при "данных обстоятельствах" критики существующего строя, Герцен, Грановский со товарищи упорно внушали своим читателям и слушателям разлагающую рутину будничной жизни, пытались воспитать чувство личного достоинства, нацелить на бескорыстную идейную работу во имя "лучшего будущего". В сущности, в 1830 - 1840 годах в России развернулась грандиозная битва двух учебно-воспитательных систем: правительственной, стремившейся наладить воспроизводство грамотных, дельных, но не рассуждающих, безропотных исполнителей "верховной воли", и иной - предельно противной ей по духу, целью которой было, по сути, превратить "образованное меньшинство" в большинство, сделать интеллигенцию массовым явлением русской общественной жизни.

Что и удалось, хотя условия, в которых находились противоборствующие стороны, были, казалось, совершенно не равны - а, может быть, именно в силу этих условий: в тихой темнице николаевского правления так хорошо думалось и работалось... Как бы то ни было "образованное меньшинство" одержало верх в борьбе за русское общество, сумев привить ему самое себя, определить его лицо своим духовным обликом. И когда пришла эпоха реформ, преобладание общественных сил с этим, интеллигентским, настроением было, по существу, полным. Достаточно сказать, что при огромном количестве недовольных отменой крепостного права в среде, казалось бы, всемогущего в те времена поместного дворянства не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы выступить его апологетом в повременной печати. Общество хотело жить иначе; общество почти безоговорочно поддержало преобразования 1860-х годов именно потому, что оно стало интеллигентным.

“ОТЩЕПЕНЦЫ”

Пожалуй, самым главным, определяющим в воспитательной работе родоначальников русской интеллигенции был призыв осознать себя как неразрывную часть огромного мира. “Каждый человек, - писал Белинский, - есть отдельный и особенный мир страстей, чувств, желаний, сознания, но эти страсти, эти чувства, это желание, это сознание - принадлежит не одному какому-нибудь человеку, но составляет достояние человеческой природы, общее для всех людей”. Человек вообще живет лишь постольку, поскольку принадлежит к этому общему: “...В ком больше общего, тот больше и живет; в ком нет общего - тот живой мертвец...”.³⁶ Белинскому вторил Герцен: “Все дело философии и гражданственности - раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества; только в низших, мелких и чисто животных желаниях люди распадаются”.³⁷

При этом “идеалисты 1840-х” постоянно подчеркивали, насколько тяжок, тернист этот путь - путь приобщения себя ко всеобщему: он “требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью всего отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания”. Стать личностью можно только, “убив себя” прежнего, преодолев свое обыденное, косное, эгоистическое существование. “Погубивший душу найдет ее”...

В сущности, речь шла о процессе весьма болезненном и опасном - об отчуждении себя от реальной действительности. Именно эту “черту” Герцен впоследствии выделял как главную у всех своих единомышленников в 1840-е годы: “Глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое”. Как видно из вышеприведенных слов, этот процесс разумелся, как временный: “погубление” себя означало, по сути, рождение в новой ипостаси; отчуждение от “среды” должно было стать первым шагом на пути ее преобразования.

Эпохе реформ, дыхание которой все явственнее ощущалось в России со второй половины 1850-х годов, предстояло, казалось, снять все эти противоречия. И действительно, поначалу это было время удивительное, редкостное в русской истории, когда правительство и общество повернулись лицом друг к другу. От нового царя, Александра II, искренне стремившегося преобразовать Россию, все ждали добрых чудес. И он, казалось, оправдывал эти надежды, не ограничиваясь словами, а воплощая их в реальные дела.

Именно благодаря настойчивости и последовательности царя в 1861 году был устранен главный корень всех бед, терзавших Россию, - пало крепостное право, причем процесс подготовки его отмены происходил в обстановке достаточно широкой гласности, при живом сотрудничестве правящей бюрократии и общественных деятелей. И тогда перед царем склонился сам признанный лидер “образованного меньшинства”: “Ты победил, галилеянин”, - провозгласил, обращаясь к Александру, Герцен в своем знаменитом “Колоколе”. Царский манифест сравнивался с деяниями Христа... А правительство царя-преобразователя продолжало работать в избранном направлении: в начале 1860-х годов им был подготовлен и проведен в жизнь целый комплекс реформ - земская, судебная и прочие. Казалось, на

глазах рождается новая Россия - та, о которой мечтало в 1840-х годах "образованное меньшинство", та, в которой без труда должна была найти себе место выпестованная им интеллигенция...

Здесь нет ни возможности, ни необходимости говорить о том, насколько половинчаты, насколько непоследовательны оказались "великие реформы", как далек был от интеллигентского идеала созданный ими строй жизни. "Снять" противоречия интеллигентского бытия, преодолеть отчуждение этого нового социального слоя им было не дано. Между тем под воздействием социальных и экономических перемен, вызванных реформами, начинает меняться характер самой интеллигенции. Разночинный ручеек, не без труда пробивавшийся раньше сквозь толщу дворянского образованного общества, теперь превращался в мощный поток, все сметающий на своем пути.

"Пришествие разночинца" было чревато многими последствиями, грозными для правительства. Словенный строй, бывший залогом порядка и стабильности, после отмены крепостного права рушился на глазах. Реформы в области просвещения открыли выходцам из всех сословий путь к высшему образованию. Дети крестьян, мещан, духовенства, оскуделого дворянства быстро теряли социальные связи с породившей их средой, превращаясь в стенах высших учебных заведений в интеллигентов-разночинцев, стоящих вне сословий, живущих своей, особой жизнью. Разрыв с сословной структурой порождал ощущение исключительности своего положения. В то же время, расставаясь так решительно со своим прошлым, интеллигенты новой формации быстро теряли всякое уважение к устоям, традициям. Более того, они воспринимали их как нечто себе враждебное, ведь большинству разночинцев приходилось прорываться "в люди" с боем, преодолевая множество препятствий, терпя лишения. Ощущение органичности, постепенности исторического развития было редкостью в этой среде, зато революционные идеи прививались здесь с удивительной легкостью. Стремление изменить "проклятую русскую жизнь" как можно скорее и радикальнее было присуще многим интеллигентам-разночинцам, которые к тому же искренне верили в то, что это им по силам. В результате пресловутое "отчуждение от среды" становилось все более сильным, все заметнее сказываясь на интеллигентской ментальности.

В 1866 году в Петербурге вышла книга с характерным названием "Отщепенцы", которая явилась своего рода воплощением этой отчужденности. Ее авторы известные радикальные публицисты Н. В. Соколов и В. А. Зайцев писали: "Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с толпою и взятъ в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него... Я называю их "отщепенцами".

...Отщепенцы - спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя великую республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы - беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь зная...

Отщепенцы - все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле..."³⁸

Вся эта книга была по сути компиляцией из работ европейских мыслителей и публицистов: в частности, вышеприведенные строки заимствованы авторами из памфлета французского радикала Ж. Валлеса. Но именно у русского интеллигентного читателя они должны были вызвать особенно сильные чувства. Ведь в этих строках сжато и ясно формулировалось то, что ему, читателю радикальной публицистики, на протяжении целого десятилетия внушали "властители дум" сначала Чернышевский, затем Писарев, чуть позже Бакунин, Лавров, Ткачев; внушали как идеал, более того, как единственно честный, единственно праведный образ жизни. Не идти на компромиссы, не сотрудничать с властью, не входить в систему обыденных служебных и бытовых отношений, не преобразовывать существующее путем повседневной "рутинной" деятельности, а бить его насмерть, разрушать беспощадно во имя светлого будущего: "блаженного социального устройства, личной свободы, гражданской солидарности" и прочее, и прочее...

Тот же В. А. Зайцев прекрасно сформулировал главный принцип “новой нравственности”, исповедуемой “отщепенцами”: “Провозгласим нетерпимость!”³⁹ Наверное, “отщепенцы” - явление закономерное для самых разных времен и народов, более того, необходимое, как нечто сверхординальное, будоражащее мысли и чувства, не дающее закоснеть в ленивой неподвижности. Но не дай Бог “отщепенцам” из исключения превратиться в правило, стать определяющей силой... Нечто подобное произошло в пореформенной России, придав неизъяснимо трагический характер и ее истории в целом, и судьбам самой интеллигенции. В перспективе у “отщепенцев” было глухое подполье, террор, убийство царя-Освободителя - отчаянная, беспощадная и бесплодная по сути борьба.

“МАЛЫЕ ДЕЛА”

Естественно, что по этому пути - откровенного, так сказать, боевого “отщепенства” пошла лишь малая часть разночинной интеллигенции. Правда, нашумела она несоответственно своей малочисленности, превратив историю России 1860 - 1870-х годов в значительной степени в свою историю.

И все-таки значительная часть интеллигентного общества постаралась продолжить “тихую работу” своих предшественников тем более, что в пореформенной России для подобной работы были созданы условия, несравнимые с предшествующей эпохой. Не говоря уже о том, что преподавательская, журналистская, книгоиздательская деятельность приобрела небывалый прежде размах, перед интеллигенцией, стремившейся мирно и честно работать, теперь открывались совершенно новые перспективы. Земская реформа предоставила интеллигентным людям возможность активно участвовать в хозяйственном развитии страны, лечить народ, не знавший прежде, что такое медицина, учить крестьянских детей...

Все эти дела, получившие название “малых”, не могли не привлекать тех, кто хорошо видел, сколь безнадежны в России дела “великие”. В этой будничной малозаметной, на первый взгляд, но несомненно плодотворной деятельности участвовала масса интеллигенции. Здесь было великое множество “рабочих лошадок”, честно и добросовестно, нередко, на протяжении своей жизни, тянувших нелегкую ношу. Она и впрямь была тяжела: скучные условия существования, постоянные преследования со стороны властей, многочисленные сложности во взаимоотношениях с крестьянами... И самое главное - будничность, отсутствие того ощущения подвига, которое так вдохновляло “отщепенцев”-подпольщиков. Противоречие между сознанием полезности, даже необходимости “малых дел” и их незначительностью существовало изначально и с каждым десятилетием ощущалось все более мучительно.

В русской литературе конца XIX века есть произведение, в котором это противоречие уловлено и зафиксировано с предельной четкостью. Вспомним чеховский “Дом с мезонином”. Художник, Мисюс... И главная, по сути - героиня рассказа Лида - “тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом”, с постоянно строгим выражением лица... Ассоциации этот образ земской деятельницы, поглощенной “малыми делами” полностью, без остатка, вызывает само собой разумеющиеся: подписной лист погорельцев, прием больных, разговоры о земстве... И постоянным рефреном звучащее: “Вороне где-то... Бог... - говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. - Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то”. И так каждый день, на всю оставшуюся жизнь.

И антагонист Лиды - художник: “Нужно освободить людей от тяжкого физического труда... Призване всякого человека в духовной деятельности - в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки... Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день”. И так далее...⁴⁰

Вся эта безответственная, по сути своей интеллигентская болтовня - напоминающая размышления

щедринского карася-идеалиста: “если бы все рыбы объединились”... - в контексте чеховского рассказа производит несравнимо более обаятельное впечатление, чем сухие, резкие реплики Лиды. Да и ее бесчеловечное стремление разлучить Мисюсю с художником только потому, что тот отрицает пользу “малых дел”, набрасывает на эти дела сумрачную тень. Недаром “Дом с мезонином” вызвал бурю негодования в либерально-народнической критике.⁴¹

Между тем Чехов - самый, наверное, “интеллигентский” писатель в русской литературе - “всего лишь” выразил последовательно те подспудные ощущения, от которых русский интеллигент никогда не мог отделаться. Стоило ли выбиваться из рутины повседневной жизни, стоило ли пестовать в себе гордую личность и культивировать интеллект, чтобы со всем этим богатством погрузиться все в ту же унылую рутину? Ощущение своей собственной значимости, избранности препятствовало этому непреодолимо. Необходимо бороться за радикальное переустройство России, необходимо весь мир сделать иным - эти стремления становились преобладающими. В XX век интеллигенция вступила открытая политическим ветрам, причем дующим почти исключительно с левой стороны... В 1917 году она получила, наконец, возможность показать себя в деле. Последствия известны.



КОНЕЦ РЕФОРМАТОРА *

КАТАСТРОФА

В 1881 году первый весенний день пришелся на воскресенье. В Петербурге стояла ясная морозная погода. На центральных улицах города былолюдно; на Екатерининском же канале, в двух шагах от Невского лишь изредка попадались случайные прохожие; здесь никто не жил, никто не вел торговлю, да и для прогулок эта часть канала представлялась не очень привлекательной: с одной стороны - решетка набережной, с другой - высокий забор, угрюмые казенные здания... Именно здесь метальщики "Народной воли" Рысаков и Гриневицкий перехватили царский выезд в этот день, вошедший в историю как день последней облавы на государя императора всея Руси Александра Николаевича...

Царская карета в окружении конвойных казаков показалась из-за угла в начале третьего; следом за ней - сани полицмейстера. На крутом повороте с Инженерной улицы кучер с трудом сдержал лошадей, и они пошли шагом. Карета не успела еще набрать полный ход, как первый из метальщиков, Николай Рысаков, бросил под нее небольшой сверток. Раздался взрыв...

Царь с помощью полицмейстера выбрался из поврежденного экипажа; он был цел и невредим... Около кареты лежал в беспмятстве контуженный взрывом казак; рядом бился и кричал от боли мальчик - случайный прохожий. Вокруг собралась толпа.

Царь подошел к Рысакову, схваченному сразу же после взрыва, задал ему несколько вопросов, а затем снова направился к экипажу. И тут пришел черед второго метальщика, Гриневицкого...

Новый взрыв был страшен: он произошел среди окружавшей царя толпы, и эхом ему прозвучал вопль боли и ужаса. Дым, взметнувшиеся к небу комья снега, клочки обгоревшего платья - все это на несколько мгновений скрыло от глаз катастрофу... Когда же дым рассеялся, те, кто остался в живых, среди тел, лежавших на мостовой, увидели царя...

Александр сидел, откинувшись назад, прислонясь спиной к решетке канала; обеими руками он упирался в панель. Шинель с царя сорвало взрывом, от нее остались лишь обгорелые, окровавленные ключья. Александр тяжело дышал. Ноги его, обнаженные выше колен, были раздроблены, мясо висело на них кусками, струилась кровь... Полицмейстер, оглушенный взрывом, с трудом поднимаясь на ноги, услышал тихое: "Помоги". Бросился к царю. Александра окружили; кто-то подал царю платок, которым он закрыл искаженное от боли лицо... "Холодно, холодно..." - шептал царь.

Пока Александра несли к саням, он оставался в сознании; когда кто-то из окружающих предложил перенести царя в один из ближайших домов, у него еще хватило сил приказать: "Во дворец... Там - умереть..." Это были последние слова Александра.

Царь еще дышал, когда его привезли в Зимний. Врачам удалось остановить кровотечение из артерий, но изуродованный, обескровленный царь был заведомо обречен: "Конечностей левой стопы совсем не было, обе берцовые кости до колен раздроблены, мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу, выше колен до половины бедра несколько ран..." Через час с небольшим после взрыва на Екатерининском канале царь скончался.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

А как прекрасно начиналось это царствование! Вступив на престол в тяжелейшее для России время, Александр, казалось, сумел вывести страну из застоя на единственно верный путь реформ. Это было тем более замечательно, что новый царь не имел ни способностей, ни склонностей к серьезным преобразованиям. Он не обладал ни глубоким умом, ни сильным характером; его политические взгляды целиком и полностью укладывались в узкие рамки официальной идеологии, провозглашавшей самодержавно-крепостнический строй единственно возможным для России. Будучи наследником престола, он искренне преклонялся перед отцом - императором Николаем, который все силы своей незаурядной натуры вкладывал в укрепление "устоев".

Но даже Николай, этот замечательный в своем роде человек, никогда не знавший сомнений, вынужден был в конце концов признать очевидное: бескомпромиссная борьба, которую он вел на протяжении всего своего царствования против "губительного духа перемен", привела Россию к развалу. Крымская война подвела печальный итог его тридцатилетнему правлению: техническая отсталость армии и флота, совершенно фантастическое казнокрадство, немощь бюрократических структур - все эти и многие другие пороки, скрытые раньше под покровом лжи и славословий, вышли теперь наружу. Николай умер, сломленный сознанием тщетности всех усилий; умер, успев сказать наследнику: "Сдаю тебе команду не в полном порядке..." Порядок предстояло наводить Александру...

Для того, чтобы разобраться в происходящем и найти пути выхода из жестокого кризиса, новому царю прежде всего нужно было вырваться из тесноты и духоты собственного мировоззрения, возмудившего неподвижность в идеал. Ему предстояло совершить этот духовный подвиг, не имея к тому никакой подготовки, без всякой поддержки со стороны: в окружении Александра, унаследованном им от батюшки, невозможно было отыскать мудрых сановников-реформаторов. И тем не менее этот флегматичный, казавшийся многим недалеким человек сумел на какое-то время преодолеть себя, сумел осознать всю опасность создавшегося положения и разобраться в его причинах. Знаменитая речь, произнесенная Александром в марте 1856 года в Москве перед предводителями дворянства, несомненно, стоила царю не одной бессонной ночи. Главе верховной власти нужно было передумать и перечувствовать многое, прежде чем заявить во всеуслышание: "Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока его отменяют снизу".

У Александра хватило сил и для того, чтобы от слов перейти к делу. В 1861 году в значительной степени благодаря его последовательности был устранен корень всех зол, терзавших Россию, - многовековое крепостное право, затем подготовлен и проведен целый комплекс реформ: судебная, земская и многие другие, открывавшие путь к созданию нового, более прогрессивного государственного устройства. Казалось, Россия выбирается из полосы длительного застоя и готова семимильными шагами устремиться вперед, в будущее...

Но великие реформы требуют великих сил - и физических, и духовных. Их не было у Александра. Как и многие слабые люди, он ждал от своих действий немедленных благотворительных результатов. Между тем преобразования порождали массу новых проблем, которые, в свою очередь, требовали радикальных решений. Так, крестьянская реформа, при проведении которой власть всеми силами стремилась соблюсти интересы помещиков, подорвала-таки достаток и благополучие "благородного сословия", предопределив в то же время обнищание значительной массы крестьянства; новые учреж-

дения, созданные судебной, земской, городской реформами, никак не вписывались в старый административно-бюрократический строй, вызывая глухое недовольство.

Путь реформ, на который так решительно вступил в начале своего царствования Александр, оказался воистину тернистым. Но, как выяснилось, свернуть в сторону - означало вообще потерять тропу под ногами. А что может быть страшнее российского бездорожья с его лесами дремучими, песками зыбучими, тревожным вороным граем да болотными огнями, манящими в самую топь...

УГРОЗА

По мере отказа от последовательных преобразований страны высшая бюрократия во главе с самим царем начала ощущать глухую, постоянно растущую угрозу и тому неустойчивому, парадоксальному государственному порядку, который возник в России в результате ее противоречивой политики, и своим собственным покоем и безопасностью. Угроза эта исходила не от разрозненных крестьянских волнений, стихийно возникавших в стране в первые пореформенные годы, - с ними справились без особого труда и надолго. Не могла всерьез пугать могущественную бюрократию и либеральная оппозиция, сложившаяся в это время в России. Ее представители так или иначе вписывались в существующую систему, подчиняясь закону, даже если считали его несправедливым, и действовали в рамках дозволенного. Власть же все больше пугали люди, которые не хотели признавать вообще никаких рамок.

В НАРОДЕ

Противостояние власти и "отщепенцев" возникло сразу же после отмены крепостного права. Возмущение массовыми экзекуциями при подавлении крестьянских волнений, возникших при проведении крестьянской реформы в жизнь, настоящий шок, вызванный полицейскими репрессиями против студентов во время беспорядков в Петербургском и особенно Московском университетах, - эти тяжелые чувства, испытанные интеллигенцией в начале 1860-х, очень быстро заставили ее наиболее радикальных представителей забыть о всех надеждах, возлагавшихся на Александра и его сановников. С лета 1861 года в интеллигентской среде возникают кружки, готовые к нелегальной деятельности; в столицах начинают распространяться прокламации, содержащие самую резкую критику власти и призывы передать дело преобразования страны в руки "общественности"; в конце 1861 года появляется "Земля и воля" - первая революционная организация пореформенной России. И хотя она никакими серьезными действиями себя не проявила, начало революционализации "образованного меньшинства" было положено: "отщепенцы" ушли в подполье - началась необъявленная война...

В 1860-х годах русское "отщепенство" пережило очень яркий и выразительный, хотя и несколько сумбурный, период революционного самоопределения. На этом пути "беспокойным людям" пришлось миновать немало крутых поворотов и глухих тупиков. Им суждено было пройти через "все отрицающий" и все разрушающий нигилизм; из их лагеря 4 апреля 1866 года раздался первый выстрел в царя, тогда ужаснувший многих. Именно по поводу покушения Дмитрия Каракозова Герцен писал: "Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами". В их среде вырос и сформировался С. Г. Нечаев - человек, готовый "освободить" Россию любыми средствами, вплоть до массовых убийств, поджогов и пьяных бунтов... Но к началу 1870-х годов все это было пережито и, казалось, изжито бесповоротно; революционное движение в России постепенно обрело цельность, стройность, ясное сознание целей и вполне конкретную программу действий. Выстраданное в тяжких умственных и душевных муках народничество стало идеологией подавляющего большинства революционно настроенных "отщепенцев".

Не вдаваясь в подробный разбор этого ярчайшего явления истории общества, отмечу только, что при всех своих ошибках и иллюзиях, заставлявших видеть в черной крестьянской избе прообраз завещанного Чернышевским "алюминиевого дворца с мраморными колоннами", народничество было движением потенциально здоровым и в самом себе содержало возможность выбраться из рокового подполья: искреннее стремление опираться на народ, жить его интересами, прежде всего улучшить его положение - все это, казалось бы, должно было привести к решительной переоценке ценностей. И в самом деле, сокрушительные неудачи хождения в народ 1874 года с призывами к немедленному восстанию, а затем, в середине 1870-х, к "перманентной" революционной пропаганде заставили народников всерьез задуматься о том, что нужно в действительности возлюбленному ими крестьянству. Но в поддержку их революционных устремлений выступила... власть.

ПОСЕЕШЬ ВЕТЕР...

В самом деле переустройства России власть все больше и больше внимания обращала на совершенствование охранительных органов. Уже в 1862 году были реорганизованы обветшавшие структуры "явной" полиции, в 1867 - аналогичная операция проведена и с органами политического сыска: в губернских городах образовывались губернские полицейские управления и жандармские наблюдательные пункты. На службу полицейскому надзору были поставлены и новорожденные органы управления пореформенного крестьянства: сельским старостам, сотским и десятским вменялись в обязанность шпионство и доносы - и на своих односельчан и, прежде всего, на "посторонних", то есть на образованных людей, по тем или иным причинам появившимся в деревне. А в городе те же обязанности были вменены дворникам... Паутина политического надзора в "освобожденной" России стала куда более частой, чем в суровые николаевские времена.

Отлавливая "потрясателей основ", власть затем судила их, и был тот суд иногда скорый, нередко - затяжной и почти всегда - неправый и немилостивый... Судебные уставы 1864 года, в которых были заложены самые прогрессивные и демократические принципы - полная гласность судопроизводства, несменяемость - а значит, независимость - следователей и судей, институты адвокатуры и присяжных заседателей, состязательность судебного процесса - казалось бы, должны были умерять произвол власти. Не тут-то было... Как только к тому представлялся повод, власть с поразительной легкостью стала нарушать ею же введенные законы.

С 1871 года расследование политических дел перешло из рук следователей к жандармам; рассмотрение же этих дел, как правило, стало производиться не в суде присяжных, а в специально создаваемых судилицах, основным из которых с 1871 года стало так называемое Особое Присутствие Правительствующего Сената (ОППС). Именно через ОППС прошли знаменитые "массовые" процессы, связанные с народнической пропагандой, - процессы "пятидесяти", "ста девяносто трех"; именно ему в речи подсудимого Ипполита Мышкина была дана убийственная и во многом справедливая характеристика, которая ставила ОППС ниже дома терпимости: "Там женщины из-за нужды торгуют своим телом, здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью"...

В середине 1870-х годов смертные приговоры еще не практиковались, но общий дух политических процессов был таков, что из всех возможных мер наказания подсудимые почти всегда приговаривались к наиболее жестоким.

Распространена была так называемая административная ссылка. Хотя опять-таки из контекста судебных уставов следовало, что все политические дела должны решаться только по суду, на практике выходило иное: с 1871 года жандармские и полицейские офицеры на местах получили право не только арестовывать подозреваемых в совершении преступлений против власти, но и определять любому из них в качестве исправительной меры ссылку в места весьма отдаленные... Для осуществления этой меры на практике нужно было, правда, испросить через "особое совещание" министра юстиции и

шефа жандармов "высочайшее соизволение", то есть согласие царя, которое, как правило, давалось почти автоматически.

Поначалу бессудной ссылке подвергались десятки, затем сотни, а к концу 1870-х, по некоторым данным, счет пошел уже на тысячи. В административную ссылку обычно шли те, кого вообще невозможно было отдать под суд за отсутствием каких бы то ни было доказательств вины; в эту ссылку попадали по анонимным доносам, по ничем не обоснованным указаниям власть имущих - за неосторожно сказанное слово, за строптивый характер и просто "подозрительное" поведение. Нередко этой мерой "исправляли" судебные приговоры: так, из 90 человек, оправданных по процессу ста девяносто трех, 80 были тут же высланы административным порядком. Надо ли говорить, что подобная политика вызывала соответствующую реакцию среди тех, против кого она была направлена.

ТЕРРОР

"Отщепенцы" взялись за оружие... В январе 1878 года Вера Засулич в Петербурге стреляла в градоначальника Трепова, подвергнувшего телесному наказанию политического заключенного; в феврале в Киеве совершено неудачное покушение на товарища прокурора Котляревского; в мае убит глава Одесского жандармского управления Гейкинг. Борьба явно вступала в новую фазу.

Характерно, что не только сами революционеры, но и значительная часть общества восприняла эти первые, единичные террористические акты как справедливое возмездие наиболее ретивым исполнителям карательных "предначертаний власти". В столице после покушения на Трепова в ходу было такое четверостишие:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился Божий бич -
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь.

Присяжные же, суду которых в качестве редкого исключения было доверено дело Засулич, оправдали подсудимую по всем пунктам, то есть публично одобрили стрельбу по градоначальнику.

Чем-то вроде "бича Божия" считал себя, очевидно, Сергей Кравчинский, который в августе того же года, через день после казни народника Ковальского, заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева - среди бела дня, в самом центре Петербурга, на многолюдной площади перед Михайловским дворцом. Брошюра, написанная им в обоснование убийства, так и называлась: "Смерть за смерть".

"Террор созрел в долгие годы бесправия" - это замечание В. Г. Короленко как нельзя лучше определяет главную причину тех страшных кровавых событий, которые потрясли Россию на рубеже 1870 - 1880-х годов.

2 апреля 1879 года горькую чашу смертного ужаса пришлось испить самому царю: этот уже пожилой человек вынужден был несколько долгих минут бежать по Дворцовой площади, подобно зайцу бросаясь из стороны в сторону, чтобы уберечься от пули, - за ним, стреляя на ходу, гнался террорист... Из пяти выстрелов, произведенных Александром Соловьевым, ни один не попал в цель; пострадала лишь царская шинель. Но каково было это пережить! А самое главное - как теперь было жить дальше? Как управлять Россией?

Первые террористические акты застали власть врасплох. С грехом пополам справляясь с идеалистами, бродившими по деревням в поисках мифического мужика - "революционера по преимуществу", охранительные органы дрогнули при столкновении с противником, готовым отвечать на удар ударом. Всеподданнейший доклад преемника убитого Мезенцева, генерала Селиверстова, где должны были быть предложены конкретные меры по борьбе с террористами, звучал, как вопль отчаяния. Оказывалось, что органы политического сыска, еще недавно казавшиеся всемогущими, ничего не знают о тех,

кто выступил против власти с оружием в руках, и, более того, узнать почти не надеются. Полную неосведомленность в делах и планах подполья Селиверстов оправдывал ссылкой на авторитетное мнение своего заместителя, начальника III отделения Шульца, утверждавшего, что "агентов-сыщиков и вообще агентов в России невозможно найти"... Все, что мог предложить генерал, - это меры, так сказать, тотального характера: слежку за всеми приезжающими в Петербург и выезжающими из него, опросы всех столичных дворников о подозрительных лицах, повальные обыски и аресты этих подозрительных.

И хотя очевидно было, что подобным образом бороться с индивидуальным террором столь же разумно, как рыбацкой сетью ловить змей, власть в конце концов пошла именно по этому пути, очень быстро добравшись до чрезвычайного положения. 5 апреля 1879 года, через три дня после покушения Соловьева, в царском указе правительствующему сенату было заявлено о необходимости "прибегнуть к исключительным мерам": Россия в своей европейской части расчленялась на шесть временных генерал-губернаторств; лица, стоявшие во главе их, получали совершенно небывалые и невозможные в цивилизованном государстве полномочия; в полную зависимость от них попадали местные учреждения, учебные заведения, почта, телеграф - словом, в с е а, главное - личное достоинство, свобода и даже жизнь местных обывателей, поскольку генерал-губернатор мог любого из них своей властью не только засадить на неопределенный срок в кутузку, но и предать военному суду, от которого пощады ждать не приходилось.

Все эти действия власти производили жуткое впечатление. Сеть "исключительных мер" захватывала огромную массу случайных людей и среди них лишь очень немногих деятелей, действительно прикосновенных к подполью. В результате генерал-губернаторские подвиги ожесточили все общество в целом, а красный террор тем временем обретал свою идеологию и организационные формы, становился все более серьезной силой.

Во второй половине июня 1879 года в одной из рощ на окраине Воронежа собрались члены "Земли и воли" - новой организации со старым названием, созданной народниками в 1877 году с целью объединить разрозненные силы подполья. Вопрос о причинах постоянных неудач их настойчивой пропагандистской деятельности в деревне был, несомненно, главным, определяющим для землевольцев. И вот на съезде впервые со всей очевидностью выяснилось, что многие лидеры подполья решили для себя этот вопрос безоговорочно: нужен террор.

Ход рассуждений тех, кто требовал перейти к новым формам борьбы, был ясен и по-своему логичен. Прежде всего вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо добиться принципиальных перемен в государственном строе России, "дотянуть" страну до конституции, оттеснив от власти бюрократов. При этом, поскольку в массах "отщепенцы" никакой поддержки так и не нашли, им приходилось рассчитывать только на самих себя. Единственное же действительно радикальное средство, с помощью которого несколько десятков человек могут нанести поражение мощному бюрократическому аппарату, - террор. Из средства самозащиты террор превращался в главное орудие борьбы.

При всем том у сторонников борьбы за политические преобразования оказалось немало оппонентов, самым энергичным из которых был Г. В. Плеханов. Никакие конституции, по их мнению, не могли улучшить бедственного продолжения народных масс; террор же лишь отвлекал от главного дела - подготовки крестьянской революции. Споры между "деревенщиками" и "политиками"-террористами изначально были резкими и по сути непримиримыми. Правда, в Воронеже путем взаимных уступок удалось достичь компромисса, но это был худой мир; не прошло и двух месяцев, как противники перешли к доброй ссоре, - "Земля и воля" распалась на две самостоятельные организации. Одна из них - "Черный передел" - так незаметно и сошла на нет, лишний раз доказав своими неудачами, что у революционной пропаганды в деревне нет перспектив; зато другая - террористическая "Народная воля" - оставила по себе долгую память.

ВЕЛИКАЯ ПАНИКА

Осенью 1879 года в уездном городе Екатеринославской губернии Александровске появился новый обыватель - купец Черемисов, прибывший сюда с супругой с целью основать в сем граде кожевенный заводик. Купец в короткий срок очаровал новых сограждан широтой натуры и веселым покладистым характером: дружил с ними, пил, кутил, не забывая, впрочем, и о делах: на отведенной ему для завода участок земли потихоньку свозили строительные материалы, там постоянно копошились несколько пришлых, но уже примелькавшихся горожанам рабочих. И вдруг в одночасье все они - и супруги Черемисовы, и их рабочие - бесследно исчезли из города.

Через некоторое время, благодаря откровенным показаниям одного из случайно арестованных революционеров, выяснилось, что в Александровске "Народная воля" провела первое из череды неудавшихся покушений на царя. Под именем купца Черемисова скрывался один из главных вдохновителей и организаторов террора Андрей Желябов, роль его супруги играла Анна Якимова, рабочие тоже были свои - сочувствующие. В строительных материалах в Александровск, стоявший у железной дороги, террористы привезли динамит и под путями заложили мину. 18 ноября они предприняли попытку взорвать царский поезд, следовавший из Севастополя, - Желябов лично замкнул гальванической батареей концы проводников, идущих от заряда. Но мина не сработала.

Если об этом покушении власть узнала задним числом, то следующее, совершенное буквально на другой день, прогремело на всю Россию. "Кожевенный завод" в Александровске был, как оказалось, не единственным предприятием народолюбцев. Одновременно со строительными хлопотами купца Черемисова в Москве свое дело - лавку сыров - открыли супруги Сухоруковы (под их именами скрывались Софья Перовская и Лев Гартман); и находилась эта лавка в доме, расположенном у самой железной дороги все того же южного направления. Из дома был произведен подкоп под железнодорожное полотно, подложена мина, и 19 ноября поезд, в котором, по расчетам террористов, должен был находиться царь, пошел под откос. Оказалось, что Александр следовал раньше, в подорванном же поезде ехала царская свита, из которой во время крушения никто серьезно не пострадал. Тем не менее впечатление от этого дерзкого, оставшегося безнаказанным покушения (террористы и здесь, как и в Александровске, вовремя скрылись) было огромное.

После этого Александр получил передышку на несколько месяцев. 5 февраля 1880 года террористы произвели взрыв уже непосредственно в царской резиденции - Зимнем дворце. Александр, ожидавший прибытия знатного гостя, принца Гессенского, только что успел выйти ему навстречу, как зал, где членов императорского дома ожидал накрытый стол, был потрясен страшным грохотом, пол вздыбился и осел, вылетели оконные стекла... Взрыв пришел из подвального помещения и основной силой своей ударил все же не по приемному залу, а по находившемуся над ним караульному помещению - пострадала несшие караул солдаты Финляндского полка, среди них было несколько десятков убитых и раненых.

Расследование показало, что этот страшной силы взрыв был подготовлен и произведен агентом "Народной воли" Степаном Халтуриным, который с сентября 1879 года работал во дворце столяром-краснодеревщиком и, понемножку принося туда динамит, складывал его в подвале, с тем чтобы, выбрав удобный момент, уничтожить Александра, а по возможности и всю царскую семью. Арестовать Халтурина не удалось.

Так действовала "Народная воля". Ядро этой организации - так называемый исполнительный комитет - состояло из людей в высшей степени незаурядных: талантливых, умных, волевых. Александр Михайлов, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, поразительные женщины "Народной воли" Фигнер, Перовская, Гельфман - все они и многие другие делали честь российскому "отщепенству". Им впервые удалось создать организацию, казалась, невозможную для этих неприкаянных людей: максимально дисциплинированную, строго соблюдавшую правила конспирации, проникнутую духом согласия. Слившись в ней воедино, эти люди превратились в огромную силу, которую и посвящали "святому делу" - убийству старика в генеральском мундире, старика, которого по праву называли в стране Освободителем.

Поразительное это было время: казалось, вся Россия замерла словно в ступоре, в полной неподвижности, следя как завороченная за беспощадной схваткой с несколькими десятками загнанных в подполье “отщепенцев”.

КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО?

9 февраля 1880 года Александр объявил о создании Верховной распорядительной комиссии, глава которой получал по сути диктаторские полномочия. Идея создания подобного органа вышла из самых реакционных кругов, стремившихся собрать полицейские, карательные чины в один кулак и, используя все возможные средства, вплоть до самых исключительных, раздавить революционное движение. Однако во главе комиссии царь поставил человека, и мысли, и действия которого совсем не вписывались в эту погромную программу.

Михаил Тариевич Лорис-Меликов, талантливый военачальник и незаурядный администратор, был плоть от плоти той либеральной бюрократии, которая, сыграв немаловажную роль в деле подготовки и проведения в жизнь “великих реформ”, затем в тяжелые годы реакционного безвременья была почти начисто вытравлена из высших сфер. Лорис-Меликов твердо держался того убеждения, что единственное спасение для России - это вернуться на прежний путь, путь постепенных, последовательных преобразований, проводимых твердой рукой сверху, с высоты престола. Недаром в обществе, где очень скоро ощутили, насколько не похож новый глава правительства, обладавший исключительной властью, на своих предшественников, его восприняли как “бархатного диктатора”.

Лорис немедленно провел в жизнь ряд конкретных мер, несколько смягчавших произвол, царивший в России, и предложил Александру свой проект “конституции”, по которому в подготовке новых реформ должны были участвовать не только чиновники, но и представители земства и выборные от городов. Эти действия вызвали благожелательный отклик в обществе, заметно сгладив здесь недовольство внутренней политикой власти.

На подполье диктатор произвел совершенно иное впечатление: его программа ни в коей мере не удовлетворяла народovolьцев. Да и сам Лорис не собирался идти на компромиссы с революционерами, диктатор повел с ними совершенно беспощадную борьбу, которая к тому же была организована теперь значительно лучше.

Реформированный Лорисом сыск очень скоро показал когти. Во второй половине 1880 - начале 1881 года, отчасти благодаря возросшему профессионализму “сыскарей”, отчасти из-за целого ряда трагических случайностей, исполнительный комитет “Народной воли” понес тяжелые, невосполнимые потери: были арестованы его подлинные лидеры А. Михайлов, Желябов, Тригони, Колодкевич, Баранников. Окончательный разгром народovolьцев был, казалось, не за горами.

Утром 1 марта 1881 года царь выразил желание создать через несколько дней Совет министров для обсуждения проекта о “привлечении местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов по тем вопросам, которые признаны будут подлежащими ныне разрешению в видах развития и усовершенствования высочайше предначертанных преобразований”. Поскольку проект этот был полностью одобрен Александром, дальнейший ход не вызывал сомнений. Утром 1 марта петербургский градоначальник генерал Фролов, собрав у себя на квартире полицейские чины - среди них находился и полицеймейстер Дворжецкий, которому через некоторое время предстояло сопровождать царя в его воскресной поездке на развод войск, - сообщил им, “что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы и только остается захватить еще двух-трех человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолой...” Всесильный министр внутренних дел мог праздновать успех всех своих начинаний...

Утром того же дня народovolьцы - и немногие оставшиеся на свободе “стариканы”, и зеленая, необстрелянная молодежь - заняли свои, заранее распределенные места. Воскресный маршрут царя был изучен ими до тонкости. Михаил Фроленко отправился на Малую Садовую, в сырную лавку, из

которой был сделан подкоп на улицу, - в случае проезда царя он должен был привести в действие заложенное там взрывное устройство. Софья Перовская, руководившая четырьмя металлщиками, перекрыла царскому экипажу все остальные пути. Напрягая последние силы, исполнительный комитет сделал все, чтобы не дать в этот день царю ни одного шанса на спасение.

И вот свершилось... "Тяжелый кошмар, - вспоминала Фигнер, - на наших глазах давивший в течении десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников - все искупила эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России".

Сейчас эти строки читать тяжело и горько - ясно ощущаешь, сколь глубоко было то роковое подполье, которое поглотило столько сил, столько талантов, столько жизней...

Отдавшись целиком террору, посвятив себя одной "великой цели" - убийству царя, народовольцы утратили чувство реальности. Их безоглядная и беспощадная борьба с властью постепенно приобретала иррациональный характер: она во все большей степени велась под диктовку не разума, а одного из самых разрушительных чувств, которые владеют человеком, - ненависти. Наверное, именно это помогло исполнительному комитету - трем десяткам человек - добиться невозможного: внушить верхам ощущение кризиса, заставить их пойти на уступки... Но та же причина привела в конце концов и к катастрофе на Екатерининском канале, последствия которой ни в коей мере не соответствовали радужным мечтам террористов: их ждали еще более жуткие, нежели прежде, "ужасы тюрьмы и ссылки"; Россия же обрекалась на многолетнюю полосу томительной, беспросветной реакции. И все же, наверное, не в этом был самый страшный итог эпохи Александра II, эпохи радужных надежд и безнадежных разочарований.

К ПРОПАСТИ

Еще не придя в себя от шока, вызванного 1 марта, власть поспешила организовать следствие, судебный процесс и - как их естественный и неизбежный результат - смертную казнь всех причастных к убийству на Екатерининском канале. С чисто практической стороны все эти процедуры были не слишком сложными; с моральной - они не вызывали у представителей власти ни малейших сомнений. Единственный в своем роде призыв Владимира Соловьева к новому царю - разорвать порочный "кровавый круг", встать выше мести, выше борьбы, ближе к Христу - был воспринят сыном убитого, Александром III, как проявление психопатии.

Противостоящая сторона отвечала власти взаимным чувством такой же силы. Вот любопытнейшие строки из "Истории моего современника" В. Г. Короленко - одного из тех, до сих пор не оцененных нами работников, которые на протяжении всей своей жизни, без надрыва и истерик, в меру своих сил и способностей пытались сделать Россию более культурной, более цивилизованной страной. Короленко вспоминал, как, узнав о смерти Александра, в ссылке, "среди пустынных и холодных берегов Лены", он начал сочинять поэму в прозе: "Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о далекой трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга. Когда-то одна правда, хоть в разное время, светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах. И две тени говорят о том, как разыскать ее..."

Подобная позиция для представителя радикального лагеря, для ссыльного, причем сосланного явно несправедливо, - совершенно уникальна; очевидно, что автор подобных строк органически не способен был стать "отщепенцем". Тем более характерно их продолжение: "Это было очень наивно, и поэма кончилась применением какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки: "Господи боже, какой дикий бред! А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом..."

Как безжалостно сравила эпоха две силы, которым, казалось бы, сам Бог велел стремиться к максимальному взаимопониманию! И свернув с пути преобразований, с единственного пути, на котором власть и интеллигенция могли найти общий язык, Россия и впрямь двинулась в бездорожье; изуродованный труп царя был первым, страшным предупреждением о том, к какой пропасти она бредет, - предостережением, которого почти никто из ратоборцев двух противостоящих лагерей не принял на свой счет.



О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ

Единственная печатная дискуссия (как всегда в наших широтах, выдержанная почти в непечатных выражениях), в которую я ввязался, была дискуссия по предложению редакции журнала "Родина". Хотел я было для полной ясности привести в сборнике текст первой, исходной статьи Н. А. Троицкого⁴², но потом решил, что это лишнее. Содержание ее я достаточно полно передаю в своем, по меткому и остроумному выражению моего оппонента, "опусе"; о стиле Н. А. Троицкого читатель может судить по его письму, приведенному в сноске после текста. Это письмо Н. А. Троицкий прислал в редакцию "Родины" в ответ на мою статью, со страшной угрозой опубликовать его в Саратове, если оно не будет опубликовано в Москве. Поскольку редакция потеряла интерес к дискуссии, Н. А. Троицкий свою угрозу добросовестно выполнил.⁴³ Письмо я привожу здесь с удовольствием и без всяких комментариев - как характернейший для советской исторической науки образец шельмования под видом дискуссии.

Готовя сборник к печати, я узнал, что эта ползу забытая мной история получила неожиданное продолжение. Наше с Троицким столкновение оказалось в центре внимания научной общественности⁴⁴, хотя, право же, на мой взгляд, оно того не стоило.

И последнее. Редакция "Родины" то ли в целях сокращения объема статей, то ли из каких-то неведомых мне высших соображений текст здорово искромсала - и мой, и Троицкого. В частности, были изменены названия обеих статей. Первоначальное название статьи Н. А. Троицкого - "Народолюбцы и тираноборцы" (в "Родине" - "Друзья народа или бесы?"); моя статья "О знаках препинания" в публикации получила дурацкое название "Бомбисты", на что в своем письме справедливо сетует Н. А. Троицкий. Естественно, что я восстанавливаю и первоначальное название, и первоначальный текст.

Суть статьи Н. А. Троицкого прекрасно выражена в самом ее начале, - в названии и первых строках. "Народолюбцы и тираноборцы" - несколько лет назад, пишет автор, "после таких слов применительно к народникам 1870-х можно было ставить восклицательный знак. Теперь требуется вопросительный..." Весь пафос статьи в том и заключается, чтобы знак, выражающий сомнение, вновь заметить знаком, свидетельствующим о безудержном восторге.

Не скрою, мне такая позиция претит в принципе. Роль вопросительного знака в науке истории, несомненно, значительна, более того, почетна. От восклицательного же я - не знаю, как читатели - давно устал. Устал от их изобилия в советских монографиях и учебной литературе; да и в нынешних разнообразных исторических и квазиисторических изданиях их ничуть не меньше; пожалуй, еще и прибавилось. Более того, восклицания настолько преобладают, что вопросу, сомнению, рефлексии вообще не осталось места. Ведь и уважаемый автор борется отнюдь не с вопросительной, а с ярко выраженной восклицательной позицией. Только восторги и негодование в ней выражаются не там, где ему хотелось бы.

Воззрения своих оппонентов Н. А. Троицкий воссоздает следующим образом: революционные народники были не "народолюбцами и тираноборцами", а злодеями, действовавшими во имя собственных честолюбивых замыслов. Террор для них являлся единственным реальным средством борьбы с властью. Они преследовали и умертвили благородного царя-Освободителя, что, естественно, ни к чему хорошему не привело... Подобную позицию, по мнению Н. А. Троицкого, защищает теплая компания, в которую он включает "царского карателя" генерала П. Н. Краснова, опубликовавшего в 1938 году в Париже роман "Цареубийцы", авторские коллективы ряда современных учебных пособий и вашего покорного слугу, удостоенного этой чести за небольшую статью "Конец реформатора". Сноски, впрочем, идут почти исключительно на "карателя".⁴⁵ Всем прочим полный отлуп дается по-нашему, по-советски: в одной подстрочной сноске, с обобщающей характеристикой, как авторов, сочетающих в своей оценке народничества "обывательское неведение и охранительное пристрастие".

Поскольку из участников этого свального греха поименно названы только мы с генералом, заинтересованная редакция журнала "Родина" обратилась за разъяснениями именно ко мне, ведь П. Н. Краснов, повешенный в 78-летнем возрасте по приговору советского суда, разъяснить уже ничего не может... Сразу же должен решительно отмежеваться: за авторские коллективы я не ответчик, но мне генеральская позиция представляется неверной. Чужда она мне. Народников - "миракобесами", а Александра II - "дивно прекрасным самодержцем" я никогда не считал. Поскольку выходные данные моей статьи приведены Н. А. Троицким правильно - и на том спасибо, каждый желающий может легко убедиться, что мне присуще максимум "обывательское неведение"; от "охранительных тенденций" я, ей-богу, чист. Это какое-то недоразумение.

Подобной констатацией общей прогрессивности своих воззрений можно было бы и ограничиться. Но дело в том, что позиция самого Н. А. Троицкого представляется мне совершенно неудовлетворительной - ничем не лучше генеральской. Более того, они вполне сопоставимы, как сопоставим любой предмет со своим зеркальным отражением. При этом обе точки зрения архаичны: одна действительно родилась в охранительных кругах пореформенной России, потрясенных революционным движением; другая восходит к революционному подполью того же времени. Но те взаимные обвинения, те убийственные характеристики, которые понятны и, наверное, простительны для противоборствующих сторон, сошедшихся в смертельной схватке, странно выглядят на страницах более поздних художественных произведений. Тут и к "карatelю" - романтисту довоенной поры можно предъявить претензии. Ну, а о современном историке, тем более постоянно оперирующем такими понятиями, как "цивилизованность" и "нецивилизованность", и говорить не приходится... Ну, сколько же можно играть в решку монеткой, на одной стороне которой отчеканена "стая кровожадных зверей", терзающих "благороднейшего человека и самодержца", на другой - "рыцари без страха и упрека", сражающиеся с "кровавым деспотом", с "Вешателем" (цитирую Н. А. Троицкого). Тут не скажешь, какая концепция лучше, - обе хуже. И на любезное приглашение редакции журнала высказаться по этому поводу я согласился лишь потому, что чувствую насущную потребность хоть в некоторой степени восстановить честь и достоинство - даже не Александра II, хотя его характеристика Н. А. Троицким, право, стоит в своем роде красновских "косматых евреек" и "кровожадных зверей", - а вопросительного знака как такового. Хочется попробовать хоть немного сбить волну восторгов и обличений рефлексией, право же, в нашем ремесле совершенно необходимой.

Итак, вопрос первый - о "тираноборстве", точнее, о самом "тиране". Александр II в изображении Н. А. Троицкого - символ зла. Весь в крови - с головы до пят. Тут так же, как и во многом другом, Н. А. Троицкий воспроизводит точку зрения своих героев - цареубийц, причем иногда, даже в этом ракурсе, перебарщивает: "... за всю историю России от Петра I до Николая II не было столь кровавого самодержца, как Александр II Освободитель". Оставим за скобками чудовищную несправедливость этого утверждения: не будем подсчитывать, сколько трупов легло в болота, в которых Петр возводил свою новую столицу; сколько народу было посечено и повешено при правлении Екатерины II и т. п. Дело сейчас не в этом. Действительно, ведь большая часть царствования Александра II - время жестокой реакции. Действительно, на его совести много загубленных жизней и поломанных судеб, - а тем и тяжела царская доля, что помазанник Божий несет ответственность за каждую живую душу в своей державе. Против этого не поспоришь. Ну вот ведь парадокс: Александр II был добрым, мягким, благородным человеком... И кроме того, Александр II был реформатором... Я представляю, какую реакцию у моего оппонента могут вызвать эти утверждения - первое, во всяком случае; со вторым ведь не поспоришь: вот они, "охранительные тенденции", взвыли, не скроешь! Но почему, спрошу я, "чарующую личность" или "выдающийся интеллект" цареубийц воспевают прямо-таки предписывается, а о несомненных достоинствах и заслугах убитого и слова сказать нельзя? Ведь за царским именем, простите за банальность, тоже живой человек стоит, со своей непростой судьбой, со своими взлетами и падениями, а не истукан, которого, в зависимости от убеждений, можно то сусальным золотом покрывать, то дегтем мазать. Тем более странно это выглядит сейчас, когда после очень долгого перерыва появилась наконец возможность спокойно разобраться в том, в чем раньше разбираться

было запрещено. И хоть и редко, и небольшими тиражами, но выходят все-таки работы серьезных исследователей, посвященные царской судьбе...

Сошлюсь на два недавних очерка: Л. Г. Захаровой "Александр II"⁴⁶ и В. Г. Чернухи "Великий реформатор и великомученик" (каково название! - извиняюсь за восклицательный...)⁴⁷. Оба автора компетентнейшие исследователи реформ и пореформенной эпохи; заподозрить же их в "охранительных тенденциях", познакомившись с их книгами или, тем более, имея возможность личного общения с ними, может только человек, очень неадекватно воспринимающий действительность, уверен, что Н. А. Троицкий со мной согласится.

Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь, что оба автора - Л. Г. Захарова более сдержанно и взвешенно, а В. Г. Чернуха с нескрываемой симпатией к своему герою - развернуто и ясно показывают, какую напряженную внутреннюю борьбу пришлось пережить Александру II, убежденному консерватору, прежде чем он, во имя государственных интересов, решился на отмену крепостного права; какую борьбу, не менее напряженную, но уже совсем другого, внутривластного характера, пришлось вести царю с крепостниками, составляющими подавляющее большинство и в его окружении, и в среде поместного дворянства в целом; какие, наконец, сложные, почти непосильные задачи поставил перед ним ход событий в пореформенной России. И не так уж важно, что Л. Г. Захарова считает Александра реформатором поневоле, "в силу обстоятельств", отказывая ему в "способностях и достоинствах крупного государственного деятеля", а В. Г. Чернуха называет царя Великим реформатором. При всех различиях в своих оценках оба автора глубоко ощущают сами и умело передают читателям *сложность* этой эпохи, *трагизм* этой личности, взвалившей на свои плечи небывалое на Руси дело - крестьян освобождать, которых до того три с половиной столетия подряд, как гвозди в доску, в землю вколачивали... А Н. А. Троицкий все эти очевидные, с его точки зрения, "сантименты" убивает одной фразой: "...К концу 70-х годов царь, в свое время освободивший от крепостной неволи крестьян (хоть и ограбив их), снискал себе уже новое титуло: *Вешатель* (вместо старого - Освободитель - А. Л.)". Такая вот история: сперва освободил, а потом стал вешать, расстреливать, "топить в крови"... Любому непредубежденный читатель неизбежно, по-моему, должен задаться либо вопросом: "Почему же сей злодей крестьян освободил?", либо: "С чего же это Освободитель так озверел?" И не знаю, как читателю, а мне ответ, хоть и не высказанный автором, давно известен, еще со школьной скамьи: он в априорном сведении понятия "самодержец" к понятию "злодей", в десятилетиями вколачивавшемся убеждении, что царь может пойти на реформы только с очень большого испугу... И пусть существует множество дневников, воспоминаний и писем, в том числе и писем самого Александра, рисующих его человеком, может быть, не очень мудрым и не очень последовательным, но несомненно искренним, добрым и, главное, глубоко озабоченным положением России, более того, буквально придавленным, иной раз, чувством ответственности за ее судьбу. Все это Н. А. Троицкого совершенно не интересует. Если он и заимствует что-либо из подобных источников, то лишь то, что соответствует его взглядам на злодея-самодержца - свидетельство его явной и, на мой взгляд, вполне естественной нелюбви к своим потенциальным убийцам...

Повторяю, я не собираюсь отрицать того, что очевидно: жесткости, более того, жестокости режима Александра II в 1870-ые годы, - одна административная высылка чего стоила... (Да, к слову, и в "Конце реформатора" я писал об этом довольно подробно). Но еще раз хочу обратить внимание на сложность и трагизм этого процесса, который начался освобождением миллионов крепостных, а закончился через двадцать лет изуверным царским трупом, виселицами и многолетней реакцией... Во всем этом разбираться и разбираться, работы здесь непочатый край; те очерки, о которых говорилось выше, всего лишь начало серьезной и необходимой переоценки ценностей. В том, кстати, их прелесть и состоит, что с иными соображениями уважаемых авторов можно и не соглашаться, восприняв их как не вполне ясные или спорные, - в любом случае путь к исследованию открыт, вопросы поставлены! Статья же Н. А. Троицкого этот путь, увы, перекрывает наглухо: ведь все же абсолютно ясно - Герои убили Вешателя. Чего же тут исследовать? Тут требуется нечто совсем иное: Вешателя - проклясть! Героев - восславить!

Свои сомнения в отношении проклятий я уже высказал. Теперь о главном - о Героях - "народолюбцах" и связанных с ними восторгах. Здесь, каюсь, у меня сомнений еще больше. Начнем с главного, хотя оно носит характер внеисторической и потому, возможно, в данном случае не вполне корректно. И все же я его выскажу: я принадлежу к той чрезвычайно многочисленной категории людей, которая в принципе не приемлет террор в качестве средства политической борьбы. И не только по соображениям чисто морального характера, хотя они, конечно, играют первостепенную роль. Но еще и потому, что террор в конечном итоге никогда не приносит успеха. Помнится, Сименон писал, что все убийцы люди весьма ограниченные: они надеются посредством убийства решить свои проблемы, а вместо этого ставят перед собой новые, причем куда более сложные. На мой взгляд, точнее не скажешь; и к интересующей нас ситуации это соображение имеет непосредственное отношение.

Обратимся, однако, непосредственно к интересующим нас проблемам. Обличая своих оппонентов, извращающих теорию и практику революционных народников, Н. А. Троицкий приписывает им следующий прием (именно приписывает, потому что в данном случае сноска в статье нет вообще, даже на спасительного "Карателя"): "Делается это так. Историки и (главным образом) публицисты цитируют прокламацию П. Г. Зичневского "Молодая Россия" 1862 г. и Катехизис революционера С. Г. Нечаева 1869 г. как документы *типичные* для народничества, а нечаевщину выдают за уродство, якобы органически свойственное народническому движению..." Рассматривать вышеназванные явления, как типичные для народничества, не приходится, этим, наверное, и впрямь грешат, "главным образом", некие таинственные публицисты. А вот насчет того, насколько нечаевщина и прочая подобная бесовщина неорганичны, искони чужды революционному движению в целом и народничеству в частности, об этом и историкам-профессионалам не грех поразмыслить...

Мне представляется, что между якобинством Зичневского, нечаевщиной, хождением в народ, "Народной волей" и многими прочими явлениями революционного движения пореформенной России каких-то глухих непроходимых границ просто не существует. По одной причине: во всех этих явлениях действующим лицом имеет место быть интеллигент-разночинец... Ясное дело, каждый конкретный герой конкретных событий обладает массой своих, иной раз весьма ярких индивидуальных черт: Чернышевского не спутаешь с Нечаевым, оба они совершенно не похожи на Желябова и т. п. И тем не менее всякий раз, обращаясь к этой эпохе, в каждом ее деятеле разночинской формации ощущаешь что-то неизбыточно общее, типичное, начиная от манеры писать письма и кончая важнейшими мировоззренческими чертами. О разночинской интеллигенции, как особом историческом явлении, много писали *до* советской исторической науки и *вне* советской исторической науки; в *ней* же самой и, очевидно, по инерции *после* нее такие темы были и остались непопулярными. Анализ у нас до сих пор решительно довлеет над синтезом: мы упорно изучаем шести-семи-восми - прочих-десятников; выясняем видовые отличия между марксистами и народниками, родовые между экономистами и легальными марксистами; до мелочей вникаем в подробности программ и уставов мелких организаций и мельчайших кружков... Все это, конечно же, совершенно необходимо, но при одном непременном условии: если целое не разваливается при этом на составные части, если отдельные деревья не закрывают перед нами леса.

Впрочем, наиболее характерные черты разночинной интеллигенции были, на мой взгляд, достаточно хорошо уловлены чуткими наблюдателями уже в начале XX века, когда пришло время подводить промежуточный итог ее многотрудной и полезной деятельности... Уже тогда подчеркивалась внесословность интеллигенции, возникавшая вследствие полного отрыва от корней, принципиального отказа от устоев, традиций своих отцов и дедов. Вследствие образовавшегося при этом духовного вакуума интеллигенция оказывалась падкой на новые идеи, теории, учения, причем проявленный интерес и усвояемость здесь были прямо пропорциональны радикализму проповедуемой доктрины. Все это вместе взятое порождало у представителей новой социальной общности два противоположных и в то же время органично сочетавшихся друг с другом ощущения: с одной стороны, интеллигенты чувствовали себя чужими, социальными изгоями в стране с четко отлаженным сословным строем; с другой - ощущали себя избранными на великие дела. Комплекс неполноценности, как известно, почти всегда компенсируется комплексом превосходства...

Так вот, повторяю, при всех многочисленных индивидуальных и партийных различиях, как положительных, так и отрицательных, героев статьи Н.А. Троицкого многое роднит. И прежде всего - общие идеи. И Нечаев со товарищи и его оппоненты-народники начала 1870-х мечтали о торжестве социализма в России. Методы водворения этого строя в России были у них различны, более того, как справедливо пишет Н.А. Троицкий, "революционно-народническое движение 70-х годов начиналось под негативным воздействием нечаевщины"; нечаевщина отвращала, от нее отталкивались. При этом совершенно очевидны причины диаметрально противоположного подхода к решению проблемы "социализма в России".

Нечаев русский народ почти откровенно презирал - так же, впрочем, как и все остальное человечество, - в созидательные возможности его не верил и собирался осчастливить насильно. Отсюда и планы его по максимально сплоченной и дисциплинированной организации манипуляторов-единомышленников, для которых все средства будут хороши: террор, разбой, поджоги, пьяные бунты, провокации и пр.

Народники же начала 1870-х, как пишет Н. А. Троицкий, народу, т. е. крестьянству, "буквально поклонялись", свято полагались на его "разум и волю". Их одушевляла теплая вера в то, что русский мужик-общинник по духу давно уже социалист; нужно лишь подтолкнуть его, помочь ему преодолеть внешние препятствия. При условии огромного преобладания крестьянства над всеми остальными слоями населения и относительной, как казалось, слабости карательного аппарата государственной власти социализм в России рассчитывали ввести малой кровью и в короткие сроки... Отсюда и отказ от "конспирации и организаций", полная независимость отдельных кружков и духовная автономия их членов; отсюда и открытость по отношению к крестьянам, стремление побудить их на сознательные действия.

Все так. И поначалу противопоставление, которое последовательно проводит Н. А. Троицкий, выглядит весьма убедительно и эффектно: добро и зло, свет и тьма, народничество и нечаевщина... Но следуя за автором, попытаемся восстановить ход событий в 1870-х и понять его логику. 1874 г. - "народолюбцы" двинулись в обожаемый ими народ поднимать его "на борьбу за свободу". Как же отнеслось крестьянство к призывам людей, свято полагавшихся на его "разум и волю"? Автор пишет - по-разному; мне кажется - однозначно. В самом деле, какая принципиальная разница в том, что одни крестьяне, по словам самого Н. А. Троицкого, "с интересом прислушивались", но "оставались глухи к призывам", а другие выдавали "слишком рьяных пропагандистов" властям? Если исходить из цели, которую ставили перед собой "ходебщики", то разницы никакой: поднять крестьян на "борьбу за свободу" оказалось невозможным. Никаких результатов в этом деле не достигли и их продолжатели, пропагандисты середины 1870-х, создавшие единую организацию "Земля и воля". Неудача была полная, сокрушительная.

Исключения здесь лишь подтвердили правило. Знаменитое Чигиринское дело, например, когда крестьян удалось распропагандировать, действуя от царского имени по подложной "грамоте", якобы подписанной Александром II. Или поездка Г. И. Успенского по подмосковным деревням под видом "царевича", устроенная неким Григорьевым, утверждавшим, что иначе "дела не сделаешь...", "царевич" произвел-таки впечатление... Или из ряда вон выходящий успех среди крестьян Е. К. Брешко-Брешковской, впоследствии знаменитой "бабушки русской революции", а в те годы молоденькой пропагандистки; впоследствии она с ужасом узнала, что ее принимали то ли за царскую сестру, то ли за царскую дочь...

Нечаев, несомненно, подобные "эксперименты" только приветствовал бы; за подобные недоразумения был бы судьбе благодарен, старался бы использовать их максимально. Подавляющее большинство пропагандистов-народников, к их чести, оказались выше подобного соблазна. Но тем более остро вставал для них вопрос о причинах неудачи. Отрицая нечаевское отношение к народу, как к быдлу, которое можно гнать в любом направлении, они, казалось бы, должны были в то же время подвергнуть переоценке и свое собственное "обожание" народа. Ведь несколько лет усиленной пропагандистской работы ясно показали, что за социалистические идеалы крестьяне в бой не пойдут.

Тем более, в 1870-х годах в печати постепенно начинают появляться произведения, упорно на подобные размышления наводившие: "Письма из деревни" А. Н. Энгельгардта, очерки Г. И. Успенского... Их авторы, щедро наделенные и умом, и чуткостью, и талантом, пользовавшиеся немалым авторитетом в среде разночинной интеллигенции, на мой взгляд, на редкость убедительно показали, насколько сложна и противоречива натура русского мужика-земледелца, как далека она от того идеального образа общинника-коллективиста, который, собственно, и "обожали" революционеры-народники. Тут было над чем задуматься.

Однако наши герои задумываться над этим не стали. Поразительно, с каким упорством они не желали принимать во внимание ни печальные результаты собственной практической деятельности, ни наблюдения и размышления людей, явно такого внимания достойных. Хорошо известно, какой разнос учинила тому же Г. И. Успенскому Вера Фигнер за "неверное и противоречивое" изображение крестьянства. Бедный Глеб Иванович, органически не способный не только покривить душой, но и хотя бы умолчать о том, что считал истиной, только приговаривал: "Вот подавай Вере Николаевне шоколадного мужика... А где я его возьму?"

В сущности, этот вопрос вопросов, от которого зависело все будущее их движения, революционеры просто обошли. Всю ответственность за свою неудачу они возложили на правительство, которое не дало им возможности как следует развернуться... Повторю, что, конечно же, царское правительство действовало максимально жестко, зачастую глупо и неоправданно, и это в какой-то степени объясняет ход рассуждений революционеров, но ни в коей степени не делает его логичнее. Тем более это можно сказать о современном историке, который полностью солидаризуется со своими героями. Право же, иногда возникает ощущение, что статью писал чудом доживший до наших дней член Исполнительного Комитета "Народной воли"... Ведь сам же Н.А. Троицкий ненароком, должно быть, фиксирует главную причину всех революционных неудач: "крестьянский иммунитет к самой идее революции". Но коли так, выводы напрашиваются сами собой: если народ твоих идей не принимает, надо отказываться либо от них, либо от названия "народник". В последнем же случае путь один - нечаевский: насильственное навязывание народу своих идей, поднадзорное этапирование его в светлое будущее. Только так. Альтернатив здесь нет, хотя, конечно же, конвой может быть экипирован по-разному...

Что же касается репрессий, то революционеры начала 1870-х должны были, наверное, отдавать себе отчет, на что они идут и с кем вступают в сражение. Именно в сражение - а то из статьи Н. А. Троицкого можно извлечь и такой вывод: озверелое самодержавие громило неких энтузиастов-просветителей. Энтузиасты-просветители тогда в России действительно были, хотя их и не очень хватало, но они по земским школам филиппков обучали, и не "хитрой механике", а просто грамоте; книги для народа печатали, сельскохозяйственные выставки по губерниям устраивали... Эта была будничная, кропотливая работа на десятилетия, на поколения рассчитанная, причем конечные результаты ее в плане социального переустройства были абсолютно непредсказуемы. Ясно лишь, что в ходе ее в России постепенно становилось бы все больше грамотных, развивалось бы книгопечатание, постепенно преодолевалась бы вековая рутина сельского хозяйства и т. п.

Возможно, что и до относительного благополучия дожили бы и до конституции доросли бы... когда-нибудь. Но революционерам-то нужно социализм водворять в России, причем немедленно! И в народ все они без исключения шли с одной целью уничтожить существующий строй; а мытьем ли (немедленным бунтом) или катаньем (бунтом после соответствующей пропагандистской подготовки), для царской власти, я думаю, разница была небольшая. Конечно, по европейским меркам цивилизованными действия царской власти не назовешь, но ведь и бунты в Европе тоже не приветствовались...

Как бы то ни было, одна часть революционеров-народников вообще не стала разбираться в причинах неудач и продолжала биться лбом о вышеназванный "иммунитет к идее революции", по-прежнему мечтая осчастливить крестьян их собственными руками ("Черный передел"). Другая же, приняв второстепенную причину за главную, пошла иным путем ("Народная воля")...

Народовольцы и есть истинные герои статьи Н. А. Троицкого. Те страницы ее, которые посвящены деятельности "Народной воли", написаны с вполне понятным пафосом, о народовольцах трудно писать

равнодушно. Но впечатление они, на мой взгляд, производят двойственное... Прежде всего, с одной стороны, автор усиленно доказывает, что террор в деятельности "Народной воли" играл роль самую второстепенную; ругает тех, кто называл и называет народovolьцев террористами, за искажение их облика и т. д., то есть явно осознает, что ничего хорошего в терроре нет и гордиться здесь особо нечем. С другой, и сами террористы (члены Исполнительного Комитета), и их деятельность описываются Н. А. Троицким с явным, нескрываемым восторгом и преклонением. Впрочем, это личное дело автора - чем ему восторгаться и на что негодовать. Но восторги, равно как и негодование, никогда не проходят исследователю даром; они неизбежно застилают ему глаза; заставляют исказить логику рассуждений, а нередко и истину...

Я осознаю, насколько серьезно выглядит подобное заявление, и все-таки вынужден его сделать. Меня поражает, более того, возмущает безапелляционная манера Н. А. Троицкого истиной в последней инстанции объявлять то, что в лучшем случае нуждается в самых серьезных оговорках, а нередко и просто несправедливо по существу. Начнем с программных установок "Народной воли". Действительно, и в опубликованной в подпольной печати "Программе Исполнительного Комитета", и в секретной инструкции "Подготовительная работа партии" террор не объявлялся ни главным, ни тем более исключительным методом борьбы. Речь шла о *политическом перевороте*, во имя которого предлагалось создать сеть тайных обществ по всей России, добиться влиятельного положения и связей в администрации, войске, обществе и народе. У меня - да и не только у меня - возникают сомнения, насколько предполагавшийся переворот в понимании самих народovolьцев был адекватен тому, что Н. А. Троицкий называет "народной революцией". Я совершенно согласен с В. Н. Гиневым и А. Н. Цамутали, которые пишут: "Что касается народа, то ему отводилась роль важной, но все же вспомогательной силы. "Главная задача партии в народе подготовить его *содействие* перевороту" - говорилось в Программе ЦК".⁴⁸ При этом из понятия "народ", судя по всему, исключалась его главная и основная часть - крестьянство, ради которого все и затевалось... От массовой пропаганды в крестьянской среде народovolьцы практически отказывались; предлагалось лишь "сходиться с лучшими из крестьян, обращая их по возможности в сознательных сторонников партии".⁴⁹ Характерно, что в "подготовительной работе партии" народный бунт был отнесен к "благоприятным условиям для восстания" - возможным, но маловероятным - наряду с неудачной войной, государственным банкротством и другими катаклизмами, инициатива которых от народovolьцев никоим образом не зависела. Недаром членам организации предлагалось готовиться к восстанию в "условиях неблагоприятных": "Партия должна иметь силы создать сама себе (разрядка моя - А. Л.) благоприятный момент действия, начать дело и довести его до конца. Искусно выполненная система террористических мероприятий, одновременно уничтожающих 10-15 человек - столпов современного правительства, приведет правительство в панику... и в то же время возбудит народные массы для нападения". Из дальнейшего следует, что под "народными массами" подразумеваются "сколько-нибудь значительные массы рабочих и пр.". Под "пр.", в свою очередь, мог подразумеваться кто угодно, только не крестьяне, поскольку речь шла об овладении "главнейшими правительственными учреждениями". После захвата власти на короткий срок должно было быть создано Временное правительство, перед которым ставилась цель - сделать все для немедленного созыва Учредительного собрания. В одном из номеров подпольной "Народной воли" выражалась уверенность, что в этом собрании будет "90% депутатов от крестьян и, если предположить, что наша партия действует с достаточной ловкостью, - от партии". Далее ставился вопрос: "Что может постановить такое собрание?" Ответ давался вполне оптимистический: "В высшей степени вероятно, что оно дало бы нам полный переворот всех наших экономических и государственных отношений".⁵⁰

Ну так вот, давайте предположим, что все пошло бы как по писанному: политический переворот без крестьян, но, как предполагалось, для крестьян совершился. Учредительное собрание, в котором 90% от этих самых облагодетельствованных крестьян, собралось. Предполагается, что это крестьянское собрание торжественно провозгласит анафему самодержавию и водворит в России социалистический строй. А если нет? Если предположения народovolьцев вызовут у крестьянских депутатов такое же неприятие, как и вся предшествующая пропаганда? Ну что тогда будут делать переворотчики - "народолюбцы"? Я

понимаю, что Н. А. Троицкому, свято верящему в полную адекватность народнических программ и крестьянских чаяний, сам по себе подобный вопрос должен показаться кощунственным. Но я все-таки, в свете всего вышеизложенного, его дам и обращу внимание на то, что крестьян имелось ввиду собрать не для того, чтобы выслушать, чего они хотят: заранее декларировался "полный переворот"...

Правда, в знаменитом ультимативном письме, написанном после убийства Александра II и адресованном его сыну, новому царю Александру III, Исполнительный Комитет, в случае созыва учредительного собрания, обещал подчиниться "воле народа", выраженной его представителями. Вера Фигнер в своих воспоминаниях поясняет: "...Смысл этого обещания был в том, что в случае, если бы народное представительство не оправдало надежд революционной партии, оно обратилось бы не к насилию над ним, не к террору, а к пропаганде своих идей в народе, оказавшемся не на высоте положения".⁵¹

Вам верится? Мне нет... Хотя бы из-за этого характерного "народ, оказавшийся не на высоте положения..." Не слишком ли велик был бы соблазн у "переворотчиков" одним махом водрузить этот неразумный народ на надлежащую высоту? В Исполнительном Комитете были люди, подобные М. Н. Ошаниной, не скрывавшие своей убежденности в том, что во имя подобной цели можно и пушками воспользоваться... Выдержали бы искус прочие "народолюбцы"? В. Г. Короленко в "Истории моего современника" приводит поразительный диалог, свидетелем которого он был в ссылке. Участники диалога - решительный противник всякой "политики" народник М. Н. Рогачев и член Исполнительного Комитета А. И. Зунделевич. "Скажите, Зунделевич, - спросил он (Рогачев - А. Л.), - что вы имели в виду, посылая на жизнь царя, которого весь народ еще признавал своим освободителем?"

На этот вопрос, поставленный в упор, Зунделевич несколько смешался. Очевидно, готового ответа у него не было.

"Мы думали, - ответил он, - что это произведет мощный толчок, который освободит присущие народу силы и послужит началом социальной революции". Ну, а если бы этого не случилось, и народ социальной революции не произвел... как и вышло в действительности... Тогда что?

Зунделевич задумался, как бы в колебании, и потом ответил: "Тогда... тогда мы думали... принудить".⁵² В ответ на это, вспоминает Короленко, Рогачев захохотал "искренне и звонко". Ему, народнику "старой формации", казалась нелепой сама мысль, что народ можно принудить к "социальной революции". В конце XX века подобные идеи вызывают уже не смех, а совсем иные чувства... Нет, кто его знает, что было бы, если бы у народовольцев все пошло по писанному...

Однако по писанному, как известно, не пошло. Хотя, виноват, Н. А. Троицкому это неизвестно. Из его статьи следует, что народовольцам как будто вполне удалось осуществить свою программу; странно вот только, что вождельный переворот так и не совершился... Опровергая террористический характер "Народной воли", автор заявляет: это была обширная организация, за участие в ней подверглись арестам почти 8 тысяч человек, которые вели пропагандистскую агитационную и организаторскую работу во всех слоях населения России от крестьянских "низов" до чиновных "верхов". Террор же был делом рук трех с небольшим десятков членов Исполнительного Комитета, "да нескольких сменявшихся друг друга метальщиков, техников, наблюдателей". И далее: "Таков был удельный вес террора в практике "Народной воли" - т. е. надо понимать, 30 : 8000 = 0, 00375..."

Я не знаю, на кого рассчитаны подобные рассуждения. Ну, предположим, человек вроде меня находится в "обывательском неведении". Но если у него при этом хоть отчасти работает логика, он неизбежно задаст вопрос: к чему тогда, вообще, огород городить? К чему на многих страницах воспевать эту 0,00-ую... часть огромного целого? Надо говорить об основном, о главном. Однако восьми тысячам Н. А. Троицкий посвящает один абзац - фиксирует: были, мол, эти тысячи, действовали... Трем десяткам же - большую часть статьи с подробным описанием и личных их качеств, и разнообразных их предприятий.

И это, увы, суровая неизбежность: писать-то о восьми тысячах почти нечего... То есть писать надо и надо разбираться, но не столько в том, какую роль в русской истории сыграла эта довольно значительная масса людей, увлеченных народовольческими идеями, но в том, почему она практически никакой роли не сыграла. Следы-то деятельности этих тысяч остались почти исключительно в жандар-

мских обзорах... В отечественной литературе по поводу этого предложенного Н. А. Троицким противопоставления - 3-х десятков и 8 тысяч (правда, обычно приводится цифра 4-5 тысяч, но не в этом сейчас суть) - давно сложилась вполне определенная, часто повторяемая точка зрения. "...Кроме сравнительно небольшого ядра революционеров (несколько десятков человек) в организации преобладала явно "зеленая молодежь", зачастую лишь номинально примыкавшая к движению. Отсюда становится ясным, почему гибель немногих руководителей означала, по существу, конец всей "Народной воли".⁵³ А руководители - "несколько десятков" - это и был Исполнительный Комитет, деятельность которого носила почти исключительно террористический характер. Именно эта деятельность - и *только* эта деятельность - прогремела на всю Россию, потрясла власть и заметно изменила внутриполитическую ситуацию в стране. Неудивительно, что с тех пор "Народная воля" стала *символом* террора.

Ничего не попишешь... Лучшие силы народовольцев уходили в террор. И по мере того, как все призрачней становились надежды на создание единой мощной организации, на восстание, захват власти и пр., *террор превращался в главное и по сути единственное серьезное оружие "Народной воли"*. При этом речь уже не шла даже о "столпах правительства" - все немногие силы и средства были отданы охоте на Александра II.

Эта борьба, завершившаяся в конце концов достижением поставленной цели - убийством самодержца, - борьба нескольких десятков человек против грандиозной государственной машины, несомненно, производит сильное впечатление. Более того - завораживает. Называть народовольцев Героями приходится без всякой иронии. И конечно же, их разносторонняя талантливость, чрезвычайно высокий уровень личной морали и прочие достоинства бесспорны. Но сознание этого вызывает у меня опять-таки не восторг, а новые мучительные вопросы и сомнения.

О нравственной стороне дела я говорить не буду. Во-первых, потому, что это завело бы нас очень далеко; во-вторых, потому, что здесь, судя по всему, взаимопонимание у нас с Н. А. Троицким просто исключается. Обращу внимание лишь на одно его замечание, весьма откровенное и в высшей степени характерное. "С нечаевщиной, - пишет автор, - при чисто внешнем сходстве отдельных признаков, у "Народной воли" не было ничего общего. Принцип "цель оправдывает средства" она допускала только (разрядка моя - А. Л.) по отношению к правительству как к врагу". Подобный подход к делу - в борьбе с врагом все средства хороши - воспринимается Н. А. Троицким, судя по всему, как нечто само собой разумеющееся, "ничего общего" с нечаевщиной он, как видим, здесь не замечает. А между тем, это ее привкус, ее начало... Преступив грань, перестал воспринимать врага как человека, как себе подобного, и заскользил в пропасть, из которой возврата нет.

Однако, повторяю, тему "убивать нехорошо" я здесь развивать не собираюсь, хотя и не считаю ее банальной, особенно по нынешним временам. Задам другой вопрос: о целесообразности царевбийства. Неужели Н. А. Троицкий в самом деле считает охоту на царя разумной и оправданной? Неужели он всерьез верит, что государство можно вывести на новый уровень развития, приставив его главе revolver к виску? Наверное, подобным образом можно что-то урвать, решить какую-то единичную проблему, но преобразовать подобным образом государственный строй... Я, мягко говоря, в такой возможности сомневаюсь.

Как бы ни относиться, с моральной точки зрения, к проблеме действий, выработанной "Народной волей", в ней можно отыскать практический смысл убийства "столпов", захват правительственных зданий и т. п.: наверное, подобным образом можно было бы на какое-то время встать у власти. Что из этого вышло бы в конечном итоге - другой вопрос... Но ведь никаких серьезных структур за своими пределами, за исключением ничем не проявившей себя военной организации, Исполнительному Комитету создать так и не удалось; никаких "вооруженных масс рабочих" не предвиделось. Когда за месяц до убийства Комитет поставил вопрос "о возможности или невозможности одновременно с покушением сделать попытку инсurreкции (переворота - А. Л.)", то, пишет В. Н. Фигнер, "ответ был неблагоприятный. Подсчет членов групп и лиц, непосредственно связанных с нами, показал, что наши силы слишком малочисленны, чтобы уличное выступление только 500 человек... Настроение массы рабочих, конечно, не поддавалось учету".⁵⁴

И все-таки охота на царя продолжалась. И все-таки он был убит... Я уже писал в другом месте, какое жуткое впечатление производили на меня всегда воспоминания той же Фигнер о первой реакции в кругу революционеров на известие о том, что вожденное царевубийство наконец совершилось: "Я плакала, как и другие... ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников - все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжкое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России".⁵⁵ Радость, вызванная у народовольцев ощущением возмездия, отмщения самодержцу, по-человечески понятна. Но вот их надежды на светлое будущее - почему, ну почему изуродованный труп царя должен был знаменовать собой начало "обновления России"?

Как хотите, но тип людей, так упорно не желающих считаться с действительностью, так твердо уверенных в том, что они знают истину и в то же время так далеких от нее, тип людей, готовых навязывать свои идеалы народу и обществу любыми средствами, не останавливаясь и перед самыми страшными, - тип таких людей, прочно укоренившийся в России, нуждается не в прославлении, а в самом серьезном изучении. Какие же тут восклицательные знаки? - сплошные вопросы... Но, к сожалению, людей подобного типа у нас всегда в избытке было не только в обществе, но и в науке. В сфере точных наук они, я думаю, долго не живут, а вот в гуманитарных - им раздолье... Я боюсь, что барабанная дробь и рев горна, оружейные залпы и визг картечи долго еще будут сопровождать наши размышления о прошлом.

Письмо в редакцию журнала "Родина"

В № 9 "Родины" за 1994 г. опубликована моя статья "Небывалое бывает?" и вслед за ней там же - полемика со мной О. Михайлова под названием "В чужом монастыре". В № 2 за 1996 г. "Родина" напечатала мою статью "Друзья народа или бесы?", а в № 4 - критический набег на нее А. Левандовского, озаглавленный: "Бомбисты".

Оба раза редакция журнала ставила меня в неравное положение, по сравнению с моими оппонентами. Я излагал свою точку зрения. О. Михайлов был для меня лишь одним из многих (хотя и активных) незнакомых. А. Левандовский же в моей статье вообще был только упомянут единожды, между прочим. Но тот и другой, заранее ознакомленные с моими текстами, подробнее и предвзято оспаривают все сказанное мною, причем Левандовский для отклика на мою статью получил в журнале даже больше места, чем заняла статья. Все это побуждает меня еще раз попросить слова и ответить на выступления моих оппонентов.

Собственно, Олегу Николаевичу Михайлову я мог бы не отвечать. Он спорит со мной, но (в отличие от А. Левандовского) не утрирует мою позицию. Его же позиция, по-моему, настолько уязвима, что не нуждается в трудоемком опровержении. Михайлов полагает, что он, а также Лев Толстой и другие литераторы, беллетристы, вправе изображать исторические события вольно, с домыслами и вымыслами, а я, историк, требующий от беллетристов соблюдения исторической достоверности, неуместно вторгаюсь со своим уставом "в чужой монастырь". Тут дело даже не столько в разноречии дарований Льва Толстого и Олега Михайлова ("что позволено Юпитеру...") и не столько в том, что великий Толстой был наименее велик именно в исторических, батальных сценах "Войны и мира".⁵⁶ Главное в том, что Толстой вообще не считал "Войну и мир" историческим романом, тогда как Михайлов называет свои романы о маршале Кутузове и генерале Ермолове историческими, сам провоцируя таким образом историков на профессиональный разбор его "Кутузова" и "Ермолова" с точки зрения их соответствия исторической правде.

Мой второй оппонент, А. Левандовский, - из одного со мною "монастыря". Он историк. Предметом его критики стала моя статья о народниках, которым, кстати сказать (только им, кроме множества других тем), посвящены 10 моих книг и 120 статей. Левандовский профессионально историей народничества не занимался. Тем не менее, он взял на себя роль главэксперта по народничеству, не преминув объявить, что его отличает "прогрессивность воззрений" (с. 49), тогда как моя позиция "архаична", она ему "претит", а "чужовидная несправедливость" моих суждений и вся моя исследовательская "манера" его "возмущает" (с.48, 49, 54)...

В блистательном и поныне злободневном труде А. И. Герцена "Дилетантизм в науке" есть такие слова: "нет нелепости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилетантами с уверенностью, приводящей в изумление".⁵⁷ Именно так А. Левандовский повторяет обветшалую нелепость царских карателей по адресу народовольцев: они-де "бомбисты" и только (самый опус Левандовского так и назван), хотя любому специалисту ясно,

что считать Желябова или Перовскую "бомбистами" все равно, что Пушкина или Лермонтова - не поэтами, а "дуэлянтами". Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть (не в извлечениях из статьи В. Н. Гинева и А. Н. Цамутали, как это делает Левандовский, а в оригинале, программу Исполнительного Комитета "Народной воли" и его же Письмо к Александру III, а главное, ознакомиться хотя бы вкратце с фактами, удостоверяющими деятельность Студенческой, Рабочей и Военной организаций народныхольцев, их Общества "Красного Креста", контрразведки (Н. В. Клеточников больше двух лет служил народникам в святая святых царского сыска - сначала в III отделении, а затем в Департаменте полиции), их публикаторский труд (10 типографий, 5 периодических изданий, десятки тысяч экземпляров прокламаций), пропаганду среди крестьян, связи с либеральной оппозицией, просвещение национальных окраин России, международные контакты - с польскими, румынскими, болгарскими, венгерскими, немецкими, итальянскими, английскими, французскими, американскими и другими социалистами и демократами (в частности, с К. Марксом и Ф. Энгельсом, П. Лафаргом и В. Либкнехтом, О. Бланки и Ж. Жоресом, Ф. Тугари и Д. Гарибальди).

А. Левандовский "ловит" меня на том, что я больше говорю о террористической, нежели о пропагандистской, агитационной, организаторской и прочей деятельности "Народной воли", и заключает отсюда, что вообще о народныхольцах, кроме как о террористах (они же - "бомбисты"!), и "писать почти нечего". Вот момент, изобличающий дилетантизм моего оппонента. В моей статье акцент сделан на терроре только потому, что вопрос о нем спорный. Неоспоримый же материал о всех прочих сторонах деятельности "Народной воли" Левандовский мог бы прочесть не только в моей книге "Народная воля" перед царским судом" и в трудах моих единомышленников, профессоров М. Г. Седова, В. А. Твардовского, В. Ф. Антонова, М. Д. Карпачева, но и монографии известного "разоблачителя" народныхольцев проф. С. С. Волка.⁵⁸

Особого разбора требуют два тезиса А. Левандовского с претензией на глобальное мышление. Тезис первый: "террор никогда не приносит успеха" (с. 50). Это взгляд не исследователя, а конъюнктурщика. Любому исследователю должен знать, что нет абсолютного зла (как, впрочем, и добра абсолютного), что в зависимости от условий, места и времени любое зло может (часто ли, редко и насколько - это другой вопрос) обратиться в добро и любое добро - во зло. Разве Великая Французская революция XVIII в. могла победить без якобинского террора? Конечно, нет - она была бы задавлена совокупными усилиями внутренней и внешней контрреволюции. А победив, она ускорила ход мирового исторического прогресса и стала точкой отсчета для величайших завоеваний человечества в экономике, политике, культуре. Разумеется, это не освобождает нас от критики излишеств, крайностей, жестокости ее террора.

Тезис второй: Левандовскому не нравится "восклицательный знак в науке истории", он как историк всецело подвержен "сомнению, рефлексии" (с. 48). Любопытная позиция. Значит, - никаких национальных героев, ничего такого в истории, чем современники и потомки могли бы гордиться! Ни о "грозе Двенадцатого года", ни о "Великой Отечественной", ни о Пушкине и Покрышкине нельзя говорить "восклицательно", а только - "рефлексивно"! Такой позиции, при которой у историка нет ничего, кроме "сомнения, рефлексии", можно лишь соболезновать, да надеяться, что с жизненным и научным опытом он ею переболеет.

Впрочем, Левандовский уже теперь не всегда соблюдает рефлексии, то и дело норовя поставить "восклицательный знак" после имени Александра II - этого, как он считает, "доброе, мягкое, благородное человека" (с. 49). А ведь этот человек был далек от благородства не только в быту, меняя любовниц и обзаводясь детьми от них при живой супруге. Главное, этот "добряк" палачески давил крестьянские волнения в России 1861-1863 гг. и национально-освободительные восстания в Белоруссии, Литве, Польше 1863-1864 гг. (только в Польше - 25 тыс. осужденных,⁵⁹ не считая погибших в боях и расстрелянных без суда); в 1856-1864 гг. огнем и мечом загнал к себе под ярмо народы Северного Кавказа, а в 1863-1880 гг. - Средней Азии; почти 20 лет гнил за инкомыслие в тюрьме, на каторге и в ссылке "Российского Прометей" Н. Г. Чернышевского; с 70-х годов сотнями отправлял в ссылку и на каторгу русских народников за "хождение" с пропагандистскими книжками "в народ"; десятки других народников повесил не только за революционные акции, но и за "умысел", за "имение у себя" прокламаций, за передачу собственных денег в революционную казну, лично требуя (для вящего унижения осужденных) именно вешать даже приговоренных к расстрелу. "Добрый, мягкий, благородный человек..." Герой атамана Краснова и кандидата исторических наук Левандовского.⁶⁰

Мои герои - народники, борцы против царского самодержавия и его жертвы: Андрей Желябов, Софья Перовская, Петр Кропоткин, Александр Михайлов, Николай Морозов, Герман Лопатин, Вера Фигнер... У Краснова они вызвали патологическую злобу, на Левандовского производят "жуткое впечатление" (с. 56). А я, не скрою, горд тем, что в своем глубочайшем уважении к этим людям оказался заодно не с Петром Красновым (как Андрей Левандовский), а с И. С. Тургеневым и Л. Н. Толстым, Г. И. Успенским и В. Г. Короленко, А. П. Чеховым и А. А. Блоком, И. Е. Репиным и Н. Я. Ярошенко, М. Н. Ермоловой и Л. В. Собиновым, Бернардом Шоу и Марком Твенем.⁶¹

МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ОХРАНЫ

По-моему, самое первое мое "перестроечное" произведение - 1989 год... Я как раз закончил монографию о Т. Н. Грановском, над которой работал много лет и получил первое из череды соблазнительных предложений: написать статью для сборника о подделках. Подделки имелись в виду самые разнообразные - от произведений искусства и документов до людей и организаций. Меня же с давних пор интересовала история провокации в России - тема до сих пор недооцененная, объясняющая многие неожиданные повороты русской жизни конца XIX - начала XX веков. Шуваловское же "предприятие" - это по сути дела зарождение той грандиозной волны лжи, фальсификаций, шантажа, которая захлестнула и правительство, и общество в преддверии крушения империи... Сборник о подделках так и не состоялся - его организатор В. А. Прокофьев скончался, и дело кануло в Лету. "Мистификаторы от охраны" публикуются впервые.

ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ

1 марта 1881 года на всю Россию прозвучал взрыв в Петербурге на Екатерининском канале: "Народная воля" завершила свою беспощадную травлю Государя Императора всея Руси, которую вела более полутора лет. Изувеченный, обескровленный Александр II скончался в Зимнем, оставив своих приближенных в смятении.

"Высшие сферы" были охвачены паникой. В эти весенние дни многим представлялось, что убийство царя чревато смутой, крушением монархии, полной победой кроваваждных революционеров. Подобные настроения подогревались с двух сторон.

С одной, самое сильное впечатление производило поведение революционеров - и тех, кто был арестован в связи с убийством царя, и тех, кто остался на свободе. Один из руководителей "Народной воли", Андрей Желябов, совершенно не заботясь о своей собственной участи, на допросах очень последовательно развивал мысль, наводившую на правительство уныние и ужас: "... ежели с восшествием на престол е. и. в. Государя Императора Александра Александровича ожидания партии не исполнят и она встретит такое же противодействие, то не остановится и в будущем прибегать к таким же покушениям против него". Свою же речь на процессе первоапрельцев лидер "Народной воли" построил таким образом, чтобы внушить власти впечатление о чрезвычайной мощи подполья, в деятельности которого акции, подобные взрывам на Екатерининском канале, - лишь один из рядовых эпизодов...

В том же духе было выдержано и письмо Исполнительного Комитета "Народной воли" Александру III, отпечатанное и распространенное через десять дней после убийства Александра II... Оно пророчило жуткое будущее России, "если только политика правительства не изменится". Революционное движение, предсказывали авторы письма, "должно расти, увеличиваться, факты террористического порядка повторяться все более обостренно; революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более совершенные, крепкие формы... Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение завершит этот процесс разрушения старого порядка". Новому царю, Александру III, буде он пожелает избежать всех этих ужасов, предлагалась в форме ультиматума конкретная программа уступок: общая амнистия; созыв "представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни"; немедленное введение свободного слова печати и т. п., чтобы "выборы происходили в обстановке политической свободы".

И правительство вынуждено было относиться ко всем этим угрозам и предостережениям с полной

серьезностью. Казалось бы, его могла успокоить почти полная бездеятельность народовольцев, которые, как теперь нам известно, “исчерпали свои силы 1-ым марта”. Но здесь своеобразную помощь революционерам оказали их самые заклятые враги.

В замечательной драматической трилогии А. В. Сухова-Кобылина, наряду со многими прочими выразительными персонами, выведен Иван Антонович Расплюев - мелкий, совершенно беззащитный жулик, который после многих превратностей судьбы “сочинил карьеру по полицейской линии”, пробившись в квартальные надзиратели. Но фортуна повернулась к Расплюеву лицом в полный оборот лишь после того, как в его квартале по одному казусному делу учинено было следствие, ведь “следователь может всякого, кто он ни будь, взять и посадить в секрет!” Вот когда эта ошеломляющая возможность стала явью, тогда и начались “веселые расплюевские дни”!

На казусных делах в России привыкли строить карьеру и должностные лица позначительнее квартального; дела же более “казусного”, нежели убийство Государя Императора, и представить себе было невозможно... Сразу же после 1-го марта выяснилось, что в высших сферах есть свои расплюевы, без зазрения совести готовые использовать “всеобщую панику” в собственных интересах.

Самый яркий пример тому являл новый петербургский градоначальник генерал-майор Н. М. Баранов, на которого была возложена задача искоренить крамолу в столице и окрестностях. И он, поистине, не щадил своих сил... 15 марта К. П. Победоносцев, воспитатель молодого царя и один из главных его советников, с глубоким сочувствием писал в частном письме: “Баранов явился, едва держась на ногах. Со времени назначения он еще не отдыхал ни днем, ни ночью”. Ну, еще бы, ведь ночью “у него происходит главная работа”, а завтра, 16 марта, по предсказанию градоначальника, “будет страшный день...” Проникнув во все замыслы крамольников, Баранов живописал своему собеседнику жуткую картину: “Готовится покушение на государя и на принца прусского в четырех местах по дороге: в одном месте, на Невском, соберутся люди, переодетые извозчиками, с тем, чтобы открыть перекрестные выстрелы. У него в руках был план всех предположенных действий”. В заключение бравый градоначальник сообщил собеседнику: “... Из 48 человек, которые должны действовать, 19 у меня в руках. Сейчас еду делать аресты... В эту ночь, - закончил он свой рассказ, - что еще открою неизвестно”.

“Открытый” в самом деле предстояло еще великое множество - одно страшнее другого... Так, начав, во искушение петербургских обывателей, кампанию по окапыванию столичных дворцов, Баранов сразу же достиг своей цели: во рву у Зимнего обнаружил и перерезал “17 (!) проволок от мин...”

И такой умный, осторожный и недоверчивый человек, как Победоносцев, не только безропотно слушал всю эту ахинею, но и по мере сил своих распространял барановское вранье в высших придворных и бюрократических кругах! Другой же могущественный вдохновитель реакции М. Н. Катков, издатель “Московских ведомостей” - самой популярной газеты в России, опираясь на это вранье, раздувал всевозможные страхи и ужасы среди читающей публики. Он, кстати, в личном письме к петербургскому градоначальнику удостоверял свою крепкую веру в его, барановскую, “политическую честность” - вопрос же, насколько адресату присуща обыкновенная, житейская честность, Каткова нимало не волновал.

Совершенно очевидно, что лидеры реакции поддерживали и, более того, всеми средствами подогревали сверхъестественные барановские фантазии не столько из-за искренней своей веры в их истинность, сколько потому, что им было выгодно нагнетать атмосферу. Ведь чем сильнее было чувство страха, охватившее верхи в эти трагические мартовские дни, тем уверенней чувствовали себя реакционеры в своей борьбе за “спасение России”. А спасать ее приходилось не только от кровавых революционеров, но и от “коварных либералов”: от тех немногих людей в окружении убитого царя, которые пытались бороться на два фронта - противостоять революционному подполью и сдерживать реакцию. Главной мишенью “спасителей” был всемогущий в последние месяцы правления Александра II “бархатный диктатор” М. Т. Лорис-Меликов, пытавшийся провести в России некое подобие конституционной реформы. Доставалось и младшему брату убитого вел. кн. Константину Николаевичу, признанному лидеру либеральной бюрократии.

В этой борьбе реакционеры и сами не гнушались расплюевских методов. Так, например, тот же Победоносцев в своей переписке с Е. Ф. Тютчевой 1 марта горько скорбит об Александре III: "Боже, как жаль юного государя! Жаль, как бедного, больного, ошельмованного ребенка"; 3 марта он обстоятельно объясняет свои чувства тем, что царю и России "опасность грозит отовсюду" - приходится ждать не только "беды от разбойников", но и "беды от сродник, беды от лжебратии"; а 6 марта уже сообщает о весьма характерном плане, предложенном им царю во избежание всех этих бед: "... объявить Петербург на военном положении, переменить людей и затем оставить Петербург, это проклятое место, покуда очистится, и уехать в Москву, если нельзя еще дальше".

Свои тяжелые чувства и грандиозные планы Победоносцев, помимо всего прочего, обосновывал совсем уж откровенными ссылками на "общественное мнение" такого типа: "Вчера один из простых людей прибежал ко мне со словами: "Ради Бога, скажите государю, что прежде всего надо выслать отсюда Константина..." С нескрываемым удовольствием цитировал он "энергично написанное письмо", полученное Александром III от некоего анонима из Седлецкой губернии: "Злые подлые люди хотят, чтобы и твое правление было слабо, чтобы рука твоя была для них так же милостива, добра и снисходительна. Как и отца твоего, подучают простодушных людей трубить о великих будто бы делах, совершенных в правлении отца твоего, а сами втихомолку, под звуки сладкой песенки усыпляют правительство твое, готовят для всех орудия смерти" и т.д., и т.п.

Победоносцев отнюдь не был исключением. Ощущение опасности, которой грозил террор, вполне оправданное мартовскими событиями, постоянно раздувалось определенными лицами в публицистике и переписке, частных беседах и официальных выступлениях до такой степени, что приобретало характер поистине космический. Лидеры реакции легкими штрихами рисовали смутную, но, может быть, именно поэтому очень впечатляющую картину всеобъемлющего заговора, нити которого тянулись из подполья в "петербургские бельэтажи" - к высшим сановникам либерального направления. Лорис-Меликова шельмовали совершенно открыто. Зачем ему было обрекать на смерть царя, от которого зависело все его чиновничье благополучие; каким образом "попустительство нигилистам" сочеталось в его политике с безжалостными, проводившимися у всех на глазах репрессиями против них - противники Лорис-Меликова не затрудняли себя поисками ответов на эти и многие другие вопросы. Тем ведь и славны "веселые расплюевские дни", что самые дикие обвинения принимаются во время оно на веру без всяких доказательств; "либеральные" же рассуждения о логике, доводах рассудка и т. п. напрочь заглушаются молодецким посвистом и кличем "Бей супостата!"

В эти дни головы шли кругом у обывателей самых разных рангов... "В умах петербуржцев чепуха, - писал современник, - в сердцах смятение и подлый страх. Начинают говорить о том, что с нигилистами не справишься и что действительно уже лучше будет по-ихнему, пусть дадут конституцию". Самый главный, венценосный петербуржец Александр III в конце марта бежал из столицы в Гатчину, напуганный советами Победоносцева, каждый вечер перед сном тщательно осматривал свои покои: не спрятались ли "нигилист" за занавескою, не залез ли под кровать... Аромат "всеобщей паники" достиг и зарубежья: политический руководитель Германии Бисмарк, внимательно следивший за развитием событий у своих ближайших соседей, повелел в это время, чтобы ему дважды в день сообщали телеграфом о положении дел в Петербурге: "Если я не получу очередной телеграммы, то буду считать, что телеграф больше не работает". Другими словами, "железный канцлер" вполне допускал и такую возможность...

Наверное, только в подобной атмосфере, насыщенной враньем, паническим страхом и бессильной злобой, могло возникнуть такое удивительное, ни на что не похожее сообщество "благодетельных крамольников", как "Священная Дружина".

“ЛОБОТРАСЫ” ВОЛНУЮТСЯ

Инициативу создания этой удивительной организации, очевидно, не без оснований приписывал себе С. Ю. Витте - впоследствии видный государственный деятель, а в начале 1880-х - молодой, энергичный железнодорожный администратор с хорошими связями “на самом верху”: его дядя, консервативный публицист Р. А. Фадеев, был вхож в высшие придворные и бюрократические круги. Именно дяде Витте и адресовал письмо, написанное под свежим впечатлением от убийства царя, в котором, как он сам признавал впоследствии, “чувство преобладало над разумом”.

Витте писал о том, что официальные органы политического сыска показали свою полную неспособность противостоять подполью; он призвал, во имя спасения существующего строя, начать борьбу с “анархистами”, используя их же оружие: “...Нужно составить такое сообщество из людей безусловно порядочных, которые всякий раз, когда со стороны анархистов делается какое-нибудь покушение или подготовка к покушению на государя, отвечали бы в отношении анархистов тем же самым, т. е. так же предательски и так же изменнически их убивали бы”.

В тех кругах, где вращался Фадеев, письмо его племянника встретило теплый прием: для подобного “сообщества безусловно порядочных людей” здесь уже была подготовлена обильно унавоженная почва. Вышеупомянутый Баранов для облегчения своей неусыпной деятельности в самом начале марта исходатайствовал разрешение на создание “Временного совета при спб. Градоначальнике из выборных от всего столичного населения” - в основном из чиновничьей, сановной среды. Современники, полные воспоминаний о недавних конституционных проектах правительства, с горькой иронией окрестили это весьма нелепое “выборное” учреждение “бараньим парламентом”. Деятельность сего органа была кратковременной и носила совершенно анекдотический характер. Однако именно внутри него, наряду с комиссиями, члены которых посвящали свои силы борьбе с подкопами или созданию артели дворников, возникла и весьма перспективная комиссия “для организации при особе его величества охранительной стражи”. Она сразу же приобрела самостоятельное значение, собрав в свой состав немало “порядочных людей” - в основном из числа аристократической золотой молодежи, хотя здесь были и почтенные люди со славным бюрократическим прошлым, как правило, по сыскной части... При этом новоявленные охранители отнюдь не собирались встать на страже у трона, нести караульную службу и тем ограничиться; они лелеяли смутные, но куда более грандиозные планы. Предложению Витте, которое вполне отвечало их устремлениям, сразу был дан ход. “...Письмо твое, - отвечал племяннику Фадеев, - будет в руках государя. Вероятно, проект твой осуществится самым тайным образом, средства будут даны и организация, если до нее дойдет, свяжется с верховной властью в лице Воронцова-Дашкова” - того самого И. И. Воронцова-Дашкова, который стоял во главе вышеназванной комиссии “бараньего парламента”.

Так оно, в общем, все и получилось - по-дядюшкиному: и до организации “дошло”, и средства были даны щедрою рукой⁶². По слухам, ховдившим среди заинтересованных лиц, помимо 2-х или 3-х миллионов доброхотных даяний, собранных среди великосветских и прочих охранителей, новоявленному негласному сообществу - называвшемуся сперва “Добровольной Охраной”, а потом, все чаще, “Священной Дружиной”, иногда - “Святой” или “Белой лигой” - было предоставлено около 20 миллионов рублей, сэкономленных при пересмотре смет министерства двора. И, судя по грандиозным окладам, которые устанавливали сами себе функционеры “Дружины”, по той легкости, с какой они раздавали наградные, прогонные, квартирные и пр., эти слухи имели под собой основание...

Прав был Фадеев и относительно “тайного образа”, которым предполагалось осуществить все замыслы его племянника. Каждый “новообращенный брат”, вступивши в организацию, должен был связать себя жутковатой присягой, содержавшей клятву в верности “на Пресвятом кресте и Евангелии” не только собственной жизнью и честью, но и жизнью своих родителей, жены и детей... После этого его знакомили с инструкцией, одним из основных требований которой было соблюдение строжайшей конспирации. Все “братья” делились по старшинству на различные степени; причем низшие обязаны были полным и безоговорочным подчинением высшим. По своему внутреннему строению организация

представляла собою пирамиду из "пятерок": каждую "пятерку" низшего ранга возглавлял "старший", который в то же время входил в "пятерку" более высокого уровня и т. д., вплоть до руководящих органов "Дружины". При этом была разработана сложная, сугубо бюрократическая система организации и учета "братьев" по степеням и номерам; незнакомые между собой члены "Дружины" могли узнать друг друга, благодаря специальным условным знакам...

И все это ядовитое варево из карбонарских статутгов, уставов масонских лож и совсем еще свеженького, бывшего у многих на памяти после грандиозных процессов Нечаева и нечаевцев "Катехизиса революционера", предлагалось выхлебать "безусловно порядочным людям": braveм гвардейским офицерам, блестящим придворным, солидным бюрократам. И ведь хлебали... Однако полное несоответствие тех стройных требований, которые предъявляла "Дружина" своим членам с их социальным положением, мировоззрением, "обычаями и нравами", сказалось сразу же, придав деятельности "братьев" трагикомический характер, превратив ее в какую-то странную, непристойную и изрядно глупую забаву.

Богатый материал для понимания сущности этой своеобразной организации дает дневник В. Н. Смелянского. Автор его - служба, сменивший в свое время военный мундир на полицейский и прошедший хорошую выучку по сыскной части при Ф. Ф. Трепове, петербургском градоначальнике 1870-х годов, признанном мастере своего дела. "Дружина", испытывавшая острую нужду в специалистах подобного рода, стала вовлекать Смелянского в свои ряды осенью 1881 года. Но еще летом он слышал в своем кругу весьма содержательные рассказы об этой организации, ее руководстве, бюджете и т. д. ... Процесс "вовлечения" происходил в форме легкой светской беседы, причем "вовлекающий" - полковник Левашев, - не получив от Смелянского еще сколько-нибудь положительного ответа, доверительно сообщил ему, что "в этом обществе лучшие люди, преимущественно аристократы; состоят в ведении гр. Воронцова-Дашкова". Сам Смелянский не менее доверительно передал этот разговор своему кузену, гвардейскому офицеру, который, ничуть не удивившись - "теперь многих вербуют... офицеры Семеновского полка вписались в члены охраны", - засыпал собеседника информацией о задачах "Дружины" - "... разыскать революционеров кн. Кропоткина, Гартмана и убить их", - о проблемах, ее терзающих, - "...дела охраны ведутся неумело, трата денег идет непомерная, а проку от этого нет..." - и т.д., и т.п. Когда же Смелянский после долгих сомнений принял участие в деятельности "Дружины", ему пришлось принимать поздравления от совершенно посторонних этой организации лиц и конспиративно уходить от ответов на вопросы, чем он там, "в подполье", занимается и каковы его успехи...

Все страшные клятвы и карбонарские инструкции обеспечивали "Дружине" лишь секретность, достойную Полишинеля. Естественно, что слухи - в целом достоверные, - имевшие столь широкое хождение в придворных и бюрократических кругах, очень быстро вышли за их пределы. Те, против кого была направлена вся деятельность организации, очень скоро узнали о ее существовании. Хотя "официальное" сообщение о "Дружине" было сделано в революционном издании "Народная воля" лишь в феврале 1882 г. - в заметке "Лига шпионов-добровольцев", - и в подполье, и в эмиграции о ней заговорили значительно раньше... Причем сейчас хорошо известно одно из главных "передаточных звеньев" информации о "благонамеренном подполье". Лорис-Меликов, которого охранители довели-таки до заслуженного отдыха, летом 1881 г. приходил в себя от пережитых потрясений в Висбадене, причем жил на одной вилле с М. Е. Салтыковым-Щедриным. Суровый демократ, которому ежедневно приходилось общаться с недавним диктатором, не устоял перед его обаянием. Они сблизились и в одной из бесед Лорис совершенно откровенно рассказал редактору "Отечественных записок" про "Священную Дружину", о которой он знал если не все, то очень многое. Салтыков, в свою очередь, связался с эмиграцией, стремясь прежде всего предостеречь тех лиц, которым грозила непосредственная опасность со стороны "братьев". Кроме того, великий сатирик сделал все от него зависящее, чтобы разоблачить и высмеять "Дружину" перед своими читателями: в своем знаменитом третьем "Письме к тетеньке" он нарисовал фантазмагорическую картину деятельности "Общества частной инициативы спасения", объединявшей в своих рядах "взволнованных лоботрясов", причем картина эта

была исполнена самых откровенных и прозрачных намеков... Сейчас, сравнивая "Письмо" с тем же дневником Смельского, мы видим, как хорошо Салтыков понял суть всего этого предприятия (впоследствии он обращался к теме "взволнованных лоботрясов" еще и в "Современной идиллии"). Хотя цензура "Письмо", естественно, не прошло, оно в том же 1881 году было опубликовано в эмигрантском журнале "Общее дело" и получило широкое распространение среди читающей публики в списках и оттиках.

"ЛОБОТРСЫ" ДЕЙСТВУЮТ

Конкретная деятельность "Дружины", так же, как и уровень ее конспиративности, определялась своеобразием тех лиц, которые в ней участвовали и, самое главное, ею руководили. По словам Салтыкова, здесь собрался "народ все картавый", сведущий лишь в одной "науке" - "о подмывании лошадям хвостов".⁶³ И, действительно, аристократы - гвардейцы, флигель-адъютанты, придворные, щеголявшие парижским прононом даже при употреблении исконно-русской ругани, - составляли заметную часть "братьев" высших разрядов.

Чрезвычайно выразительный портрет одного из "картавых" дал в своем дневнике Смельский. Поскольку ему было предложено возглавить заведывание петербургской агентурой "Дружины", он поступал под непосредственное начальство П. П. Демидова, князя Сан-Донато - "попечителя" столичного отделения организации и одного из главных ее добрототов-деятелей.⁶⁴ Во времена первого посещения Демидова Смельскому пришлось ждать около получаса, пока князь "докушает ужин", после чего челядь "в хамских аксельбантах", передавая посетителя из рук в руки, препроводила его через анфиладу "парадно и старинно отделанных комнат" в огромный мрачный кабинет. "Со стула встала фигура довольна высокая, с невзрачною и неумною физиономиею". Угостив гостя дорогой сигарой, Демидов воззвал к нему: "Прошу Вас, руководите нами... У нас ничего нет". Все его дальнейшее участие в беседе ограничивалось одобрительным поддакиванием. Впрочем, из беседы с ним Смельский все-таки уяснил себе некоторые пикантные детали руководящей деятельности "попечителя". Демидов признался, что платит наемным тайным агентам значительное жалование только за то, "чтобы они не болтали о "Дружине"..."

Этот поразительно недалекий, расслабленный человек, который и говорил-то "с запинкой" без полного высказывания", не годился, конечно же, не только для "подпольной", но и вообще для какой бы то ни было деятельности. Сей факт, очевидный для всех окружавших Демидова "братьев", не был тайной и для него самого. Так, Смельский описывал трогательную сцену заседания Исполнительного Комитета "Дружины", когда П. П. Шувалов - о котором речь пойдет ниже - разносил Демидова в пух и прах за бездарное руководство, упрекая "попечителя" в том, что он все свои немногие силы тратит на "любодейства", на что последний с похвальной кротостью отозвался: "Ты прав, но откуда же мне знать полицейское дело?..." И тем не менее Демидов несколько месяцев занимал в "Дружине" один из важнейших постов.

Наряду с подобной аристократической бледной немочью, годной лишь для того, чтобы выделять из своих огромных капиталов средства на поддержание "благонамеренной крамолы", в ней принимали участие и люди совершенно иного сорта - ловкие, энергичные, обладавшие и немалым опытом, и умением вести дела. Однако, как правило, свои способности они посвящали сниманию пенек с этого "благородного дела"... Так, предшественник Демидова на посту петербургского попечителя И. Д. Путилин - бывший в свое время начальником сыскной полиции - оказался настолько охоч до денежных фондов "Дружины", что "братья" не чаяли, как от него избавиться; преемник же - князь А. П. Щербатов, человек неглупый и дельный, - в разгар своего "попечительства" попал под суд за присвоение казенных денег на своем прежнем посту; естественно, что и с "дружинными" средствами он нимало не церемонился.

Если таковы были "лучшие, безусловно порядочные люди", составляющие ядро "Дружины", то на

агентах, которых они нанимали для слежки, провокаций и прочей черной работы, негде было и клеймо ставить. Недаром Салтыков в своем "Письме", наряду с "картавыми", вывел среди действующих лиц и гоголевского Ноздрева - только вконец разорившегося - и уже знакомого нам Ивана Антоновича Расплюева... Люди без чести, без совести, готовые за соответствующее вознаграждение на любую подлость - тем более, когда ее предлагалось совершать во имя "оздоровления корней", - эти "действовали", служили достойным основанием аристократической верхушке "Дружины". Доносы они составляли преудивительные... Особенно выделялась в этом отношении заграничная агентура, действовавшая практически бесконтрольно. Желание поразить своих благородных нанимателей из ряда вон выходящими сведениями и тем самым обеспечить себе соответственные дивиденды сочеталось у "дружинных" расплюевых с фантастическим невежеством, полной неосведомленностью в делах эмиграции и поразительной наглостью. Агентурные приемы у них были самые немудрящие и даже в очень пестрой и разнородной эмигрантской среде производили сильное впечатление. А. А. Винницкая, писательница, принятая в это время "за свою" в русской эмигрантской колонии Парижа, вспоминала впоследствии, что ее новые друзья первым делом сообщили ей: "...из России наехало много шпионов какой-то Белой или Святой лиги", которые кусят напрапалую, пристаю к всем с разговорами, задают провокационные вопросы, "но так неумело и бестактно, что своей цели не достигают". К тому же, замечает Винницкая, "сами физиономии новых приезжих резко отличались от примелькавшихся русских типов Латинского квартала. Держали они себя развязано... и от них сторонились не только русские, но и французы".

Между тем прогонные, квартирные и суточные нужно было отрабатывать. В результате из-за рубежа поступали донесения, вполне достойные барановских фантазий о проволоках, перерезанных при рытье окопов вокруг Зимнего. Так, например, сообщалось, что "вожди эмиграции" с многочисленными сообщниками направляются в Россию, чтобы совершить цареубийство, причем по дороге, в Берлине, собираются изничтожить еще и германского императора Вильгельма... При этом в теплую компанию "вождей" зачислялись Лавров, Драгоманов, Соколов и Гартман - все деятели, которые, за исключением Гартмана, не имели никакого, даже теоретического, отношения к террору и в описываемое время находились в весьма напряженных, неприязненных отношениях друг с другом. Им же, кстати, приписывалось и кровавое намерение истребить "при пособии бомб и бутылок (!) с динамитом" весь цвет "Священной Дружины" - Воронцова-Дашкова, Демидова, Шувалова... Вся эта небывальщина воспринималась "братьями" с полной серьезностью, а последнее сообщение даже заставило заинтересованных лиц выписать из-за границы шелковые кольчуги - защитное средство, вполне достойное такого разрушительного оружия, как "бутылки с динамитом"...

Вся эпопея "Священной Дружины" может показаться лишь грандиозным продолжением тех стран-ных игр, которым предались верхи с легкой руки градоначальника Баранова. Агенты водят за нос "братьев", "братья" беззастенчиво лгут друг другу... Какая уж тут "борьба с анархией", когда чуть ли не вся доступная обозрению "Дружины" "анархия" - сплошная выдумка; какие уж тут "ответные удары", когда постоянно приходится отбивать атаки со стороны призраков! Одни действующие лица - "взволнованные лоботрясы"; другие - беззастенчивые хапуги, ловко использующие это волнение в своих корыстных целях. А в результате - вся бурная деятельность "благонамеренного подполья" превращалась в сплошную злостную мистификацию... Однако была одна сфера, в которой эта поддельная деятельность чудесным образом привела к возникновению весьма деятельных подделок. И эту сферу пророчески определил все в том же "Письме к тетеньке" Салтыков-Щедрин: "Давайте, говорю, братцы, газету издавать... Только говорю, нам такого редактора надо отыскать, чтобы во всех статьях был мерзавец. Чтоб совести не знал, правды от роду не говаривал и за тычком не гнался. И вот судите, как хотите: не успел я это выговорить - смотрим, ан в дверях Иуда Искариот стоит. Тебя-то нам и нужно. Сейчас ему пятьдесят тысяч в руки: издавай газету "Фрегат Надежда"!"

ЖЕНЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ

“Всякий народ тут: чиновники и нечиновники,
больные и здоровые, каналы и честные люди...
Тут и шпион”.

М. Е. Салтыков-Щедрин. “За рубежом”.

Итак, после убийства царя верхи охватил “великий страх”, который искусно подогревался определенными кругами и приводил к словам, поступкам и предприятиям, совершенно невозможным в спокойной обстановке. Между тем никаких серьезных оснований для подобной паники не было: в начале 1880-х годов подполье переживало кризис еще более тяжелый и томительный, нежели власть. В известной степени к этому привела деятельность политической полиции - куда более результативная, чем все потуги “благонамеренной крамолы”. Однако, Л. М. Тихомиров, один из немногих членов Исполнительного Комитета, переживших “белый террор” - он скрылся от преследований за границу, - признавая, что “старая “Народная Воля” была прямо истреблена”, совершенно справедливо писал: “Я на своем веку пережил много таких истреблений и привык видеть, что на месте уничтоженных людей и программ являются немедленно новые”. Теперь же ничего подобного “немедленно” не происходило: новых программ не являлось и преемники были не те - “отброски, мальчишки и никудышные люди”. В тяжких раздумьях рождалась горькая мысль: “Ясно, что мы почему-то не годимся, что мы делаем что-то не то, что нужно”.

...В конце 1860 - начале 1870-х гг. теоретики, стоявшие у истоков революционного народничества - М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, - предложили “молодой России” различные пути к достижению вождельных идеалов социализма: немедленный бунт, длительную пропаганду, политический заговор... В 1870-х их последователи упорно осваивали эти пути - и раз за разом оказывались в безысходном тупике неудач. Сюда же, в конце концов, пришли и те, кому, казалось, удалось сдвинуть грузную самодержавно-бюрократическую махину с мертвой точки - народовольцы... В начале 1880-х годов все возможные пути были пройдены, все силы исчерпаны. Наступал период мучительной переоценки ценностей, томительных поисков, тяжких разочарований - период безвременья. Многие в эти годы навсегда распрощались с революцией, другие готовы были биться головой о стену своего собственного тупика, третьи яростно прорывались на иные высоты, к новой, более действенной идеологии.

Разброд и шатанье охватили русское подполье; в еще большей степени это относилось к эмиграции, которая в начале 1880-х вобрала в себя уже несколько поколений инакомыслящих. Россию покидали люди самые разные: наряду с вождями революции, с чистыми, искренними, преданными работниками ее, за границу уезжало много народу случайного, легкомысленного и ненадежного. А эмиграция была чревата тяжкими испытаниями - не только материальными, но, в еще большей степени, духовными. Об этом замечательно писал Герцен, наглядевшийся в своей жизни на эмигрантов всех возможных возрастов и национальностей: “Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому: надежда мешает оседлости и длинному труду, раздраженные и пустые, но озлобленные споры не позволяя выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание... Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от не-эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен”.

К началу 1880-х годов одним из главных центров русской эмиграции стала Женева. “Чистый, красивый, дешевый, свободный, честный город, - писал Тихомиров, - красавица Рона, остров Руссо, прекрасное озеро с иногда белеющим вдали Монбланом, дикий Салев, самый город со своими

библиотеками, ресторанами, превосходным пивом, рынками, собраниями... - смотри, любуйся, думай без опасения полицейского, - ах, это было очень, очень хорошо, очень приятно!" А. Л. Дейч вспоминал, какое сильное впечатление производили на эмигрантов женеvские блюстители порядка, любезно информирующие их о месте проведения очередного конгресса Интернационала...

Своей тишиной, покоем, безопасностью Женева привлекала многих; уже в 1860-х годах здесь начали оседаь выходцы из России. На каждом новом этапе той ожесточенной борьбы, которую вели между собой самодержавие и подполье, женеvская колония получала соответствующее пополнение. В результате состав ее был чрезвычайно пестрым и своеобразным; практически все течения русского революционного движения двух десятилетий получили здесь свое представительство: "шестидесятники", убежденные в необходимости политической борьбы, и бунтари-бакунисты, отрицавшие ее во имя грандиозного социального переворота; террористы-народовольцы и их решительные противники из "Черного передела", в среде которых именно в это время шел нелегкий процесс восприятия и осознания марксизма... Почти все они жили в сложных материальных условиях, нередко на грани нищеты, и это их не слишком тревожило: неясные слухи о положении дел в России волновали эмиграцию куда больше, чем собственные беды и заботы. Она вся была пронизана вопиющими противоречиями: здесь свято верили в светлое будущее - и мелочно подозревали друг друга во всевозможных интригах; искренне стремились к сплочению - и постоянно срывались на политические скандалы, которые зачастую переходили в личные дрязги...

Пожалуй, самой заметной и своеобразной фигурой женеvской колонии был Михаил Петрович Драгоманов. В этой среде, окрашенной, при всем своеобразии оттенков, в цвета революционно-народнические, он явно смотрелся белой вороной. Драгоманов всегда стоял в стороне от подполья, от революционного движения. Все свои надежды он возлагал на длительный эволюционный процесс постепенного совершенствования политических и социальных отношений. Соответственно, Драгоманов не верил в жиждительную силу стихийного движения народных масс; на первый план он выдвигал "позитивную", культурно-просветительную деятельность интеллигенции. При этом вся разносторонняя и многоплановая деятельность, которую он сам вел в этом направлении на Украине, а затем в эмиграции, носила ярко выраженный национальный, "украинофильский" характер. Драгоманов вообще придавал огромное значение развитию национальных языка, культуры, самосознания; именно этот процесс, по его мнению, должен был в конце концов привести к преобразованию Российской империи в вольную федерацию независимых и равноправных народов.

Для русских революционеров конца 1870 - начала 1880-х годов все эти соображения звучали как ересь. Либерал - и тем более "либерал-националист" - мог быть воспринят ими либо как человек добросовестно заблуждающийся, либо как сознательный обманщик; но в любом случае проповедь подобных взглядов была, с их точки зрения, делом сугубо вредным: она отвлекала от насущной революционной работы, сбивала с верного пути немедленного переустройства России в болото безнадежного "постепенства".

И тем не менее Драгоманов пользовался в эмигрантской среде устойчивым авторитетом. В значительной степени это объяснялось тем, что, выдвигая программу, во многом схожую с либеральной, Драгоманов предлагал проводить ее в жизнь средствами, куда более решительными, чем те, которыми пользовались его российские единомышленники. В своих статьях он сам резко критиковал либералов за дряблость, за ту сугубую осторожность в действиях, которая нередко смахивала на откровенную трусость; призывал их отстаивать дело реформ решительнее - вплоть до открытого неповиновения власти. При этом всем хорошо было известно, что подобные призывы не являлись для Драгоманова красивой фразой: сам он в свою бытность профессором Киевского университета действовал именно так, ни на какие принципиальные уступки начальству не шел, что и привело его сперва к отставке, а затем в эмиграцию.

Авторитет Драгоманова подкреплялся и солидным образованием, которое сказывалось во всем, что писал этот человек, а он был на редкость работоспособен: его многочисленные статьи, как научного, так и публицистического характера, всегда отличались обстоятельностью, обширной, тща-

тельно взвешенной аргументацией. К этому следует добавить редкое обаяние Драгоманова: в общении его отличали предельная простота и искренность; даже противники этого человека признавали, что “в нем не было ни малейшей рисовки или желания поддаться...”

Покинув Россию в 1876 году, Драгоманов занял за границей особое положение: не входя ни в одну из эмигрантских группировок, он с большинством из них поддерживал хорошие отношения. Подобную позицию он стремился использовать в интересах общего дела, пытаясь сплотить эмиграцию и сблизить ее с либерально-оппозиционными элементами внутри России. Ни одна из его попыток в этом направлении не привела к успеху, и в начале 1880-х годов - особенно после убийства Александра II, которое произвело на него самое тяжелое впечатление, - Драгоманов стал отдаляться от политической деятельности, все больше внимания уделяя научной, историко-этнографической, “украинофильской” работе. Однако ореол всеобщего уважения по-прежнему окружал этого незаурядного человека, репутацию одного из самых значительных представителей русской эмиграции Драгоманов сохранил в полной мере.

Именно в его доме, двери которого всегда были широко открыты, и появился впервые Аркадий Павлович Мальшинский...

НОМЕР ПЕРВЫЙ: ИЗДАТЕЛЬ БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ

Итак, весной 1881 года, когда женевская эмиграция еще не успела пережить до конца роковые мартовские события, в дверь гостеприимного дома Драгомановых постучался А. П. Мальшинский. Он представился как журналист, “бывший сотрудник прогрессивных изданий”, и сообщил, что прибыл в Женеву с тем, чтобы основать здесь большую еженедельную газету, оппозиционную по отношению к существующему в России режиму. Естественно, что подобное предприятие требовало немалых ресурсов - как материальных, так и духовных. На осторожные расспросы хозяина по этому поводу Мальшинский уверенно отвечал: и то, и другое в наличии, за ним стоит мощная нелегальная организация, которой не занимать ни идей, ни капиталов. Какая организация? - на этот вопрос Аркадий Павлович, вот так, сразу, ответить не мог по причинам понятным и деликатным...

Драгоманов вполне удовлетворился всем сказанным. Очевидно, Мальшинский с первой же встречи произвел на него хорошее впечатление: образованный, явно не глупый человек, ведет себя с разумной сдержанностью - с расспросами не лезет и лишнего не болтает. Интриговал и сам факт существования никому не известной организации, способной наладить выпуск газеты за рубежом, - тем более, что даже по скудным намекам Мальшинского можно было понять: программа этой организации во многом совпадает с его, Драгоманова, взглядами... Своему гостю он оказал серьезную поддержку: на газету Мальшинского “Вольное Слово” пошел тот шрифт, которым набирались издания самого Драгоманова; всю техническую сторону дела взяла на себя его давние сотрудники - Жилка, Добровольский, Павлик. И все же от прямого участия в первых номерах нового органа гостеприимный хозяин уклонился, уж слишком плотная завеса таинственности окутывала и самого Мальшинского, и стоявшую за ним организацию...

Нельзя сказать, впрочем, что издатель “Вольного Слова” был совсем уж темной лошадкой. Такая фигура не могла не привлечь внимания эмиграции, о Мальшинском сразу же после его появления в Женеве стали наводить справки, и в скором времени выяснилось следующее: в конце 1860-х годов этот деятель уже побывал за границей; тогда он называл себя социалистом и революционером, встречался с Бакуниным, был принят у Огарева... Затем в Одессе сотрудничал в газетах “прогрессивного направления”, составив себе репутацию оппозиционера и “украинофила”. В конце 1870-х работал скромным клерком в банке в Кременчуге... Все эти сведения никоим образом не компрометировали Мальшинского, скорее, наоборот, подводили определенную базу под его появление в Женеве в качестве издателя антиправительственной газеты. Но вот организация, снарядившая его на это благое дело, по-прежнему оставалась под покровом тайны.

Между тем, судя по всему, организация была солидная... Мальшинский, казалось, не испытывал в своей деятельности ни малейших финансовых затруднений, что в эмигрантской среде являлось редкостью невероятной. "Вольное Слово" с завидной регулярностью выходило каждую неделю - с июня 1881 года; типографская сторона дела приведена была в образцовый порядок; сотрудники оплачивались с неведомой до того времени эмигрантам щедростью и аккуратностью. Что же касалось содержания газеты, - здесь поначалу наибольший интерес представляла политическая хроника: корреспонденты Мальшинского в России проявляли удивительную осведомленность по части придворных и правительственных секретов...

С идейной стороной дело обстояло несколько хуже. Ясно было, что газета стоит за политические преобразования, направленные к установлению в России конституционного строя, и при этом весьма неприязненно относится к террору как к методу борьбы с властью. Так, в одном из первых номеров "Вольного Слова" взрывы, произведенные народовольцами на железной дороге и в Зимнем дворце и приведшие к многочисленным случайным жертвам, откровенно приравнялись к уголовному преступлению... Исполдволь в газете проводилась мысль о необходимости единения различных оппозиционных групп - при условии взаимных уступок и компромиссов. В то же время явственно ощущалось, что курс "Вольного Слова" еще не выверен, что газета находится в стадии становления и нуждается в идейном руководстве. Понимал это, очевидно, и сам Мальшинский, который настойчиво и с некоторым даже простодушием обращался с предложением сотрудничества к различным эмигрантским группировкам и отдельным издателям. Так, например, он предлагал Лаврову вести газету "в каком угодно направлении (разрядка моя - А. Л.) с одним лишь условием - бороться с революционным террором".

Эмиграция в свою очередь внимательно присматривалась к "Вольному Слову". При том дефиците стабильных, надежных периодических изданий, который составлял ее характерную черту, казалось весьма соблазнительным прибрать к рукам новорожденную газету. Лавров писал о необходимости реализовать такую возможность чернопередельцу П. Б. Аксельроду. Сам Аксельрод не только долгое время сотрудничал в "Вольном Слове", из номера в номер освещая в ней современное рабочее и социалистическое движение, но и нащупывал возможность организованного объединения между заграничными группами "Народной Воли", "Черного Передела" и той загадочной "партией", которую представлял Мальшинский. С третьего номера "Вольного Слова" начал сотрудничать в нем и Драгоманов, хотя вопрос об источниках существования этого органа продолжал тревожить его и он деликатно, но настойчиво добивался от Мальшинского правды о таинственной организации...

Продолжали выяснять правду и другие заинтересованные лица, и прежде всего члены редакции "Общего Дела". Эта, уже упоминавшаяся нами газета, издавалась в Женеве с 1877 года, и многое в ней было близко направлению "Вольного Слова": неверие в возможность "мгновенного" социально-революционного переворота, неприятие террора как определяющего средства давления на власть, сознание необходимости широкой борьбы за последовательные политические преобразования. Однако появление "братского" органа не вызвало у общедельцев ни малейшего энтузиазма, а, напротив, - породило самые тяжкие подозрения. Ведущий публицист "Общего Дела" В. А. Зайцев сразу же начал активную кампанию против Мальшинского, прямо обвиняя последнего в том, что он правительственный агент. Мальшинский более ли менее умело отругивался... Однако революционная эмиграция, в массе своей относившаяся к "Общему Делу" весьма скептически, всю эту полемику восприняла более чем равнодушно. Грызню между близкими по духу органами объясняли не более, чем конкуренцией "на почве распространения конституционных идей". Идеи эти революционеры особо не волновали, а к обвинениям, нередко взаимным, в предательстве и провокации в эмигрантской среде уже притерпелись.

Однако вскоре обвинения, выдвинутые "Общим Делом", получили серьезное подтверждение: из русского подполья поступили сведения о том, что Мальшинский и в самом деле был связан с III отделением. Подобное известие требовало по крайней мере объяснений, но оборотистый издатель и тут сумел выйти сухим из воды.

Когда Засулич от имени кружка чернопередельцев сообщила Драгоманову об обвинениях, выдвигавшихся

гавшихся против издателя "Вольного Слова", тот остался совершенно спокоен. Оказывается, Мальшинский уже успел рассказать своему сотруднику и покровителю о том, что был знаком с киевским генерал-губернатором Дрентельном - впоследствии шефом жандармов, - благодаря которому получил доступ к материалам III отделения для работы над сочинением о революционном движении в России. Об этом Драгоманов и сообщил Засулич, внушительно добавив, что "ни к какому сыску Мальшинский отношения не имеет". Вскоре после этого издатель "Вольного Слова" устроил для своих сотрудников и служащих банкет, на котором присутствовали Драгоманов и Аксельрод, и публично представил объяснения по поводу "слухов и сплетен" о своих связях с III отделением.

Эмиграция приняла объяснения Мальшинского. Определенную роль сыграли здесь воспоминания о Клеточникове - сотруднике III отделения, работавшем на "Народную Волю"; весомо прозвучало и заявление Мальшинского о том, что компрометирующие его сведения "подбрасывает" политическая полиция с тем, чтобы загубить новое оппозиционное издание, подобные приемы были в духе Г. П. Судейкина, державшего в это время в руках весь политический сыск. Но настоящим щитом для издателя "Вольного Слова" являлся авторитет и репутация его главного защитника Драгоманова. Засулич, несомненно, выражала общее мнение эмиграции, когда писала: "Доверие не к одной только политической честности Драгоманова, но также к его уму, практичности, наблюдательности заставляло допустить, что Мальшинский служил в III отделении с целями, чуждыми этому учреждению, и остался честным человеком".

Между тем отношения Драгоманова и Мальшинским становились все более прочными, чему, конечно же, должна была способствовать "расшифровка" издателем "Вольного Слова" той таинственной организации, которая стояла за его спиной. Он сделал это вполне официально в мае 1882 года в № 37 своей газеты, объявив ее органом "Общества Земского Союза и Самоуправления". И название, и программа Союза свидетельствовали о том, что он имеет серьезную опору в земской среде, выступает за широкое развитие самоуправления на местах и постепенное ограничение центральной власти конституционными учреждениями. Драгоманову Мальшинский, естественно, открылся еще раньше и, как мы увидим, не только в отношении "Земского Союза"...

С начала 1883 года, с 51-го номера "Вольного Слова", Драгоманов возглавил его редакцию. Позже в своей автобиографии он писал, что с подобным предложением к нему обратился "специальный делегат "Земского Союза"": "Я согласился и старался сделать из газеты, первоначально основанной с целью дать возможность разным оппозиционным и революционным элементам в России высказывать свободно свои мнения, - прямо орган агитации в пользу политической свободы с земским самоуправлением". Таким образом, "Земской Союз" обрел себе достойного представителя за границей, а издатель "Вольного Слова" обеспечил себе и своей газете надежнейшее прикрытие - непоколебимое доверие уму, опыту и политической честности Драгоманова, которое сохранялось у подавляющего большинства эмигрантов, должно было служить броней, не пробиваемой ни намеками, ни прямыми обвинениями в "грязной игре" - провокации...

Между тем нападки на "Вольное Слово" не прекращались, причем постепенно они все в большей степени выходили за рамки той кампании, которую вела против газеты Мальшинского "близкое по духу" "Общее Дело". Попал под огонь безжалостной критики и самый деятельный сотрудник "Вольного Слова"... В конце марта - начале апреля 1882 года Драгоманов опубликовал здесь статью "Обязательность энергии", в которой, воздав должное героизму революционеров, особенное внимание обратил на "признаки своего рода придворных нравов", воцарившихся в подполье: "генеральское полновластие" одних и безгласная подчиненность других; постоянные интриги и борьба за власть; "грязня, взаимные обманы и клеветы" и т. д. Эта сильно написанная статья задела эмигрантов-революционеров за живое и вызвала в их среде настоящую скандал.

При этом, резко критикуя Драгоманова, иной раз идя на разрыв сотрудничества и даже личных отношений с ним, лидеры эмиграции - Аксельрод в Женеве, Лавров и Кропоткин вне ее - не выражали ни малейших сомнений в политической честности редактора "Вольного Слова". Единственный же, кто прямо обвинил в провокации уже не Мальшинского, а самого Драгоманова, Варлам Черкезов, давно

уже пользовался в эмигрантской среде репутацией человека с "восточным темпераментом", неспособного сдерживать свои эмоции. К тому же всем хорошо было известно о его личной вражде с Драгомановым. Подобные обвинения сочли за "обычные издержки полемики" и совершенно не приняли всерьез.

Однако чуть позже, в августе 1882 года, в Женеве появился еще один орган печати - газета "Правда", который не только подхватил эти и им подобные обвинения, но и в значительной степени основал на них свою идейную программу.

НОМЕР ВТОРОЙ: ИЗДАТЕЛЬ ОТЧАЯННЫЙ

Странная это была газета... В ее издании некоторое время принимал участие вышеупомянутый Черкезов - единственный из сотрудников "Правды", который если и не пользовался в эмиграции особым влиянием, то по крайней мере вызывал известное уважение и доверие. Все прочие подобных чувств никоим образом не внушали... Здесь собрались либо подонки эмиграции, чьи "ультралевые", анархистские убеждения - отрицание семьи, частной собственности и пр. - проявлялись наиболее ярко в личной жизни и денежных делах, либо люди, не вполне здоровые. В "Правде" нашли приют такие деятели, которых эмиграция давно признала за "формально сумасшедших", за "юрдствующих эксцентриков": образцово бездарный "революционный" поэт Григорьев, публицист Сидорацкий, подписывавший свои статьи "говорящим" псевдонимом "Сидор Адский", и пр.

Но так или иначе все это были люди свои, хорошо приглядевшиеся и даже изрядно поднадоевшие. А вот издатель и вдохновитель "Правды", некто Климов, представлял из себя фигуру загадочную. В отличие от Мальшинского, он не мог сослаться ни на дружбу с Огаревым, ни на участие в "прогрессивных изданиях", прошлое его совершенно терялось во мраке неизвестности. Впервые он появился за границей в конце 1881 года, в Париже, где усиленно - и безуспешно - пытался наладить контакты с русской колонией. Затем, исчезнув на какое-то время из поля зрения эмиграции, он вновь возник в Женеве весной 1882 года. Здесь к Климову также отнеслись с подозрением, невзирая на его постоянное стремление - а отчасти, может быть, именно вследствие одного - вершить "добрые дела": поддерживать неимущих, вносить деньги на издание революционных брошюр, содержание эмигрантской библиотеки и т. п.

Однако состав эмиграции был до того пестр и разнообразен, что даже такая сомнительная личность "без прошлого", как Климов, не слишком выделялась на общем фоне. Во всяком случае ему удалось-таки сблизиться с Черкезовым, который, хотя и говаривал время от времени своему новому знакомому: "Мы не решили до сих пор, кто вы - социалист или агент", - тем не менее пошел с ним на сотрудничество в издании переводных радикальных брошюр, а затем и собственной газеты.

С первых же номеров "Правда" заявила о своем "крайнем направлении", которое выразилось прежде всего в бесшабашных ругательствах и свирепых лозунгах. Так, о государе императоре здесь писали в самых несдержанных выражениях: Александра III честили то "немазанным истуканом" - тонкий намек на задержку с коронацией, - то "царем-Митрофанушкой", а то и вовсе нелитературными прозваниями. Доставалось и царевым родственникам, высшему свету, бюрократам... Все эти суровые характеристики сопровождались призывами как можно скорее и самыми радикальными средствами раздаться "с аристократической и сановой сволочью"...

Краеугольным камнем идейной программы "Правды" было разоблачение всех "умеренных", конституционалистов вообще и их зловерного органа - "Вольное Слово", в частности. Климов не устал трубить о провокационном характере последнего - правда, в отличие от Черкезова, "сориентировав" его не на "Священную Дружину", а на Министерство внутренних дел, - и доказательства тому приводил самые разнообразные. В своих обличительных статьях он рассуждал "строго логически": даже "самое жалкое правительство", по его словам, неизбежно настолько улучшит условия жизни в России, что из нее исчезнут внутренние антагонизмы - различные сословия легко найдут между собой общий язык. А

кто тогда будет "раздувать пламя социальной революции"? Некому будет его раздувать... Кому вообще нужна будет эта революция? Никому не нужна... Такова ужасающая перспектива "конституционализма", и потому Климов призывал признать его "самым страшным ядом", а его адептов - иудами, действующими с ведома и по заданию самодержавного правительства...

Перед подобными логическими выкладками содрогнулась даже ко всему привычная эмиграция.⁶⁵ В сущности, с первых же месяцев существования газеты Климова - Черкезов в октябре 1882 г. уехал из Женевы - вопрос для русской колонии состоял лишь в том, кто есмь издатель: очередной "блаженненький" от революции или злостный провокатор? Последнее предположение казалось куда более вероятным. Прежде всего сам Климов, человек крайне незатейливый и в духовном, и в умственном отношении, на "блаженненького" никак не походил - зато расплюевские черты проступали в нем явственно... А самое главное, эмиграцию в отношении "Правды" должны были тревожить те же вопросы, которые они не уставали задавать и издателю "Вольного Слова": откуда берутся деньги на издание? Кто присылает информацию из России? Кто вообще стоит за газетой? При этом эмигранты, редко и неохотно соприкасавшиеся с либеральным движением, еще могли допустить существование никому не ведомого "Земского Союза". А вот признать, что они проглядели существование некой "революционной партии", казалось совершенно невозможным: "Ведь в то время поле революционного движения было так невелико, что каждый, пробывший два-три года в той или иной нелегальной организации, знал его вдоль и поперек", - вспоминала Вера Засулич.

И тем не менее, утверждал Климов, существует такая отлично законспирированная не только от полиции, но и от эмиграции партия, которая его руками выпускает в Женеве свой печатный орган. Сначала он под большим секретом сообщил об этом Черкезову, а затем в конце 1882 года вполне официально выступил в "Правде" от лица "партии социалистов-общников". После этого заявления газета обогатилась целым рядом статей на сугубо сельскохозяйственные темы - "О травосеянии", "О пропаганде земледельческих машин", которые составили жутковатый контраст с постоянно повторяющимися призывами "к войне, восстанию в окраинах, аграрным смутам..."

Итак, в эпоху всеобщего развала оппозиции удалось-таки обогатиться новыми мощными организациями: либеральным "Земским Союзом" и ультрареволюционной "партией социалистов-общников". Надо ли объяснять, что все это было ложью и подделкой, что за "Вольным Словом" и "Правдой" стояла одна совершенно определенная организация? Оба фрегата, появившиеся в начале 1880-х в далекой от морей столице Швейцарии - один под черным флагом анархии, другой под благонамеренным трехцветным вымпелом конституционализма, - получили снаряжение, боеприпасы и инструкции в одном порту, от одного начальства. Русская эмиграция стала жертвой грандиозной мистификации, организованной "Священной Дружиной", а точнее - единственным по-настоящему незаурядным деятелем в ее рядах - графом П. П. Шуваловым.

ФРЕГАТЫ ПОДНИМАЮТ ПАРУСА

Вскоре после основания "Священной Дружины" ее руководящим органом был предложен грандиозный план идейной борьбы против подполья с помощью периодической печати - как легальной, так и нелегальной. При этом особое внимание обращалось на то, что использование в подобных целях газет и журналов, откровенно официозных или, хотя бы косвенно, поддерживающих правительство, не может дать серьезных результатов. "Для действительного воздействия на общественное мнение требуется целая система газет, из коих одна служила бы сплочению охранителей, а прочие к разъединению противоправительственных партий". Во главу угла замысливаемой кампании ставилось, таким образом, не открытая борьба против революционных идей, а самая злостная провокация...

Автором плана был вышеупомянутый Павел Петрович Шувалов - один из основателей "Священной Дружины", державший в руках все ее заграничные дела. Он же по совету единолично принял и за претворение этого плана в жизнь, сосредоточив основное внимание на эмиграции. Именно Шувалову

русская колония в Женеве была обязана появлением там “либерала” Мальшинского с его “Вольным Словом”.

Эта газета стала первым и самым любимым детищем Шувалова. На нее возлагались большие надежды: “Вольное Слово” должно было сплотить и возглавить те круги эмиграции, которые выступали против террора - самой опасной, как казалось “дружинникам”, силы, угрожавшей самодержавию. Дело предстояло тонкое, требовавшее и ума, и ловкости, и хорошего образования, и приличной репутации. “Бывший сотрудник прогрессивных газет” отвечал всем этим требованиям. К тому же Мальшинский хорошо ориентировался в русском революционном движении: он действительно сочинил для служебного жандармского пользования довольно грамотную книгу на эту тему. А самое главное, создатель “конституционного органа” мастерски владел теми “тонкими” иезуитскими приемами, которые заурядного секретного агента превращают в виртуоза-provokatora. Он не только лгал на каждом шагу, но и делал это разнообразно, в зависимости от обстановки - то с горячим энтузиазмом, то с благородной сдержанностью. Он не только за версту чуял опасность, но и с редким искусством умел отводить ее от своей персоны. Он, наконец, обладал ярко выраженной способностью подлаживаться к нужным людям, проникать в их мысли, в их душу, и постепенно, исподволь овладевать ими, заставляя действовать в его, Мальшинского, интересах.

Если издатель “Вольного Слова” со всеми своими разнообразными талантами был редким исключением среди заграничной агентуры “братьев”, то его антипод - Климов, - напротив, воплощал в себе большинство расплевских пороков и слабостей. Недаром он и карьеру свою, до того как вступить на стезю секретного охранительства, тоже вершил по полицейской части - служил исправником. Если Климов чем и выделялся среди глупых, жадных и фантастически невежественных агентов “Дружины”, то только своей ретивостью и предприимчивостью, приводивших его нередко к весьма занятым результатам. Так, например, в бытность свою в Париже ему удалось завязать отношения с самим П. А. Кропоткиным. В своих донесениях начальству Климов живописал, с каким достоинством отвечал он на каверзные вопросы подозрительного анархиста: “Я двенадцать лет не был на исповеди, почему я должен исповедоваться перед вами?”; как расположил к себе Кропоткина настолько, что тот предложил ему свою крепкую дружбу... Как грандиозный успех оценил встречу Климова с Кропоткиным сам Шувалов в своем докладе Исполнительному Комитету “Дружины”. И лишь много лет спустя выяснилось, что знакомство сие было фикцией: веселая эмигрантская молодежь просто-напросто разыграла ретивого агента. Ему подсунили поддельного Кропоткина, у которого если и было что общего с настоящим, то только обширная борода - да и то не русая, как у Петра Александровича, а жуче черная...

Отличившись таким образом в Париже, Климов после недолгого перерыва - он принимал участие в охране царского дворца в Гатчине - вновь был послан за границу для дальнейших подвигов. Свое прибытие в Женеву он ознаменовал целым рядом безграмотных донесений о расстановке сил в русской колонии; так, в одном из них Шувалову рекомендовалось обратить особое внимание на опасную революционерку “Бырдину” (С. Бардину) и совсем уж жуткого “Ебиденя” (М. Эллидина, одного из издателей “Общего Дела”). Ясно, что такими сообщениями трудно было снискать не только лавры, но и хлеб насущный... Вокруг Климова сразу же создался вакуум: серьезные деятели эмиграции ему не доверяли, от подонков же проку было мало даже в агентурном отношении.

В подобном положении, как мы видели, неизбежно оказывалось подавляющее большинство агентов “Дружины”; каждый из них выкручивался как мог, в меру своих скудных способностей и фантазии, собирая по крохам сведения - как правило, не столько политического, сколько интимного характера - или изобретая небывалые заговоры и покушения. Климов же, будучи, повторяем, человеком весьма предприимчивым, рискнул пойти ва-банк с тем, чтобы обеспечить себе приличное житье-бытье за границей на более или менее длительный срок. Шкурные интересы навели бедствующего provokatora на ту же самую мысль, которая лежала в основе грандиозных планов его сиятельного патрона: “Давай-те, братцы, газету издавать...”

Эту идею Климов стал целенаправленно пробивать с начала июня 1882 года. Он гарантировал

начальству, что выпуском своей газеты "убьет" независимое от "Дружины" "Общее Дело", покончит с эмигрантами-конституционалистами и встанет "во главе террористов". Подобное предприятие, естественно, требовало средств, Климов просил выделить ему ежемесячное содержание 500 франков (около 200 рублей).

Нужно отдать должное Шувалову, который летом отдыхал от трудов в Германии на водах, передавая на это время заграничные дела кн. Щербатову: получив от последнего известие о неожиданной инициативе своего агента, которая, казалось бы, как нельзя лучше отвечала его собственным намерениям, он не выразил ни малейшего энтузиазма. Слишком уж хорошо представлял Шувалов возможности отставного исправника в качестве издателя "социальной газеты". Он, в частности, писал Щербатову, что, уж коли Климова потянуло к перу, он мог бы попробовать пристроиться к "Общему Делу", публикуя там свои "глупости", - это было бы куда убийственней для эмигрантской газеты, чем его открытая полемика с ней...

Однако Климов все-таки поддержку и средства от руководства "Дружины" получил, а после личного свидания с новым издателем изменил свое мнение обо всей этой затее и сам Шувалов. Он мастерски использовал "Правду" для двойной провокации: нелепые нападки слева, с позиций доведенной до абсурда "ультрареволюционности", служили своеобразной поддержкой "Вольному Слову" и в то же время компрометировали террор и террористов не хуже статей Драгоманова... Кроме того, вся эта искусственно развязанная, провокационная полемика, несомненно, усиливала взаимную подозрительность, и без того процветавшую в эмигрантских кругах, усугубляла идейную неразбериху, способствовала всеобщему развалу и разложению...

Пустив в плавание пиратские фрегаты, Шувалов должным образом озаботился об их оснастке и экипаже. Он был отлично подготовлен к тому, что в эмиграции возникнет вопрос о "партиях", стоящих за агентурной прессой, и не затруднился создать их буквально из ничего - из идейного марева... Особенно позаботился Шувалов о "Земском Союзе" - здесь все было хорошо и тщательно продумано. Он предложил изобразить "Земский Союз" небольшим кружком "братьев", перемешанных с двумя-тремя настоящими либералами, с последними этот змей-искуситель давно уже вел сложную и тонкую игру... Кадры "земской организации" подбирались Шуваловым буквально с первых дней существования "Вольного Слова". И когда пришла пора, "Земский Союз" был во всеоружии: за границу посылались "делегаты", завязалась оживленная переписка Драгоманова с "земцами", имитировалась некая деятельность на местах и т. д. Мистификация оказалась настолько искусной, что даже через много лет, в начале XX века все еще вызвала споры, в которых участвовали и историки общественного движения, и современники описываемых событий, причем большинство из них горячо отстаивали подлинность "Земского Союза"... Истину прояснили лишь публикации архивных материалов, связанных с деятельностью "Дружины".

Что же касалось "партии социалистов-общинников", то здесь все было сработано значительно проще и грубее, в полном соответствии со стилем "Правды" и натурой ее издателя. Похоже, что в том морском бою, который разыгрался в сухопутной Женеве, климовской посудине отводилась героическая роль камикадзе от провокации... Во всяком случае э т а мистификация поражала уже не искусностью своей, а откровенной наглостью, подделка была почти явной. Недаром же эмигранты, по словам Засулич, хотя и "не сразу догадались о провокаторском характере "Правды", но что это издание нелепое, странное, чуждое какому бы то ни было направлению в России - почуяли с первых же номеров".

Климов постоянно находился на грани провала; идейная поддержка, которую оказывал ему Шувалов, осуществлялась с поразительной небрежностью: противоестественное смешение пропаганды правильного травоядения с кровавыми лозунгами и разрушительными призывами возбуждало подозрительность даже у самых доверчивых читателей. К этому нужно добавить, что Климов развернул свою пропаганду террора как раз в то время, когда по Франции, а затем и по другим европейским странам прокатилась волна негодования, вызванная деятельностью лионских анархистов, организовавших взрывы в общественных местах. Как всегда в таких случаях, в поле зрения властей сразу же

оказалась русская эмиграция - постоянный источник "революционной заразы". Неприятности грозили даже изгнанникам, укrywшимся в "свободной и честной" Женеве. В этих условиях русская колония, подавляющее большинство членов которой безоговорочно осуждало анархистский безмотивный террор, с особенным негодованием восприняла публикации "Правды", они бросали кровавый ответ на всю эмиграцию.

В ноябре 1882 года представители различных групп русских эмигрантов в Женеве сделали совместное заявление, в котором утверждалось: ни они сами, ни их единомышленники из других центров эмиграции, ни одна из известных им подпольных организаций в России - никто из революционеров не имеет ничего общего с "Правдой" и ее издателем. От подобного заявления был один шаг до прямого обвинения в провокации, и все же оно так и не прозвучало. Казалось бы, все оборачивалось против Климова, но... Суть проблемы, решение которой оказалось не по силам эмигрантам, изящно сформулировал Драгоманов. Будь "Правда", к примеру, французской газетой, все сомнения снимались бы сами собой: ее издает агент-провокактор; но поскольку газета русская, сомнения остаются в силе: вполне возможно, что Климов всего-навсего один из многих "отечественных самородков". Поэтому женевская колония ограничилась тем, что и дейно отмежевалась от "Правды". Судя по всему, подобное решение вопроса вполне устроило другую заинтересованную сторону: Климов получил от эмиграции патент на звание "юродивого от революции" и мог невозбранно продолжать свое предприятие, что он и делал, щедро фабрикуя один "сверхреволюционный" номер за другим...

Итак, Шувалову удалось запустить маховик грандиозной провокации: "Дружина" обзавелась за границей органами, которые если и не признавались эмиграцией за свои, то все же терпелись и, более того, читались, вызывая бесчисленные споры, дразги и пр. Цель, поставленная дружинным руководством, казалось, была достигнута. Однако провокация во всей этой истории имела несколько уровней, и список одураченных в ней отнюдь не исчерпывался именами представителей русской колонии в городе Женеве...

ГОСПОДА МАНИПУЛЯТОРЫ

Мы, наконец, вплотную подошли к главному "двигателю" описанных выше событий, к человеку, который на протяжении двух лет, оставаясь за пологом почти полной секретности, подобно искусному иллюзионисту, манипулировал людьми, организациями, идеями... Шувалова нельзя даже назвать персонажем этой запутанной истории, он - более чем действующее лицо, он - творец, распорядитель, демиург до поры, до времени... И, конечно же, эта яркая личность нуждается в более развернутой характеристике.

Среди того паноптикума, который представляло собой руководство "Дружины", Шувалов выделялся весьма заметно. Правда, с одной стороны, он был, казалось, плоть от плоти "картавого народа", давшего этой организации столько славных рекрутов: член одной из знатнейших фамилий России, полковник лейб-гвардии гусарского полка, флигель-адъютант, признанный лев петербургских салонов, в которых его обычно называли "граф Боби" - далеко не каждый "картавый" мог похвалиться подобным набором специфически светских достоинств. Но наряду с тем Шувалов обладал и целым рядом качеств, "лоботрясам" не свойственных: был умен, образован - он имел степень доктора юридических наук Гейдельбергского университета, - энергичен, деловит и более чем предприимчив... В то же время, в отличие от дельцов типа Путилина или Щербатова, он никогда не опускался до того, чтобы улаживать свои финансовые дела за счет дружинной казны; своим участием в этой организации Шувалов преследовал куда более тонкие и сложные интересы...

В кругу, так сказать, "легальных" реакционеров - среди которых были и те, кто, подобно Победоносцеву и Каткову, сгоряча записался в члены "Дружины", но влиянием в ней не пользовался и участия в "подпольных" авантюрах не принимал, - с немалым беспокойством следили за деятельностью благонамеренной крамолы; и именно Шувалов вызывал здесь наибольшие подозрения и неприязнь.

Известен резкий отзыв о нем Д. А. Толстого, которому в ближайшем будущем предстояло занять пост министра внутренних дел и тем самым возглавить всероссийскую реакцию: он сулил "графу Боби Шувалову и Ке место в колонии для малолетних преступников". А кн. В. П. Мещерский, издатель "Гражданина", личный друг нового царя и один из вдохновителей реакционного курса, в 1882 году, в самый разгар деятельности "Священной Дружины", опубликовал роман "Князь Нони", направленный против этого, наверное, самого незаурядного из ее членов. Главный герой романа Мещерского - великосветский деятель, нераскаянный честолюбец, упорно стремящийся к верховной власти в России. Обуреваемый мечтами о президентском кресле, князь Нони - читай, граф Боби - готов использовать любые средства: недаром он поддерживает связи с подпольем, недаром хранит у себя портрет главного "нигилиста" Чернышевского...

На первый взгляд, подобные обвинения кажутся фантастическими, поскольку речь идет об одном из самых ярких лидеров "Священной Дружины", организации, поставившей во главу угла своей деятельности охрану самодержавного престола и беспощадную борьбу с революционным движением. А между тем дым был здесь не без огня... Дело в том, что Шувалов предполагал защитить престол средствами, совершенно отличными от тех, которые рекомендовались Толстым, Мещерским, Победоносцевым и прочими.

Так, не случайно в романе Мещерского возникло имя великого революционера: Шувалов действительно был одним из вдохновителей и организаторов очень сложных и запутанных переговоров, которые велись между руководством "Дружины" и революционерами, - об освобождении Чернышевского при условии прекращения последними террористической деятельности. Причем совершенно очевидно, что для Шувалова эти переговоры были лишь необходимой зацепкой, он стремился установить контакты с подпольем и эмиграцией во имя решения более широких задач... Н. Я. Николадзе - литератор и общественный деятель, бывший посредником в этих переговорах, - вспоминал, как в 1883 году, когда песня "Дружины" была уже спета, Шувалов пенял ему на "революционную партию": она-де "упустила редчайший случай водворить в России парламентское правительство. Для этого надо было не сходить с точки зрения письма Исполнительного Комитета к Александру III по поводу 1-го марта. Общие места и туманные требования этого письма надлежало предъявить в более конкретной деловой форме параграфов конституции". Более того, Шувалов предлагал организовать встречу Николадзе с Александром, во время которой царя следовало принудить к уступкам угрозой возобновления террора. Свидание не состоялось из-за отказа Николадзе.

О серьезности "конституционных устремлений" Шувалова свидетельствует прежде всего его собственная судьба. Этот человек, который постоянно лгал, лукавил, вел двойную, а то и тройную игру, был вполне откровенен и даже самоотвержен в одном: на протяжении года он дважды (в мае 1881 и в мае 1882) подавал царю, заведомо не терпевшему никаких попыток к ограничению самодержавия, записки о введении конституции в России... Живописуя ужасы крамолы, Шувалов указывал царю на единственно верное, с его точки зрения, средство борьбы с ней: "Ежегодный призыв в состав особого законодательного учреждения выборных людей, умеющих подавать свое мнение по поводу всех возникающих по установленному порядку законопроектов, но без представления им участия в верховной власти, сосредоточенной в руках государя".

Сочинительством подобного рода Шувалов, вне зависимости от судеб "Священной Дружины", вынес себе приговор: Александр откликнулся на его проект резкой резолюцией; Шувалов вынужден был выйти в отставку и долгое время безвыездно жил в своем поместье; в светском кругу его ослабили только что не сумасшедшим. Нам представляется, что Шувалов никак не мог игнорировать возможность столь печальных последствий; он должен был ясно видеть, на какой риск идет, под какой удар ставит свою карьеру, свое положение в обществе. И тем не менее все эти соображения его не остановили... Иными словами, конституция была для Шувалова отнюдь не проходной картой в сложной карьерной игре, а возжеленной целью, ради которой он оказался способным пожертвовать многим.

При этом, судя по всему, Шувалов был не слишком одинок в своих "конституционных стремлениях". Характерно, что о необходимости конституции постоянно твердит в своем дневнике Смелянский -

в общем-то мелкая сошка в "Дружине": с Шуваловым он не имел никаких серьезных связей и до этой мысли дошел своим умом. Что же касалось дружинных верхов, то Шувалов, очевидно, имел там поддержку в лице самого "Набольшего" - таково было конспиративное прозвание главы организации И. И. Воронцова-Дашкова - и С. Ю. Витте, стоявшего, как мы видели, у истоков "Дружины". Во всяком случае именно эти имена всплывают в письмах Драгоманова...

Да, Драгоманов, один из самых уважаемых людей в русской эмиграции, вел переписку и с Шуваловым, и с Витте, отлично зная, членами какой организации они являются; для него не было секрета в том, что реально представляет из себя таинственный "Земский Союз"... В свое время, в начале XX века, утверждение В. Я. Богучарского о том, что "Вольное Слово" издавалось под эгидой "Дружины", вызвало резкие возражения со стороны как украинских, так и русских историков и публицистов, оберегавших прежде всего чистоту имени Драгоманова, занимавшего в интеллигентских кругах видное место. Тогда этот вопрос так и не был решен окончательно. Теперь же, после образцовых в своем роде исследований Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина,* совершенно очевидно, что Богучарский лишь приподнял край завесы, скрывавшей тайны мрачные и малопривлекательные...

Вот отрывок из письма Драгоманова к Витте от 15 мая 1882 года: "Конечно, не то важно, что я отдал себя этому предприятию, а то, что теперь следует быть постоянно и без перерыва настороже, надо всю свою память и даже личную жизнь перестраивать или - как бы это сказать - подгонять к постоянной "роли", не переборщить, не недоговорить с людьми и здешними и нападающими на Женеву как горная тучка. "Земский Союз" может быть ширмой очень прочной и надежной, только при такой же подгонке (не найду слова!) и со стороны А. П., Вашей и П. П. (т. е. Мальшинского, Витте и Шувалова - А. Л.), главное же - и вот это-то больше всего меня свербит - Набольшего". "Земский Союз", пишет Драгоманов, его не беспокоит "касательно правдоподобности" - "уж Вы-то сумеете его раздуть, но между прочим и здесь случиться могут неожиданные осложнения... Давайте побольше начинки, тогда пирог можно подать к столу не краснея". Он сравнивает свои конспиративные способности с шуваловскими: "Сам человек очень ловкий, практичный, он (Шувалов - А. Л.) не понимает, что прочим при меньшей от природы ловкости приходится напрягаться и опять, как сказал, подгоняться... "Вольное Слово" должно быть за П. П. Как за каменной стеной". И, наконец, сетует, что "куда-то затерялся" шифр, которым пришлось вести переписку; просит прислать новый.

Это письмо "своему человеку", с которым существует полное взаимопонимание, по крайней мере в обсуждаемых вопросах. После этого не вызывает удивления участие Драгоманова в редактировании фальшивой программы фальшивого "Земского Союза", опубликованной в "Вольном Слове"; обсуждение им в переписке с Мальшинским "похода на народовольцев" и т. д. Но, конечно же, все это требует объяснений.

Их дал сам Драгоманов: в 1888 году, через несколько лет после того, как вся эта детективная история получила полное и окончательное завершение, он изложил ее в беседе со своим молодым другом и сотрудником В. Л. Бурцевым следующим образом: вывертываясь из петли грозящих разоблачений, Мальшинский открыл ему, Драгоманову, на какие средства издается "Вольное Слово". Драгоманов решил попытаться использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу, точнее, в пользу того дела, которому служил: "С опасностью скомпрометировать себя, для того, чтобы спасти единственную существовавшую тогда за границей газету "Вольное Слово", принял на себя ее редактирование. Свои отношения с издателями "Вольного Слова" Драгоманов вел через графа Шувалова... Решившись взять в свои руки скомпрометированную газету, Драгоманов надеялся сделать из нее независимый политический орган и повел его совершенно самостоятельно".

Характерно, что сам Бурцев, единственный и неповторимый в своем роде борец с провокацией, оценивал действия Драгоманова как ошибочные, но в то же время твердо и уверенно заявлял: "Для меня его политическая независимость от "Священной Дружины" в редактировании "Вольного Слова" была вне сомнения", - и подобное суждение выглядит вполне обоснованным. Действительно, ситуация, в которую попал Драгоманов, была, мягко говоря, деликатной, и он отлично это понимал. "Почему я не возьму в руки газету? - писал он жене летом 1882 года. - Потому что ее дали в руки другие. Хорошо и то, что эти

руки пригласили к участию и мои руки, а я имел возможность пригласить еще и другие. Во всяком деле надо прежде всего рассчитывать, какое положение дано и неизменно, а какое изменимо, и с первым мириться как с жарою в июле и с холодом в январе, да при этих условиях и делать свое дело”.

И Драгоманов делал свое дело... “Политическую независимость” он, надо думать, действительно сохранил, сумев подчинить “Вольное Слово” своим интересам, что было тем легче сделать, поскольку эти интересы совпадали, по существу, с потаенными интересами главного распорядителя сей мистификации - Шувалова. По сути дела, Драгоманов пошел на соглашение с нечистой силой, и черт оказался не так страшен, как его малевали... Но ведь недаром в русских сказках, так же, наверное, как в фольклоре всего мира, подобные соглашения дорогого стоят: за временный успех здесь всегда приходится платить сторицею... И Драгоманову, так любившему афоризм “Чистое дело - чистыми руками”, пришлось платить именно своей чистотой; ему, едва ли не первому из крупных общественных деятелей, пришлось мараться в той жирной, пахучей грязи, которая впоследствии буквально затопила общественную жизнь и революционное движение в России... Ведь, в сущности, речь шла о сознательном участии в провокации.

Провокация эта носила двусторонний характер. С одной стороны Драгоманов проповедовал конституционные идеи, публиковал резко критические корреспонденции, полученные от местных земских деятелей, обличал самодержавие, - и все это с ведома и благословения “Священной Дружины”, созданной во имя беспощадной борьбы с теми, кто пытался противостоять самодержавной власти. С другой, корреспондент и сотрудник Драгоманова Шувалов принимал самое деятельное участие в руководстве “Дружиной”, т. е. разрабатывал планы истребления революционеров, наводнял зарубежье агентурой, создавал фальшивые органы печати и организации для внесения сумятицы в ряды противников существующего строя и в то же время старался использовать силы этих противников для введения конституции в России... Если учесть к тому же, что Шувалов руководил еще и Климовым, постоянно поливавшим грязью Драгоманова и “Вольное Слово”, а “Вольное Слово” при первой возможности обрушивалось на “Священную Дружину” и, в частности, на самого Шувалова, то станет ясно, в какой удушливой атмосфере лжи происходило все это действие.

Кто оказывался в выигрыше в результате этой запутанной игры, участники которой во имя своей победы отказались по сути от всяких правил? Самодержавие, пытавшееся разложить оппозицию, или оппозиция с ее преобразовательными стремлениями? Дать сколько-нибудь четкий ответ на этот вопрос весьма и весьма затруднительно... Ясно одно: и без того чрезвычайно сложные, противоречивые условия общественной борьбы в России теперь безмерно осложнялись провокацией. Мареву чудовищной лжи все в большей степени скрывало позиции враждебных сторон, и вместо открытого противостояния на поле брани готова была начаться жуткая взаимная резня в потемках...

КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО, ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Что касается нашей истории, то она приближается к концу, который оказался вполне достоин ее содержания. 30 мая 1882 года Н. П. Игнатьева, одного из главных покровителей “Дружины” в высших сферах, сменил на посту министра внутренних дел Д. А. Толстой, относившийся к благонамеренной крамоле крайне неприязненно. По мере того как влияние нового министра на Александра упрочивалось, положение “Дружины” становилось все более шатким. В высших сферах все сильнее разгоралась глухая, но ожесточенная борьба между “братьями” и Департаментом полицейской власти, причем конкурента, несмотря на все свои немощи, достаточно опасного. Во главе этой борьбы стоял инспектор тайной полиции Г. П. Судейкин - сам, поистине, гений провокации, замесливший в это время такую грандиозную аферу, перед которой все шуваловские деяния должны были показаться детской игрой в кошки-мышки... Сглядывая со стороны, из благонамеренного подполья, ему, естественно, были ни к чему.

Кампанию против “Дружины” Судейкин вел энергично и в то же время весьма осмотрительно: тщательно собирал компрометирующий материал, постоянно настропалая против конкурентов непос-

редственное начальство - директора департамента полиции В. К. Плеве и Толстого; последний же выходил с соответствующими докладами уже непосредственно на царя. Подготовив должным образом всю игру, Судейкин прихлопнул противника козырным тузом, который он с изяществом шулера-виртуоза извлек из своего рукава...

24 мая 1882 года в газете "Новое Время", которую издавал А. С. Суворин - человек хваткий и в то же время чрезвычайно осторожный, - появилась статья "Политическое шулерство", в основу которой лег... циркуляр "Священной Дружины", приглашавший к вступлению в сию организацию. Публикация сопровождалась язвительным комментарием, резкими выпадами против дружинников и прозрачными намеками на слабость правительства, которое терпит подобную "самодетельность". Первозданная прелесть циркуляра в еще большей степени усиливалась тем, что на нем был указан "обратный адрес" - Главпочтамт, Н. И. Кiedусу; не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы перевести эту непривычно звучащую фамилию на русский язык: каждый желающий может самостоятельно сделать это, прочтя ее справа налево.

Циркуляр был всамделишным; адрес - фальшивым: кружок петербургской молодежи, заполучив этот интересный документ - об уровне конспирации в "Дружине" мы уже писали, - не вникая в подробности, украсил его вывернутой наизнанку фамилией инспектора тайной полиции, которая тогда была у всех на устах, и разослал по редакциям различных газет. В. Я. Богучарский, основательный разобравшийся в этой истории, отмечал, что одним из членов кружка, принимавших непосредственное участие в рассылке циркуляра, был брат знаменитого в ближайшем будущем провокатора Сергея Дегаева Владимир, который сам в это время уже находился в непосредственном сношении с Судейкиным... Характерно, что никто из членов кружка, бывшего под колпаком у полиции, за эту "шалость" не пострадал; точно так же без всяких последствий осталась и весьма дерзкая по тону и убийственная по содержанию публикация "Нового Времени". Да Суворин, вероятнее всего, и не пошел бы на такой риск, если бы опасался последствий...

Все было разыграно, как по нотам. Теперь, совершенно справедливо писал Богучарский, "Толстому уже не трудно было представить государю, к каким, мол, приемам прибегают дружинники, как компрометируют они полицию, ибо легкомысленные люди принимают этот циркуляр, как исходящий действительно от Н. И. Кiedуса, т. е. Судейкина, а ни он, ни Плеве, ни Оржевский тут, конечно, ни при чем, что дело получило страшно скандальную огласку и что, следовательно, "Дружину" надо упразднить совершенно". Для царя, уже достаточно подготовленного к соответствующему решению, это дело послужило последним толчком, - Александр не терпел подобных скандалов.

В декабре 1882 года именно Павлу Шувалову суждено было подписать последний циркуляр "Дружины", разосланный всем ее членам, в котором сообщалось, что Государь император, выразив свое монаршее благоволение "всем тем лицам, которые вошли в состав общества, имевшего целью охрану Его Величества и борьбу с крамолой", повелевает "ввиду изменившихся обстоятельств" деятельность вышеозначенного общества прекратить.

Это был, естественно, конец и для "шуваловской" прессы. По идее, все наследство "Дружины" должно было перейти в руки победителя. Но "Вольное Слово" к этому времени уже было неразрывно связано с личностью своего редактора и главного сотрудника, а манипулировать Драгомановым не смог бы даже Судейкин: этот человек оказался способен пойти на сознательное сотрудничество с "братьями"-конституционалистами, но агентом тайной полиции, конечно, никогда бы не стал. В результате "Вольное Слово" скончалось естественной смертью, после того как были истощены средства, полученные от "Дружины". Климов же успел-таки выпустить несколько номеров под новым руководством, но вскоре "Правда" была ликвидирована - очевидно, за ненадобностью - и лихой "социалист-общинник" канул в неизвестность. Судейкина в те дни томили совсем иные планы: идя по горячему шуваловскому следу, он подготавливал грандиозную провокацию, которая должна была передать в его руки власть над революционным движением, бюрократией, царем - над всей Россией... Но это уже совсем другая история.

САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ САМОВЛАСТЬЯ

Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего - монарха - разветвляется так: первое лицо в государстве - государь, правящий всем государством; за ним второе - губернатор, который правит губерниию, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье - городничий, "сидящий на городе"... Так воспроизводил народное понятие о власти Н. С. Лесков в своем замечательном "Однодуме", понятие, не только выразительно лаконичное, но и вполне справедливое.

Конечно же, помимо означенных здесь "первых лиц", существовала еще масса чиновников всех рангов: царь осуществлял свою власть посредством центрального правительства (министров, директоров департаментов и прочих); губернатор - при помощи губернского правления; штат, окружавший городничего, хорошо известен читателю по гоголевскому "Ревизору". Но уровни власти обозначены Лесковым совершенно точно: именно так, тремя уступами, грандиозная пирамида российской бюрократии "снисходила" к своему основанию - придавленному ею российскому обывателю, безгласному и бесправному... Связью же, лучше всякого цемента крепившего сию пирамиду в единое целое, была строжайшая централизация: все носители власти - естественно, кроме самого "первого лица", - назначались вышестоящими инстанциями, сверху вниз; распоряжения этих инстанций определяли и всю их деятельность, в которой они регулярно отчитывалось, - снизу вверх. "В России все чиновники живут, задрыв рыло кверху" - эта, вышедшая из круга радикальной интеллигенции характеристика подобной системы справедлива, очевидно, не только для России прошедших времен... В самом деле: сверху назначают, сверху награждают, сверху распекают... От тех же, кто находится внизу, кем, собственно, и приходится управлять, чиновничья судьба практически не зависит. Последовательно проведенная бюрократизация системы управления неизбежно превратила ее в нечто самодовлеющее.

В российской истории, казалось бы, можно отыскать исключения из этого "железного правила": временами центральная власть как будто нарушала свои собственные принципы и привлекала к управлению выборных - представителей различных сословий. Так, в XVI веке, в первые годы царствования Ивана Грозного, в России была проведена реформа, передававшая целый ряд важных функций местного самоуправления губным и земским старостам - выборным от служилых людей и черносошных крестьян. Через двести с лишним лет - в 1775 году - Екатерина II, проводя губернскую реформу, опять-таки допустила формирование административных и судебных органов низшего, уездного уровня на выборных началах - туда выдвигали своих представителей все те же дворяне и городская верхушка.

Однако это были те самые исключения, которые лишь подтверждали общее правило. В. О. Ключевский совершенно справедливо оценивал подобные "демократические преобразования" как "обычный прием устроительной политики" центрального правительства: "требовался новый налог; требовались новые ответственные и даровые органы местного управления - обязательная поставка была возложена на местное общество". Самоуправлением здесь и не пахло: выборные органично входили в бюрократическую систему, занимали в ней соответствующие ниши, превращаясь в чиновников, представлявших интересы центральной власти, а отнюдь не тех, кто их выбирал.

Таким образом, вводя выборные должности, власть не ослабляла свои структуры и даже не видоизменяла их - она лишь облегчала себе жизнь, получая подкрепление извне, из небюрократической среды. Она заходила и еще дальше в этом направлении: к концу XVIII века правительство чуть ли не всю полноту ответственности за материальное положение крепостных, их поведение, выплату ими податей и прочее возложило на хозяев - помещиков, превратив тем самым неслужащих дворян в своих функционеров. "У меня сто тысяч даровых полицмейстеров", - говаривал по этому поводу Николай I. А Л. В. Дубельт, управляющий делами III отделения собственной его императорского величества канцелярии, писал: "Помещик - самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежемесячно распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ наплет и хлынет со временем на самого царя". Бюрократическая пирамида, вбирая в себя чуть ли не весь господствующий класс, обретала тем самым мощный фундамент.

Но если на деле власть бюрократии вплоть до эпохи реформ ни в чем не претерпела ущерба, то в теории закономерность ее господства постепенно начала подвергаться все большим сомнениям. Оставив в стороне пылкие мечты и грандиозные проекты, рождавшиеся в среде оппозиционного общества, обратимся к тому замечательному плану государственного преобразования, который вышел непосредственно из бюрократической среды.

Речь идет о плане одного из ведущих государственных деятелей начала XIX века М.М. Сперанского, созданном по прямому указанию самого царя, Александра I, озабоченного несовершенством бюрократической системы управления. В преамбуле этого плана Сперанский прямо писал, что Россия приближается к неминуемой катастрофе, предвестником которой является падение престижа власти в народе, равно как и утрата ею морального авторитета в обществе. Власть не уважают постольку, поскольку "настоящая система правления несвойственна уже более состоянию общественного духа". Во имя спасения России Сперанский настаивал на кардинальных переменах в характере всего государственного строя.

Не вдаваясь в подробный анализ этого действительно грандиозного плана, отметим то, что представляет для нас наибольший интерес: в нем впервые в истории русской общественной, а тем более чиновничьей мысли, была детально разработана структура органов самоуправления, которой предстояло, по мысли Сперанского, потеснить структуры бюрократические, органично сосуществовать с нею в совместной работе на благо России.

Сперанский предполагал, что, наряду со старой административной системой, на всех территориальных уровнях - в волостях, уездах, губерниях - будут созданы единообразные выборные органы - думы. В думских выборах, проводимых на основе имущественного ценза, должны были принимать участие представители всех сословий, за исключением крепостных крестьян. Функции новых органов определялись Сперанским четко: собираясь раз в три года, думы выбирают членов правления, которым предстоит вплоть до следующего собрания вести местное земское хозяйство; контролируют местные доходы и расходы; выдвигают своих представителей в "вышестоящую" думу (волостная - в окружную, окружная - в губернскую) и сообщают ей о местных нуждах. Таким образом, принципы построения и деятельности органов местного самоуправления в корне отличались от бюрократических: здесь система строила себя снизу вверх, а действовала во имя удовлетворения интересов тех, кто стоял ниже...

Венчала эту систему Государственная дума, состоявшая из гласных, выдвинутых думами губернскими; этот орган, имевший мощную опору в местных органах самоуправления и представлявший по сути интересы населения страны, наделялся Сперанским законодательными функциями.

Таким образом, оставляя за центральной властью все орудия административного управления, Сперанский в то же время пытался вывести ее из бюрократического затворничества, предоставить ей возможность услышать голос различных слоев населения, составить ясное представление о народных нуждах. На всех уровнях управления, вплоть до высшего, автор проекта предусматривал живое взаимодействие между властью, назначаемой сверху и проводящей в своей деятельности интересы центра, и органами выборными, выражавшими интересы местного населения. В результате должно было возникнуть вожаделенное равновесие между удовлетворением государственных нужд и народных потребностей, которое совершенно отсутствовало в деятельности самодержавно-бюрократического аппарата.

...Ненависть со стороны высшей бюрократии и столичного дворянства, ссылака за государственную измену - вот те "награды", которые получил автор крамольного плана. И, очевидно, нет необходимости доказывать неосуществимость его идей в условиях крепостной, разделенной на противостоящие друг другу сословия России. Но как путеводная звезда, как идеал, - которому, кстати, так и не суждено было воплотиться в действительность, - план Сперанского сыграл выдающуюся роль в борьбе за преобразование Российского государства.

Первые робкие шаги на пути реорганизации государственного строя власть предприняла в 1860-х годах, в эпоху реформ, да и то не по своей воле. Отмена крепостного права преопределила необходимость дальнейших преобразований, и прежде всего - в системе местного управления. В самом деле, после того как крестьяне получили свободу и минимум гражданских прав, "даровые полицейстеры" помещики волей-неволей сложили свои полномочия... Сразу же встал вопрос об органах уездного уровня, которые также состояли из представителей поместного дворянства, а управляли всем местным населением, - подобные органы являлись порождением крепостного права и должны были исчезнуть вместе с ним.

Конечно же, у правящей бюрократии был большой соблазн решить дело с помощью верного, испытанного средства: распространить свои структуры донизу, до самой "почвы" и тем самым заполнить возникший вакуум власти. Однако правительству пришлось убедиться, что в пореформенной России оно не будет иметь прежней свободы действий, - в стране возникла новая, неведомая ранее сила, с которой власть так или иначе вынуждена была считаться, - сила общественного мнения.

Так, в 1862 году тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором, требуя дальнейших преобразований в сфере судебной, финансовой и прочих, выражало твердое убеждение в том, что "осуществление этих реформ невозможно путем правительственных мер... Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, дворянство глубоко проникнуто убеждением, что правительство не в состоянии их совершить..." Заявляя таким образом о полной несостоятельности правящей бюрократии, тверские дворяне указывали путь, на который "должна вступить власть, чтобы спасти себя и общество", - созвать "собрание выборных от всего народа без различия сословий", не больше и не меньше...

Схожие призывы раздавались и в других дворянских собраниях - рязанском, московском, тульском. Даже консервативно настроенные помещики не скрывали своей неприязни к бюрократии, требуя, чтобы она поделилась властью, правда, не со "всем народом", а только с ними, дворянами, компенсировав тем самым ущерб, нанесенный "благородному сословию" крестьянской реформой... И вся эта критика разворачивалась на фоне крестьянских бунтов, студенческих волнений, подпольной деятельности радикалов.

Правительство на глазах теряло присущую ему самоуверенность. Один из самых компетентных его членов министр внутренних дел П. А. Валуев, предлагавший Александру II пойти на некоторые уступки обществу, обращал его внимание на то, что власть теряет опору среди населения: "Меньшинство гражданских чинов и войско, - писал он, - суть ныне единственные силы, на которые правительство может вполне опереться". И царь согласился с подобной оценкой положения в стране, пометив на полях: "Грустная истина..."

В этих условиях правящая бюрократия уже не в силах была сохранить свое всевластие. Она

отступила перед новой силой на местах, в уездах и губерниях - там, где, с одной стороны, все равно не миновать было переустраивать систему управления, а с другой, - отступление представлялось сравнительно безопасным.

"Положения о губернских и уездных земских учреждениях", получившие законную силу 1 января 1864 года, по содержанию несколько напоминали "План" Сперанского, но ухудшенный и искаженный донельзя.

Прежде всего "пострадала" структура предполагавшихся органов. В соответствии с "Положениями" население уездов раз в три года должно было избирать своих представителей в уездные земские собрания, которые собирались ежегодно для решения следующих вопросов: разработка общего плана ведения местного хозяйства; утверждение сметы доходов и расходов и выбор из своей среды членов управы - постоянно действующего распорядительного земского органа. Кроме того, уездные гласные выдвигали своих представителей в губернские собрания, формируя тем самым земские органы высшего уровня. Деятельность губернского земства определялась теми же задачами, что и уездного, но, естественно, в масштабах всей губернии.

По сравнению с той структурой самоуправления, которую предполагал создать Сперанский, незавершенность и непоследовательность этой системы органов бросается в глаза. Как отмечали многочисленные критики реформы, "земское строение" оказалось лишенным, как фундамента - низших, волостных земств, так и крыши - общероссийского представительного органа, который, подобно предполагавшейся Сперанским Государственной думе, венчал бы собою земскую систему. А это, с одной стороны, неизбежно отрывало подобную систему от "земли", от повседневных, самых насущных нужд местного населения, а с другой, - лишало ее возможности действовать как единое целое, представлять интересы всего "земского", нечиновного населения России.

В отношении организации выборов был также сделан заметный шаг назад по сравнению со Сперанским. Если последний в основу выборов положил имущественный ценз, то члены подготовительной комиссии исходили прежде всего из феодального, сословного принципа - имущественное положение избирателей играло в их проекте подчиненную роль. В соответствии с этим принципом все население уезда делилось на три группы избирателей, так называемых курий. В первую входили землевладельцы, имевшие не менее 200 десятин земли или пользовавшиеся годовым доходом не менее 6 тысяч рублей; во вторую - горожане с аналогичным годовым доходом; в третью - крестьяне. В отношении крестьянской курии имущественный ценз не определялся; зато выборы были здесь непрямыми - носили многоступенчатый характер: сельские общества выдвигали своих представителей на волостной сход, на сходах выбирали выборщиков, и лишь эти, последние, определяли, кто будет гласным крестьянства в местное уездное управление.

Здесь побуждения власти были совершенно ясны: несмотря на все трения, которые возникали у правительства в это время с дворянством, оно все же доверяло "благородному сословию" куда больше, нежели нарождавшейся буржуазии или крестьянству. И создавая, по жестокой необходимости, земство, власть сделала все, чтобы поставить его под контроль дворянства. С помощью несложных цифровых выкладок была сконструирована такая избирательная система, которая обеспечивала численное преобладание поместного дворянства в уездном и, соответственно, в губернском земствах. Ведущая роль, предуготованная правительством этому сословию в местном управлении, подчеркивалась еще и тем, что по "Положению" председателями уездных собраний должны были стать уездные, а губернских - губернские предводители дворянства.

Обращала внимание и ограниченность компетенции земства: власть настойчиво подчеркивала, что его функции определяются исключительно местными, хозяйственными по преимуществу, делами; никакие проблемы общего характера обсуждению в собраниях не подлежат... Все эти и многие другие недостатки новорожденной системы самоуправления сразу же обратили на себя внимание русского общества и подвергались с его стороны критике, зачастую резкой и, как правило, справедливой.

И все же большинство общественных деятелей, и в центре и на местах, весьма оптимистично смотрели на будущее земства. С их точки зрения, реформа впервые в истории России предоставляла

возможность для реальной самостоятельной деятельности населения, деятельности в собственных интересах. В этой работе можно было надеяться не только поднять уровень жизни населения, но и преодолеть отчужденность, недоверие, непонимание, которые веками накапливались во взаимоотношениях противостоящих друг другу сословий. В то же время земская деятельность, по мнению многих, должна была стать чем-то вроде приготовительного класса в школе представительного правления: прежде чем добиваться введения конституции, нужно было научиться своими силами решать местные проблемы. И К. Д. Кавелин, один из самых ярких либеральных деятелей пореформенной поры, выражал мнение многих, когда писал: "От успеха земских учреждений зависит вся наша будущность, и оттого, как они пойдут, будет зависеть, готовы ли мы к конституции. Пора бросить глупости и начать дело, а дело теперь в земских учреждениях и нигде больше".

Невзирая на все многочисленные недостатки в своей организации, земство показало себя вполне жизнеспособным, развернув на местах активную и весьма плодотворную деятельность. Либерально настроенные земцы поначалу составляли большинство во многих уездах и губерниях; а по тем временам быть земцем-либералом означало быть искренне заинтересованным в результате своей работы. Под руководством подобных деятелей многие земства упорно и не без успеха пытались разобраться в причинах местных хозяйственных и прочих неурядиц и устранить их своими силами; если же это оказывалось невозможным, они засыпали ходатайствами губернскую администрацию и высшие инстанции, требуя обратить внимание, помочь, выделить средства...

Либеральный состав собраний и управ обуславливал и соответствующий подбор кадров земской интеллигенции, служившей здесь по найму. В пореформенной России не было недостатка в прекрасных работниках-энтузиастах, горевших желанием послужить народу своим трудом, своими знаниями, - и земство предоставило им такую возможность. В результате - впервые в истории России крестьянство получило квалифицированную медицинскую помощь; в селах появились отлично подготовленные учителя; трудами земских статистиков была создана объективная и ясная картина хозяйственной жизни страны. Наверное, никогда еще русский интеллигент не трудился так истово, с таким жаром, - наконец-то у него появилось с в о е реальное благое дело.

Работа кипела... Но она имела смысл лишь постольку, поскольку соблюдалось правило: земства действуют свободно и независимо, - недаром ведь они назывались органами самоуправления. При этом условии можно было преодолеть любые препятствия - нехватку средств, "недостроенность" системы, непропорциональное представительство сословий; при этом условии местное население и впрямь получало определенную возможность на деле решать свои проблемы и защищать свои интересы. Но именно это условие власть стала нарушать с железным постоянством буквально с первых же лет существования земства: самостоятельность и независимость земства чрезвычайно раздражала бюрократию всех уровней. Ощутив - уже не в теории, а на практике, - сколь серьезна брешь, пробитая в ее структурах земской реформой, власть принялась подгонять новые органы под старый строй.

Кое-какие рычаги, с помощью которых местная администрация могла влиять на деятельность своего новоявленного конкурента, были созданы уже "Положениями" 1864 года. Так, например, в них никак не предусматривались органы, с помощью которых земства сами могли бы собирать с населения соответствующие платежи и проводить в жизнь свои хозяйственные планы. А следовательно, в этом вопросе целиком и полностью зависели от уездных чиновников - исправников и становых, которые с превеликим удовольствием саботировали чуждую, противную им систему. Впрочем, пассивное сопротивление уездной администрации еще можно было пережить. Куда сложнее было противостоять активной антиземской деятельности губернских властей, которые буквально с каждым годом получали все более серьезную возможность влиять на органы самоуправления. Во второй половине 1860-х - 1870-х годах губернаторам было дано право отказывать в утверждении любому лицу, избранному земством, но сочтенному им, губернатором, неблагонадежным. Еще большие карательные права губернские власти получают в отношении "лиц, служащих по найму", - земских врачей, учителей и прочих: по малейшему поводу, а нередко и просто по анонимному, ничем не подтвержденному доносу нежелательное лицо не только изгонялось из земства, но и высылалось за пределы губернии...

Кроме того, губернатор становился цензором всех печатных изданий земства - докладов, отчетов, журналов заседаний. Всеми этими правами местная власть пользовалась максимально широко, совершенно открыто относясь к земству, как к противнику, которого должно если не уничтожить, то, по крайней мере, покорить.

Аналогичной была и позиция высшей власти: как из дырявого мешка на головы земцев сыпались из центра предостережения и выговоры за "вмешательство" в дела, принадлежащие "кругу действий правительства". Иной раз "дерзость" земцев вызывала и более серьезные меры: приостановку деятельности земских органов, наказание гласных и т. д.

В целом отношение власти к земству как нельзя лучше выразил губернатор - один из героев "Мелочей жизни" М. Е. Салтыкова-Щедрина: "Я укажу вам на мостик - вы его исправите; я сообщу вам, что в больнице посуда дурно вылужена - вы вылудите. Задачи скромные, но единственные, для выполнения которых мне необходимо ваше содействие. Во всем прочем я надеюсь на собственные силы и указания начальства. Итак, не будем витать в эмпиреях..."

Бюрократия, как будто теоретически осознав необходимость уступок, компромиссов, оказалась совершенно не способной осуществить их на практике. Создав систему самоуправления, которая действительно могла бы стать полем серьезной, полезной для государства деятельности оппозиционных сил, власть сама же в скором времени извратила ее и тем самым скомпрометировала. С каждым десятилетием земство становилось все менее привлекательным для тех, кто искал приложения своих сил к решению жизненно важных проблем пореформенной России. Окончательно добив земство контрреформами 1889 - 1890 годов, власть заставила и либералов, и радикалов с головой уйти в политику и тем самым из потенциальных сотрудников превратила в своих непримиримых врагов.

Крушение веры в возможность мирного перехода к новому строю было чревато революцией.



“УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ”

В истории каждого народа бывают эпизоды, подобные мгновенной вспышке, пусть ненадолго, но разгонявшей тьму непонимания; эпизоды, удивительным образом проясняющие и скрытую суть истории, и характер этого народа. Последний месяц жизни Сергея Николаевича Трубецкого, первого выборного ректора Московского университета, в полной мере можно отнести к подобным эпизодам: месяц, вобравший в себя все его недолгое ректорство со 2 сентября 1905 года, скоропостижную смерть 29 сентября и поразительные по своей двусмысленности похороны 3 октября. Ровно месяц...

Этому эпизоду предшествовала короткая, но чрезвычайно насыщенная жизнь. Избегая множества эпитетов в превосходной степени, которые напрашиваются сами собой, могу лишь выразить полное согласие со следующей оценкой Трубецкого: “Он ушел из жизни рано, в возрасте 43 лет, но успел сделать для отечественной университетской культуры не меньше, чем сделал для русской литературы 37-летний Пушкин”.⁶⁶ Именно так. Не входя в оценку оригинальных философских трудов Трубецкого - хотя и здесь князь занимает почетное место, - можно утверждать, что в очень своеобразной и чрезвычайно важной для России университетской жизни лишь один человек, пожалуй, оставил не менее заметный след - Т. Н. Грановский (не дотянувший, кстати, даже до возраста Трубецкого - он умер в 42 года).⁶⁷

Вне всяких сомнений и в Московском, и в других российских университетах преподавали ученые более значимые, чем Трубецкой и Грановский, причем многие из них были прекрасными преподавателями, яркими, обаятельными людьми. Но именно эти двое сумели ближе всего подойти к тому чрезвычайно высокому идеалу университетского профессора, который, в известной мере под их же воздействием, сложился в России. Идеал этот лежал несколько в стороне от чисто профессиональных оценок. Конечно же, научные достижения и преподавательские навыки играли в его формировании определенную роль, но отнюдь не определяющую. Мне представляется, что главные критерии носили здесь характер, скорее, близкий к сакральному. Моральная чистота, сопряженная с полным отсутствием стяжательных, карьерных и прочих низких интересов - это требовалось во первых строках. При этом “настоящий” профессор не имел права быть эгоистом, человеком презирающим коллег, свысока относящимся к студентам, проявляющим на людях свою злобу или просто раздражительность. От него требовалось полное подчинение своих личных интересов университетским; университетская общность должна была ощущать, что избранник отдает себя служению полностью, без остатка. И, наконец, профессор, чтобы он ни преподавал, мог надеяться на общее признание только при условии привер-

женности к "прогрессивному" направлению. Консерватизм в любой форме не поощрялся. Соответствовать подобному идеалу было, конечно же, чрезвычайно сложно, более того, почти невозможно; ну, так и признанных подвижников в этой сфере было совсем немного - всего двое.⁶⁸

С. Н. Трубецкой действительно в полной мере обладал всеми качествами "идеального профессора". Человек безупречной порядочности, он был наделен к тому же редким обаянием, которое в равной степени действовало и на коллег, и на студенчество, и на чиновников министерства просвещения, и на самого Николая II. Московскому университету он предался полностью. Поступив сюда учиться в 1882 году, князь практически не расставался с университетом до конца своей недолгой жизни. В 1885 году Трубецкой был оставлен на кафедре философии, стал приват-доцентом, а затем и экстраординарным профессором.⁶⁹ При этом на протяжении всей своей деятельности он не просто работал в университете - он жил, растворялся в нем, нередко в ущерб своим собственным интересам. Университету он, в конечном итоге, пожертвовал всю свою жизнь, причем не только в переносном, но и в самом печальном, прямом смысле этого слова...

Эта предельная поглощенность университетской деятельностью полностью соответствовала характеру Трубецкого, всем его склонностям. О князе можно было сказать то же, что в свое время говорили о Грановском: он тоже являлся "профессором по преимуществу". Однако у Трубецкого, так же как у Грановского, работа в университете имела еще и мощное идеологическое обоснование. Оба профессора, чрезвычайно гармонично организованные сами, стремились претворить эту гармонию и в свои дела, и в окружающее их мироздание. Именно этим стремлением к гармонии, к сглаживанию острых углов, примирению вопиющих противоречий предопределялся их чрезвычайно умеренный, лежавший вне четких политических доктрин либерализм. Для них обоих это было не столько политическое учение, сколько мировоззрение, даже образ жизни, сориентированный на терпимость, компромисс, стремление к взаимопониманию. Хорошо представляя себе суть "проклятых вопросов", терзающих Россию, и Грановский в 1840-х, и Трубецкой в 1890-х - начале 1900-х огромное значение придавали общему состоянию, настрою тех, кому предстоит эти вопросы решать. И Грановский, преподававший всемирную историю, и Трубецкой, специалист по древней философии, от грядущих преобразований России ждали духовной глубины, ясного понимания общих законов бытия и - обширных, универсальных знаний. Все это, с их точки зрения, могло дать только хорошо поставленное университетское образование. Поэтому и сами они всю свою недолгую жизнь отдали университету, и университет этот пытались сделать как можно более соответствующим тем высоким целям, которые перед ним ставились.

При этом перед Трубецким открывалось сравнительно больше возможностей. Хотя значительная часть его университетской деятельности, так же, как у Грановского, пришлась на период реакции, но все же 1890-е годы - не 1840-е. Даже во время царствования Александра III гласное обсуждение университетских проблем было в принципе возможно. В первые же годы правления Николая II на страницах либеральных изданий началась борьба за пересмотр реакционного университетского устава 1884 г., в которой Трубецкой принял самое активное участие. В ряде статей, самой яркой из которых была "Университет и студенчество", он предельно ясно высказался по этому поводу.

В отличие от большинства других либеральных авторов, панацею от всех бед видевших в выборности профессорской коллегии, Трубецкой решительно отодвигал этот вопрос на задний план. "...Фактически, - писал он, - при скудности наших ученых сил, самый личный состав наших университетов был бы и при выборном порядке приблизительно тем же, что и теперь".⁷⁰ Определяющим же для создания полноценной университетской автономии Трубецкой считал решение вопроса об организации студенчества и налаживании живых, плодотворных связей между учащимися и профессурой.

Характеризуя состояние современного университетского строя, как "старческий маразм", как "глубокое распадение и дезорганизацию", Трубецкой писал: "Вместе с тем, в стенах этого одряхлевшего университета возникло нечто вроде младотурецкой партии в лице централизованной студенческой организации. Это юные университетские младотурки образовали как бы свой особый университет, со своими особыми руководителями, со своими практическими и непрактическими занятиями, со своей

особой наукой - университет вольный и бесшабашный и по-своему довольно прочно организованный на совершенно антиакадемических началах".⁷¹

Из "живой корпорации" университет превратился в сочетание бездушной "бюрократической коллегии" с революционным подпольем... Подобное положение дел Трубецкой считал естественным результатом воздействия устава 1884 г., направленного на полное уничтожение студенческого сообщества, раздробление его на отдельные "учащиеся единицы", поставленные под полный контроль университетского начальства - причем контроль сугубо запретительный. Студенческие организации любого характера либо запрещались им в принципе, либо подвергались немислимым ограничениям.

Между тем Трубецкой ясно видел и убедительно доказывал, что землячества, кружки самообразования, общества взаимопомощи и прочие организации совершенно неизбежны в студенческой среде. Излишние строгости и ограничения в этой сфере, введенные уставом 1884 года, заставляли студентов заниматься этими делами полулегально, а то и совсем нелегально. В результате в университете воцарялась нездоровая атмосфера, которую всегда порождают мелочные запреты. Наиболее активная часть студенчества почти неизбежно становилась во враждебные отношения с университетским начальством. Все это создавало самую благоприятную почву для политической пропаганды, превращая людей, пришедших учиться, в бунтарей-разрушителей.

Единственный разумный выход из критической ситуации состоял, по мнению Трубецкого, в том, чтобы дать свободный ход студенческим инициативам, разумно и умело направляя их в чисто академическое русло. Для этого, с одной стороны, следовало снять ненужные и просто вредные запреты; с другой - и это касалось уже непосредственно профессуры - необходимо было наладить со студенчеством своего рода сотрудничество, выйдя за рамки лекционных курсов, всемерно поощряя тягу юношества к самообразованию.

Выдвигая подобные идеи, Трубецкой со свойственной ему последовательностью уже в конце 1890-х годов попытался по мере возможности провести их в жизнь. В это время им был организован небольшой кружок при историко-филологическом факультете "под эгидой практических занятий по философии истории". "В нем, - вспоминал один из членов кружка А. И. Анисимов, - читались и обсуждались рефераты на темы, не укладывавшиеся в узкие рамки специальных факультетских требований и таким образом (кружком - А. Л.) предполагались скорее цели самообразования молодежи и свободного общения студенчества с профессорами, чем задачи подготовки ученых специалистов".

Помимо Трубецкого на занятиях кружка преподавал также такой авторитетный и любимый студентами профессор, как П. Г. Виноградов. Характернейшей чертой деятельности кружка было то, что его собрания проходили только по вечерам, "под покровом тайны", по словам Анисимова.⁷² Эти сугубо академические, бесконечно далекие от политики занятия, освещенные авторитетом виднейших ученых, тем не менее вызвали подозрения начальства, воспринимавшего их, как едва допустимую "вольность". Оснований для подозрений студенты, углубленные в изучение трудов Платона и Аристотеля, не давали никаких, но начальство волновал сам факт: "Всякая попытка сближения между учащими и учащимися рассматривалась, как достойная замечания новизна".⁷³

Испытание начальственным подозрением кружок, тем не менее, выдержал, правда, существование ему пришлось вести камерное - круг его членов был, очевидно, очень невелик, туда попадали только избранные. Однако опыт живого общения "на ниве самообразования" оказался очень полезным не только для студентов, но и для их руководителя. Трубецкой получил очень полезный опыт и завязал тесные отношения с тем, к сожалению, далеко не самым представительным слоем студенчества, которое пришло в университет серьезно учиться.

Все это позволило князю сделать новый, куда более решительный шаг по намеченному пути: 6 октября в большой физической аудитории Московского университета при огромном стечении студенчества и в присутствии многих профессоров произошло торжественное открытие Историко-филологического общества. Это общество продолжало дело кружка на другом, значительно более серьезном уровне. Его отличали хорошо продуманная структура - у общества был организованный центр и

отделения по курсам; самая широкая тематика докладов и рефератов; многочисленность участников. Ничего подобного в российских университетах не было с середины 1880-х годов. Добиться открытия общества Трубецкому, очевидно, помог все тот же кружок, доказавший университетскому начальству несомненную пользу подобных начинаний. Для него должен был убедительно прозвучать главный довод, высказанный Трубецким в обращении к ректору по поводу создания общества: "Оно будет содействовать объединению лучшей части студенчества историко-филологического факультета на почве чисто академических интересов, а тем самым окажет благотворное влияние и на сторонников академического порядка в других факультетах".⁷⁴

Деятельность этого общества еще ждет своего исследователя,⁷⁵ но, надо думать, в какой-то степени Трубецкому удалось выполнить поставленную задачу. Правда, как замечает Анисимов, ставший одним из главных помощников князя в организационной работе: "Масса студентов держалась выжидательной тактики по отношению к незнакомой организации".⁷⁶

Если бы речь шла только о завоевании симпатий аморфной студенческой массы, то можно не сомневаться, что руководимое Трубецким Общество справилось бы с этой задачей без особого труда. Однако положение было куда сложнее. Новорожденное Общество сразу же оказалось между двух огней; тот разлом университетской жизни, сущность которого так ясно показал в своих статьях Трубецкой, прошел как раз по его дитящу...

С одной стороны, начальство, разрешив создание Общества, до конца ему не доверяло. Анисимов вспоминал о постоянных "внушениях и замечаниях" с этой стороны Трубецкому, которые князь, как правило, "оставлял при себе". Но "старатурки", используя терминологию Трубецкого, были все же не так опасны. Судя по всему, университетское начальство боялось того, чего всякая бюрократия по определению ждет от общественной деятельности, тем более студенческой, скандалов политического характера, неприятной огласки в печати⁷⁷ и прочих "беспорядков". При условии их отсутствия начальство Общество терпело и в его работу не вмешивалось.

"Младотурки" были гораздо деятельнее... Болезнь, поразившая русское студенчество, весь ужас которой так хорошо сознавал Трубецкой, зашла в это время уже слишком далеко... Учащаяся молодежь была политизирована до предела; в университетах же - в особенности. Чрезвычайно распространенной и постоянно пропагандируемой являлась следующая точка зрения: в условиях самодержавного строя никакая серьезная университетская реформа невозможна - да и не очень-то нужна... Главная задача студенчества - всеми силами поддерживать пролетариат в его борьбе с существующим строем. Нужно сделать все, чтобы университет стал одной из главных арен этой борьбы. Для этой цели хороши любые скандалы, конфликты с начальством, профессурой и т. п. Те же, кто пытается в данных условиях всерьез учиться, да еще и выходя при этом за рамки необходимого минимума, суть штрейкбрехеры, и ни на что, кроме осуждения и шельмования, им рассчитывать не приходится.

Всю прелесть подобного подхода к делу и руководству, и рядовым членам Общества пришлось ощутить почти сразу же после открытия. В университете стали распространяться листовки, в которых оно расценивалось "как громовой удар политический, сооруженный на собственные средства министерства просвещения", а его руководители и, прежде всего, "искушенный в житейской мудрости князь-философ" трактовались как жалкие прислужники высших властей. Ко всем "честным студентам" авторы листовок обращались с одним призывом: "Плюньте на эту игру в общественность и соединяйтесь в революционные организации".⁷⁸

Этим нападкам Трубецкой пытался противопоставить свои излюбленные идеи о плодотворности сближения профессуры и студенчества, их живого общения в научной работе. "Нужна солидарность, нужно доверие, нужна общественная дисциплина..." Авторитет Трубецкого среди "академистов" был чрезвычайно велик; противостоять его уму и обаянию с помощью аляповатых революционных призывов было достаточно сложно.

Однако в 1903 году, подорвав свое здоровье и запойной, без отдыха, работой, и университетскими дразгами, Трубецкой вынужден был на время уехать за границу. В его отсутствие "политики" пошли по пути прямых провокаций, стремясь произвести на заседаниях Общества скандал, который привел

бы к его закрытию. Учитывая общее настороженное отношение университетских властей к этой организации, подобную тактику нельзя было не признать многообещающей... Трубецкой, который, и находясь за границей, продолжал поддерживать с "академистами" самые тесные связи, в одном из писем призывал "кучке радикалов противопоставить кучку преданных обществу лиц, которые... соединились бы для того, чтобы оградить общество от гибели, клятвенно обязавшись его поддерживать". При этом князь призывал "организоваться десятками или восьмерками", продумать тактику сопротивления и пр. ... Поразительная ситуация, в которой человек, до глубины души ненавидевший всякую "секретность и нелегальщину", вынужден создавать чуть ли не подпольную организацию! И для чего? Для того, чтобы отстоять свое право вместе со студентами изучать историю и философию...⁷⁹

В конечном результате в том же 1903 году общество стало приходить в упадок. С одной стороны его доканали "политики" - постоянное шельмование и провокации с их стороны становились непереносимыми. С другой стороны, сами обстоятельства русской жизни поворачивались такой стороной, что научная работа, самообразование и т. п. неизбежно отходили на задний план. Но в контексте избранной темы вся эта история имеет особый, исполненный глубинного трагизма смысл - она по сути дела явилась предвестником крушения всех начинаний Трубецкого и его собственной гибели.

В 1904 году началась русско-японская война. Осенью того же года в связи с несчастным для России ходом этой войны начались волнения в обществе, в том числе и массовые беспорядки в университетах. Затем, 9 января 1905 г., кровавое воскресенье, потрясшее всю страну, и первая русская революция с каждым днем стала набирать свою силу...

В это смутное время многие люди, в принципе весьма далекие от политики, оказались волею-неволею вовлеченными в ее орбиту. В их числе был и С. Н. Трубецкой. Как писал его друг и биограф Л. М. Лопатин, привычная для князя идея об ответственности народа за свое правительство заставляла его с особой мукой переживать позор русско-японской войны. "Уже давно волновавшая его мысль о необходимости немедленных и коренных реформ облекалась в совершенно жизненную и конкретную форму. Она терзала его и мучила, она будила его по ночам и не давала спать, она заставляла его покинуть тихий кабинет ученого и превратила его в политического деятеля со всемирной известностью".⁸⁰

Действительно, после своей знаменитой "конституционной" речи 6 июня 1905 г. перед царем от лица земско-городской депутации Трубецкой стал известен если не всему миру, то всей России.⁸¹ Не вдаваясь в подробную оценку этого хорошо известного эпизода русской истории, отметим лишь, что речь была произнесена с обычными для Трубецкого искренностью и сдержанностью. Тревога за судьбы страны сквозила в каждом ее слове и в то же время в ней не было обычного для либеральных политиков противопоставления себя, как представителя общечеловечности, правительству. Созыв народного правительства, к которому, как к единственно возможному выходу, призывал Трубецкой, напротив, должен был способствовать установлению взаимопонимания между этими силами. Подобная умеренность вкупе с подчеркнутым уважением к царю вызвала резко негативные оценки не только в революционной, но и в либеральной печати.⁸² Но, с другой стороны, именно эти качества речи обеспечили "дружественный ответ"⁸³ Николая II, склонного давать резкий отпор любым попыткам силового давления. В данном же случае царь, очевидно, почувствовал добрую волю говорившего.

Благоприятное впечатление, произведенное Трубецким на Николая II, было замечено современниками. Ходили даже слухи, что Трубецкому уготовано кресло министра просвещения. До этого дело не дошло, и все же влияние князя сказалось: соответствующая записка, поданная им Николаю II, сыграла свою роль во введении знаменитых временных правил 27 августа 1905 года, предоставившим высшим учебным заведениям весьма широкую автономию в духе излюбленных идей Трубецкого. Профессура получила право выбирать университетское начальство и самостоятельно решать все внутриуниверситетские вопросы; студенчество - право создавать свои корпоративные организации, собираться для обсуждения своих корпоративных дел.

Вопрос о том, кто будет первым выборным ректором Московского университета практически не

стоял: авторитет Трубецкого был несомненен даже для консервативно настроенной профессуры. Князь, уже замученный к тому времени болезнями, баллотироваться все-таки не отказался и 2 октября был избран значительным большинством голосов. Избрание это было встречено и университетом, и всей образованной Россией с энтузиазмом. Сам Трубецкий сразу же после выборов держал перед своими коллегами речь, исполненную оптимизма: "Мы отстоим университет, если сплотимся. Чего бояться нам? Университет одержал великую победу. Мы получили разом то, чего желали, мы победили силы реакции. Неужели бояться нам нашего общества, нашей молодежи?"⁸⁴ Увы, на этот, казалось бы, чисто риторический вопрос ближайшее будущее дало ответ положительный. Именно ее, "нашей молодежи", политизированной до предела, потерявшей верные жизненные ориентиры, и следовало бояться...

Высшие учебные заведения, в которых воцарилась теперь свобода собраний, стали своего рода оазисами среди городских пустынь, где любые митинги и собрания беспощадно разгонялись полицией и казаками. Естественно, что митингующие хлынули под их гостеприимные кровли, тем более что по новым правилам появление полиции на университетской территории дозволялось только в исключительных случаях. Впрочем, этот гибельный для высших учебных заведений процесс носил отнюдь не стихийный характер.

Почти сразу после принятия временных правил ЦК социал-демократической партии выпустил прокламацию, в которой обращался к студентам со следующими словами: "Нет, не заниматься согласно уставу и "применительно к подлости", то есть программам и данным официальной науки, будете вы, а свободно изучать и выяснять свое отношение ко всем волнующим Россию вопросам... Вы используете аудитории и все удобства, которые доставляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооруженному восстанию - этому единственному исходу русской революции. Долой самодержавие! Долой Государственную Думу! Да здравствует народное восстание!"

Да здравствует всенародное Учредительное собрание!"⁸⁵

По сути, это был призыв к превращению университетов и прочих учебных заведений в политические клубы - и тем самым к уничтожению их как учебных академических заведений. Хуже всего было то, что призывы подобных прокламаций нашли отклик у значительной части студенчества, с головой окунувшегося в революционную стихию. Член лекторской группы ЦК РСДРП (б), известный впоследствии ученый Н. А. Рожков с удовольствием вспоминал, как он разгромил студентов-академистов, "несомненно инспирированных ректором князем Трубецким", на огромном митинге, на котором решалась судьба университета. Основная масса собравшихся поддержала "партийное решение" об отказе от занятий и использовании университета и других учебных заведений Москвы в чисто политических митинговых целях.

В аудитории Московского университета хлынул взбудораженный люд... Все усилия Трубецкого навести порядок, избегая в то же время радикальных средств, были обречены на неудачу. Между тем московские власти воспринимали уже университет как один из главных источников беспорядков. Избегая нарушать установленную законом автономию, они сконцентрировали войсковые части напротив главного университетского здания - в манеже. Подобное противостояние грозило самыми трагическими инцидентами, причем Трубецкой, со свойственной ему остротой восприятия, заранее считал виноватым себя... Его мечта о свободном университете воплощалась в жизнь в самой страшной фантазмагорической форме.

"Помню, - писал Андрей Белый, - последнее его появление с усилием "спасти" автономию; тщетно; в стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы; шел турнир: эсеров с эсдеками; Трубецкому не дали договорить; уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами, полными слез, оглядывал море тужурок:

"Эх, господа!"

И, махнувши рукой, вышел он".⁸⁶

... 22 сентября 1905 г. С. Н. Трубецкой своей властью закрыл университет. В своем сообщении управляющему Московским учебным округом он достаточно ясно характеризовал ситуацию и объяснял

причины своего решения - решения, которое еще три недели назад выглядело фантастическим, совершенно невозможным... Этот текст стоит того, чтобы процитировать его подробнее. "Вчера вечером, - писал Трубецкой, - в университет вошла толпа свыше 3000 человек и заняла насильственно аудитории юридического корпуса". Студентов университета в этой толпе, по словам князя, было меньшинство; в основном рабочие, а также учащиеся других заведений, гимназисты, женщины. Начался очередной митинг, с самыми революционными лозунгами и призывами. Между тем, сообщал князь, "градоначальник поставил в манеж батальон Екатеринбургского полка с боевыми патронами, два жандармских эскадрона и 3 сотни казаков, предупредив меня, что будет действовать оружием в случае каких-либо манифестаций на улице". При той атмосфере, которая царила в университетских аудиториях, возможность подобных манифестаций представлялась Трубецкому более чем вероятной. "Ввиду постоянных вторжений в университет массы посторонних лиц и систематических нарушений советских постановлений,⁸⁷ а также ввиду непосредственной опасности кровавых столкновений, я пришел к заключению, что университет необходимо закрыть на несколько дней". Комиссия Совета университета единогласно поддержала князя, после чего он отдал распоряжение о временном закрытии университета, со ссылкой на статью 17 Общего устава российских университетов, предоставлявшей в случае крайней необходимости такое право ректору.

Можно только догадываться, каких душевных сил стоило Трубецкому принять это решение, несомненно приблизившее его кончину. Ведь ему в силу жестокой необходимости приходилось рушить то, о чем он мечтал на протяжении всей своей университетской деятельности! Русское общество в лице разнообразных своих представителей, в свою очередь, постаралось добавить желчи в чашу, которую предстояло испить князю. В правых и бульварных газетах появились инсинуации, авторы которых прямо обвинили Трубецкого в трусости и безответственности. Так, например, по поводу жестокой инфлюэнции, которая свалила его в сентябре, в разгар университетской смуты, прямо писали: "ректор заболел вовремя". Ответственность за закрытие университета полностью и безоговорочно возлагалась на Трубецкого.⁸⁸ Левые шли еще дальше, именуя князя не иначе, как "либеральным холопом", и возлагая на него ответственность и за стачки рабочих Москвы, последовавшие вслед за закрытием университета, и за "кровавые злодеяния" полиции в борьбе с забастовщиками...⁸⁹ То, что Трубецкой спас от почти неизбежного кровопролития массу несмышленной молодежи, естественно, никого не волновало. Князя явно превращали в козла отпущения.

Между тем Трубецкой не собирался сдаваться. 27 сентября он выехал в Петербург с одной вполне определенной целью: представить министру просвещения В. Г. Глазьеву постановление университетского совета от 27 сентября, автором которого был, конечно же, сам князь. Суть постановления сводилась к следующему: чтобы избавить высшие учебные заведения от наплыва желающих митинговать, необходимо "указание свободных общественных собраний и обеспечение личной неприкосновенности" в масштабах всей России. Это было, конечно же, логично: для того, чтобы островки свободы не захлестывало океаном бесправия рекомендовалось осушить океан...

Впрочем, в конце сентября 1905 г. подобное требование не выглядело ни вызывающим, ни неисполнимым. Характерно, во всяком случае, что князь, который по отзывам всех, кто встречался с ним в это время, выглядел совершенно измученным и больным, 29 сентября был принят министром весьма благожелательно. В более чем часовой беседе Трубецкой поведал Глазьеву о событиях в университете и представил постановление совета. Поскольку решение вопроса о введении свободы собраний от министра просвещения никоим образом не зависело, Глазьев, очевидно, обещал передать его в соответствующие инстанции. Во всяком случае, промелькнувшие впоследствии в левой печати и листовках сообщения о "равле", которой Трубецкой якобы подвергся в приемной министра, не имели под собой ни малейших оснований. Более того, Глазьев тут же предложил князю принять участие в совещании по выработке нового университетского устава. Поскольку на этом заседании стоял вопрос по поводу студенческих организаций, чрезвычайно близкий Трубецкому, князь не мог удержаться от соблазна, хотя, наверняка, чувствовал себя плохо. На этом совещании он, используя

свой богатый опыт, "дал самые подробные разъяснения, оспаривая редакцию некоторых положений, и произвел на всех поразительно симпатичное впечатление своей простотой, искренностью тона, ясностью мыслей и глубокой тонкостью ума".⁹⁰

Это было последнее публичное выступление князя... Глазьев прекратил заседание, заметив, что у князя вдруг изменился голос, он стал говорить невнятно - явно был не в себе. "Последним движением князя была попытка вручить министру несколько прошений студентов Варшавского университета о переводе их в Москву, причем С. Н. успел сказать: "Карман мой полон такими прошениями... Да, они будут довольны, они успокоятся". После этих слов Трубецкой впал в бессознательное состояние. Князя отправили в Еленинскую клинику, где он и умер, не приходя в сознание. Вскрытие показало "громадное кровоизлияние в мозг", в котором было обнаружено более 120 гр. застывшей крови. Сосуды головного мозга Трубецкого вообще находились в ужасном склеротически-перерожденном состоянии. Профессор Л. Блюменау, проводивший вскрытие, сделал заявление, что склероз подобной силы в 40-летнем возрасте - редкость и может быть объясним лишь как результат "тяжких умственных волнений и потрясений".⁹¹

Так Трубецкой завершил свой жизненный путь, последние недели которого были действительно полны тяжчайших потрясений, причем далеко не только умственных... Казалось бы, то, что произошло после его кончины, должно было послужить этому замечательному человеку достойным воздаянием: подобные похороны в России случались нечасто. По самым скромным оценкам, выноса тела князя из Еленинской клиники ожидали около 50 тысяч человек. По прибытии же в Москву Трубецкого провожали к университетской церкви, затем несли домой, на Знаменку, и затем на кладбище Донского монастыря не меньше 100 тысяч человек. Все это производило сильное впечатление - особенно, по контрасту с полным почти одиночеством Трубецкого в самую тяжелую для него пору, в сентябре 1905 г., накануне смерти.

К сожалению, не может быть сомнений, что из многих тысяч лишь единицы по-настоящему скорбели о смерти князя и лишь немногие более или менее представляли, кого хоронят. Подавляющее большинство собралось отпевать очередную "жертву царизма". Похороны князя в значительной степени явились хорошо организованной политической демонстрацией. Накануне 2 октября, когда тело князя должно было быть отправлено в Москву, Петербургский комитет РСДРП принял постановление, которое могло бы поразить своим цинизмом, если бы не было проявлением обычной для революционных и оппозиционных партий "философией борьбы": все средства хороши для того, чтобы доставить неприятности ненавистному самодержавию. "...Предложено молодежи и рабочим явиться на похороны в возможно значительном числе. Признавая открытую демонстрацию по этому поводу нежелательной, комитет убеждал своих единомышленников соблюсти полный порядок, но своим присутствием наглядно показать всю ту силу, которая готова для борьбы с правительством".⁹²

Таким образом, и для сторонников социал-демократов и, надо думать, для подавляющего большинства других собравшихся на похороны - все они были чьи-нибудь сторонники - это был не более чем повод для демонстрации своей оппозиционности. Лишним доказательством этому являлись многочисленные венки от совершенно неожиданных отправителей, среди которых была и группа артиллеристов, и Комитет Санкт-Петербургской мясной биржи, и бакинские мусульмане, и служащие в управлении ссудно-сберегательных касс, и Комитет общества по распространению православия среди евреев России, и прочая, и прочая... Апофеозом этого веночного потока являлся венок от петербургских рабочих с характернейшей надписью: "Не дождался, голубчик, свободы"...

Венки были украшены лентами красного цвета, который Трубецкому никогда не был близок; хоронили князя под пение революционных песен, которых он сам никогда не пел. И многочисленные речи, произнесенные над его могилой, и еще более многочисленные некрологи, появившиеся после его кончины в печати, - все, как правило, были выдержаны в казенно-антиправительственном тоне, в духе системы штампов и стереотипов, прекрасно разработанной свободомыслящим российским обществом. Дождем сыпались выражения типа: "светлые и свободные убеждения", "борец с бюрократизмом", "философ-идеалист и защитник прав гражданина". Главную суть подавляющего большинства

речений и писаний лучше всех, пожалуй, выразил в своем выступлении студент Зак: "Виновник смерти С. Н. один - это существующий строй, при котором не может быть свободной науки и ее бескорыстных служителей..."⁹³ О том, что он вместе со всем московским студенчеством не в меньшей, если не в большей степени, чем "проклятое самодержавие", повинен в смерти своего первого выборного ректора, выступавшему, конечно же, и в голову не приходило. В духе этих речей совершались и соответствующие поступки. Хотя до прямых столкновений с полицией дело не доходило - в значительной степени потому, что полиция в данной ситуации соблюдала редкий для себя такт, стараясь не вмешиваться в ход событий, - однако, венок из белых орхидей, присланный царской семьей, был демонстративно растоптан несколькими недорослями...

Поразительным диссонансом всем этим статьям и речам, общей политизированной атмосфере звучат строки из воспоминаний Анисимова, искренне и глубоко любившего князя. Он встречал тело Трубецкого в Москве на Николаевском вокзале. "...Какие-то люди бегали по крыше вагона, кричали, жестикулировали: им аплодировали. Все были заняты чем-то своим".⁹⁴ Анисимов пишет, с какой тоской ощущал он недостойную суету этих похорон, в которых все, как казалось, преследовали свои, не имевшие никакого отношения к трагической кончине князя цели. Огромное скопление народа еще больше усугубляло тоску: "Если бы даже они все как один запели свой похоронный марш, они не вернули бы его к жизни..."⁹⁵ И где-то подспудно рождалась мысль: может быть они этого и не хотят; может быть Трубецкой всем им нужен именно мертвым...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.

Из записки наместника на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова на имя Николая II.

"В г. Зугдиди Кутаисской губернии 21 октября 1905 г. в городской церкви по настоянию агитаторов Акобия и Шенгелая была отслужена панихида по кн. С. Н. Трубецкому. После богослужения в церкви толпа с криками "Да здравствует республиканский образ правления!" выкинула красный флаг. Попытка толпы направиться в город была приостановлена появлением казаков".⁹⁶



ПРИМЕЧАНИЯ К II ЧАСТИ

* Опубликовано в сборнике "Интеллигенция в России. Исторические судьбы и перспективы". М., 1999.

¹ Это отнюдь не риторический оборот. Б. Н. Чичерин, в частности, в своих воспоминаниях воспроизводит то впечатление, которое произвел Грановский на студентов: "...для нас Тимофей Николаевич - это почти что божество". Б.Н.Чичерин. Воспоминания. М., 1991, с. 17.

² После панихиды в университетской церкви гроб с телом Грановского студенты в окружении многочисленной толпы пронесли через всю Москву на Пятницкое кладбище. Похороны Грановского были первыми в череде тех "общественных акций", которые вызвали впоследствии смерть Некрасова и Достоевского, С. Н. Трубецкого и Толстого.

³ Некрологическую и прочую литературу о Грановском см. Грановский Тимофей Николаевич. Библиография (1838-1967). М., 1969.

⁴ Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 т., т.12. М., 1979, с. 289.

⁵ Хомяков А.С. Полное собрание сочинений в 8 т., т. 8. М., 1903, с. 288.

⁶ О жизненном пути Григорьева и его взаимоотношениях с Грановским см. Н. И. Веселовский. В.В.Григорьев по его письмам и трудам. Спб., 1887.

⁷ Там же, с. 149.

⁸ Русская беседа. 1856, кн. 4, с. 14.

⁹ Там же, сс. 53-57.

¹⁰ Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т., т. 26. М., 1964, сс. 72-73.

¹¹ Русский вестник. 1857, т. 8., кн. 6.

¹² Отечественные записки. 1857, № 2; Русский вестник. 1857, т.8, кн.2.

¹³ Русский вестник. 1857, т. 8, кн. 2, с. 253.

¹⁴ Современник. 1857, № 6, с. 213.

¹⁵ Писарев Д.И. Соч. в 4 т., т. 3. М., 1956, с. 32.

¹⁶ Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем в 15 т., т. 3. М., 1982, с. 17.

¹⁷ "Этот Станкевич всегда был прост", - писал Герцен по прочтении биографии Грановского. (Герцен А.И. Собр. соч., т. 30. М., 1965, с. 254).

¹⁸ Голос минувшего. 1913, № 5, сс. 424-426.

¹⁹ Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения в 2 т., т. 2. М., 1956, с. 544.

²⁰ Герцен А.И. Собр. соч., т. 30. М., 1966, с. 261.

²¹ Вестник Европы. 1869, № 5, сс. 424-426.

²² Там же, с. 426.

²³ Дело. 1869, № 6, сс. 17-30.

²⁴ Заря. 1869, № 6, сс. 152-153.

²⁵ Там же, с. 165.

²⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т., т. 29, I. М., 1978, с. 109.

* Написан для русско-польского сборника. См. пояснение к статье "Под железной пятой".

СИНДРОМ РАЗНОЧИНЦА

²⁷ Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991, с. 138.

²⁸ Там же.

²⁹ Д. Н. Овсянко-Куликовский. Собрание сочинений. Спб., 1911, сс. 5-6.

³⁰ В. О. Ключевский. Сочинения. т. 4. М., 1989, с. 221.

³¹ Там же, с. 223.

³² А. А. Корнилов. Курс истории России XIX в. М., 1993, с. 31.

³³ Н. Я. Эйдельман. Грань веков. М., 1986, с. 16.

³⁴ Там же, сс. 17-24.

³⁵ Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897, с. 415.

³⁶ В. Г. Белинский. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1978, сс. 222-223.

³⁷ А. И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1954, сс. 13-14.

³⁸ А. И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1954, сс. 13-14.

³⁹ Шестидесятники. М., с. 167.

⁴⁰ А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. М., 1985, с. 185.

⁴¹ Там же, сс. 495-996.

О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ

* "Знание-сила". 1992, № 2.

⁴² "Родина", 1996, № 2. Моя статья была опубликована в № 3 за тот же год.

⁴³ См. "Освободительное движение в России", вып. 16. Саратов, 1998.

⁴⁴ Круглый стол в журнале "Отечественная история", № 1, 1999.

⁴⁵ Кавычки здесь совершенно неизбежны, поскольку генерал П. Н. Краснов, человек, проживший очень сложную жизнь, "царским карателем" все же никогда не был, хотя клише, конечно, удобное. См. его биографию - "Русские писатели", т. 3. М., 1994, сс. 133-135.

⁴⁶ "Российские самодержцы". М., 1993.

⁴⁷ "Александр II. Воспоминания. Дневники". М., 1995.

⁴⁸ Статья вышеназванных авторов "В борьбе за свободу" в книге "Народная воля" и "Черный передел". Л., 1989, с. 18.

⁴⁹ При позднейшей перепечатке программы, - отмечают В. Н. Гинев и А. Н. Цамугали, - к этому месту было дано примечание составителей "Календаря Народной воли на 1883 год": "...что касается организации... в массе крестьянства, то она признавалась в эпоху составления программы совершенной фантазией". Указ. соч., с. 19.

⁵⁰ Указ. соч., сс. 19-20.

⁵¹ В. Н. Фигнер. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1922, сс. 173-174.

⁵² В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 8. М., 1953, с. 227.

⁵³ Указ. соч., с. 26.

⁵⁴ В. Н. Фигнер. Указ. соч., с. 239.

⁵⁵ В. Н. Фигнер. Указ. соч., с. 248.

Письмо в редакцию журнала "Родина"

⁵⁶ В. В. Бervi-Флеровский не без оснований писал об этом: "Постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне". (Дело. 1868, № 6, сс. 25-26).

⁵⁷ Герцен А. И. Собр. соч. в 8 т. М., 1975, т. 2, с. 9.

⁵⁸ См.: Волк С. С. "Народная воля" (1879-1882). М., Л., 1966, главы 9-15.

⁵⁹ См.: Гарнет М. Н. История царской тюрьмы в 5 т. М., 1961, т. 2, с. 535.

⁶⁰ Желая уязвить меня, А. Левандовский дарит мне комплимент, заявив, что я для него - "чудом доживший до наших дней член Исполнительного комитета "Народной воли"" (с. 54), т.е., в его представлении, "бомбист", но в моем-то представлении - народолюбец и тираноборец. Отнюдь не желая уязвлять Левандовского, отвечаю комплиментом на комплимент: он для меня - живой камер-юнкер Александра II. Правда, Левандовский вуалирует свое "камер-юнкерство": прежде чем воспеть доброту, мягкость и благородство Александра II, объявляет, что он, в отличие от атамана Краснова, "никогда не считал" царя "дивно прекрасным" (с. 49). Но это - лишь количественное отличие: Краснов восславляет царя безоговорочно, Левандовский - с оговорками.

Точно так же атаманову оценку народолюбцев как "стаи кроважидных волков" Левандовский назвал "неверной", но сожалеет о том, что Краснов, "повешенный в 78-летнем возрасте по приговору советского суда, помочь (Левандовскому. - Н. Т.) уже ничем не может" (с. 48). Здесь очевиден намек на неоправданную жестокость советского суда. А знает ли Левандовский, что Краснов (после того как был взят в плен и освобожден советской властью *под честное слово*, что он не будет бороться против нее) в 1918 г. расстреливал и вешал красноармейцев, а в 1941 - 1945 гг. служил Гитлеру, формируя полки из россиян-предателей Родины?

⁶¹ Подробно об отношении корифеев мировой культуры к "Народной воле" см.: Троицкий Н. А. Царизм под судом прогрессивной общественности. М., 1979, гл. 3, § 2; гл. 5.

МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ОХРАНЫ

⁶² Следует отметить, что сам Витте очень быстро вернулся в нормальное для себя состояние, при котором разум у него полностью преобладал над чувством; в деятельности "Дружины" он практически никакого участия не принимал.

⁶³ Помимо общей иронической оценки тех особенностей, которыми отличалось образование светской "золотой молодежи", Салтыков этим изысканным оборотом намекал еще и на служебные занятия их руководителя: летом 1881 г. И. И. Воронцов-Дашков был назначен главным управляющим Государственным коннозаводством. В "Письме к тетеньке" глава "Дружины", положивший начало своей карьере в кавказских войнах, был выведен под именем Аамат-бека.

⁶⁴ Княжеский титул вместе с княжеством Сан-Донато был "по случаю" куплен дядей Демидова и перешел к нему по наследству; в салтыковском "Письме" соответственно упоминается "тот самый маркиз Сампантре".

⁶⁵ Там же.

"УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ"

* См.: Исследования по отечественному источниковедению. М.-Л., 1964. Вспомогательные исторические дисциплины. т. 2. Л., 1969, т. 3. Л., 1970.

* "Знание - сила", 1992, № 2.

⁶⁶ М.А. Маслин. С. Н.Трубецкой как русский философ. В кн.: "Кн.С. Н.Трубецкой. Курс древней философии". М., 1997, с. 3.

⁶⁷ Это сходство должно было и бросалось в глаза современникам. Вскоре после смерти князя в газете "Рассвет" появилась анонимная статья так и называвшаяся. См.: "Кн. С. Н. Трубецкой - передовой боец за правду и свободу русской науки". СПб., 1906, с. 131.

⁶⁸ Можно было бы составить обширный список профессоров, которые, по многим своим качествам, явно могли претендовать на роль студенческих кумиров или даже пребывали в этой роли, но недолгое время...В него вошли бы Н.И. Крылов, Н.И. Костомаров, Б.Н. Чичерин, А.Г. Захарьин и многие другие. Несоответственно высокими критериями, в том или ином отношении - в общем мировоззрении, манере поведения, проявления личных интересов - влияло на их популярность самым гибельным образом, а иногда и, вообще, заставляло отказываться от профессорской деятельности. Один из самых знаменитых случаев подобного рода - история с В.О. Ключевским, осужденным студентами за речь, произнесенную им в Обществе истории и древностей российских в память Александра III в 1894 году.

⁶⁹ Магистерская диссертация, защищенная Трубецким в 1889 г. называлась "Метафизика в древней Греции", а докторская (1900 г.) - "Учение о Логосе в его истории".

⁷⁰ Антология русской классической социологии. М., 1995, с. 53.

⁷¹ Там же, сс. 51-52.

⁷² "Вопросы философии и психологии". 1906, №1 (81), с. 148.

⁷³ Там же, с. 149.

⁷⁴ Последний по времени организацией, сходной с Историко-филологическим обществом, было, очевидно, Научно-литературное общество при Петербургском университете, закрытое в 1886 г. после неудачного покушения на Александра III, в подготовке которого принимали участие некоторые его члены.

⁷⁵ Некоторые интересные сведения, особенно в связи с экскурсией в Грецию, организованной Трубецким для членов Общества, см. в воспоминаниях А.И. Анисимова в "Вопросах философии и психологии", 1906, №1 (81), а также в вышеупомянутой книге Г.И. Щетининой. сс. 133-137.

⁷⁶ "Вопросы философии и психологии". 1906, №1 (81), с. 165.

⁷⁷ Анисимов рассказывает, как однажды "сорвался" князь, услышав в одном из докладов слово "социализм", произнесенное в самом безобидном контексте. "Ведь это завтра будет в "Московских ведомостях", - писал он Анисимову. Там же, с. 167.

⁷⁸ Цит. по: "Вопросы философии и психологии", 1906, №1 (81), сс. 179-180.

⁷⁹ Там же, с. 183.

⁸⁰ Собрание сочинений кн. С.Н. Трубецкого. т.1. М., 1907, с. 12.

⁸¹ Не говоря уже о многочисленных откликах в прессе, речь Трубецкого становилась известна самым широким массам населения несколько необычными для России путями: некоторые земские управы вывешивали текст речи вместе с ответом царя на стенах правления или рассылали ее крестьянам. "Революционное движение в России весной и летом 1905 г.", ч. 1. М., 1955, с. 643.

⁸² "Революционное движение в России...", ч.1, сс. 57-58, 63. В.В. Леонтович. История либерализма в России. М., 1995, сс. 410-411. С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II. СПб., 1991, с. 286.

⁸³ В.В. Леонтович. Указ. соч., с. 409.

⁸⁴ "Вопросы философии и психологии", 1906, №1 (81), с. 5.

⁸⁵ "Революционное движение в России...", ч. 2, с. 248.

⁸⁶ Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 37.

⁸⁷ Имеется в виду Совет университета.

⁸⁸ Собрание сочинений кн. С.Н. Трубецкого, с. 14.

⁸⁹ "Всероссийская политическая стачка", с. 28.

⁹⁰ Кн. С.Н. Трубецкой - передовой боец..., сс. 26-27.

⁹¹ Там же, с. 28.

⁹² "Всероссийская политическая стачка...", с. 344.

⁹³ "С.Н. Трубецкой - передовой боец...", с. 51.

⁹⁴ "Вопросы философии и психологии", 1906, №1 (81), сс. 195-196.

⁹⁵ "Вопросы философии и психологии", 1906, №1 (81), сс. 195-196.

⁹⁶ "Всероссийская политическая стачка...", с. 272.

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, НАРОД



ГРАД СОКРОВЕННЫЙ...*

Очевидно, эта статья, так же как и соответствующий доклад, прочитанный на конференции, будет стоять несколько особняком среди других материалов сборника, поскольку в ней никоим образом не затрагивается национальный вопрос. Но в то же время ее содержание вполне соответствует заявленной тематике: “Российская империя: границы, культуры, самосознание”. Статья посвящена вопросу, имевшему в этом аспекте не менее острый характер, чем национальный, - вопросу о духовных взаимоотношениях между народом и интеллигенцией, двух социально-культурных общностей, которые были не менее, если не более, далеки друг от друга, чем многие этносы, населяющие Россию.

Глубокая взаимная отчужденность была, как известно, осознанной и весьма мучительной, правда, лишь для одной из сторон. Мы не видим необходимости обращаться в этой статье к истории поисков контактов с народом - как духовных, так и более практических, организационных, деловых, - которыми было насыщено бытие русской интеллигенции, начиная с середины XIX века. Отметим лишь, что ощущение почти полного равнодушия, с каким встречал народ всю эту многотрудную деятельность, с каждым десятилетием становилось в интеллигентной среде все более сильным. Наиболее рельефно, это ощущение было выражено, пожалуй, Г. И. Успенским в начале 1880-х - “Не суйся!”¹.

Осознание того, что народ в своей повседневной трудовой жизни совершенно не нуждается в интеллигенции, для значительной ее части, настроенной на восторженное служение этому народу, было настоящей трагедией. Тем большее значение, казалось бы, для интеллигентов подобного рода должны были приобретать те редкие “прорывы” из обыденщины, в которых народ обнаруживал свои собственные духовные стремления, пусть и совершенно не схожие со стремлениями людей образованных. Все равно возможность контакта, взаимопонимания возросла, казалось бы, при этом во много раз.

В XIX веке подобными явлениями российская действительность не баловала, но все же они бывали. Одному из них, поистине уникальному, посвящена эта статья.

Тема, которую нам здесь предстоит затронуть, сложна и многогранна. Ядром ее является одна из самых выразительных и трогательных легенд - “Сказание о невидимом граде Китеже”. Весьма серьезное, обстоятельное исследование этого сказания, с помощью археографических, было проведено в свое время В. Л. Комаровичем, к работе которого мы и отсылаем заинтересованного читателя². Для наших же целей достаточно дать лишь общий абрис легенды и некоторых связанных с ней сюжетов.

Единственным источником, содержащим эту легенду, является *Книга глаголемая летописцем. Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже*. Соответственно своему названию она состоит из двух частей. Первая - "Книга глаголемая...", - написанная в форме летописного известия, сообщает о легендарных событиях, связанных с нашествием Батые на Владимиро-Суздальскую Русь. В соответствии с "Книгой" великий князь Георгий Всеволодович не погиб, как было в действительности, в битве на реке Сити (1238), а бежал от татар в град Китеж, скрытый в заволжских лесах на берегу Светлояр-озера. Там Георгий в конце концов был настигнут Батыем и убит, а дружина его подверглась окончательному разгрому. Однако Китеж при этом стал невидимым, каковым и пребывал в последующие времена³. Вторая часть - "Повесть и взыскания..." - посвящена возмеличанию сокровенного града, как чуть ли не единственного на Руси места спасения истинно верующих.

К "Книге" и "Повести" вплотную примыкает еще одно вполне самостоятельное произведение *Послание к отцу от сына*, в котором исчезнувший из семьи отрок утешал родителей известием о том, что он пребывает в святом монастыре, "невидимой дланью господней" скрытом от недостойных. Это "Послание", по мысли тех, кто распространял его, должно было служить еще одним, причем самым "свежим", доказательством реальности Китежа: имелось в виду, что оно прислано из монастыря, расположенного на территории сокровенного града.

И время создания всех этих произведений, и среда, из которой они вышли, весьма убедительно выяснены исследователями. Хотя корнями своими легенда о невидимом граде уходит в седую древность,⁴ "Книга", "Повесть" и "Послание" оформились достаточно поздно - в конце XVIII века, очевидно, в среде бегунов, самой радикальной религиозной секты на Руси. Причем радикальность бегунов определялась не тем, что после реформы Никона и государство и официальная церковь на Руси превратились в их глазах в орудие антихриста. Подобное убеждение целиком и полностью разделяли с бегунами представители целого ряда других раскольниковых толков. Однако это не мешало им идти на определенные - неизбежные, казалось бы, - контакты со "слугами антихриста": отправлять рекрутчину (позже - воинскую повинность), платить налоги, получать паспорта. Бегуны же были радикалами еще и на деле - они не давали рекрутов, не платили налогов, не признавали паспортов и т.д. Более того, чтобы ненароком не вписаться в ненавистную систему и тем самым не погубить свою душу, они находились в постоянном движении. Они стремились скрыться, бежать от греха, - а грех окружал их со всех сторон, земля и воды были пропитаны греховностью⁵...

Легко понять, с каким чувством ухватились идеологи секты за древнее, смутное сказание о невидимом граде - о граде, сокровенном от всех, в том числе и от государевых чиновников и от никониан-церковников. Китеж - Светлояр-озеро - оказывались единственным местом на Руси, свободным от власти антихриста, - единственным местом, где господствовала старая, истинная вера...

Легенда, возрожденная бегунами, нашла самый широкий отклик и в других сектах, многие из которых отличались от раскольниковых радикалов лишь отсутствием их железной решимости и последовательности. Очевидно, уже в конце XVIII века Светлояр более чем на столетие превращается в единственное в своем роде место паломничества староверов-раскольников со всей Руси.

В системе географических координат России XIX века местоположение Китежа определилось следующим образом: от перевоза через Волгу у Нижнего Новгорода до города Семенова - 90 верст; от Семенова до села Владимирское (Люнда тож) - 41 верста; в полуверсте от села - озеро овальной, почти круглой формы, видное с проезжей дороги. Это и был Светлояр, на берегах которого покоился сокровенный град.

Этим путем шли к Китежу паломники-богомольцы. Светлоярские старожилы рассказывали, что народ собирался здесь "исстари"; однако "по-настоящему стал валить" только после реформы, - до того паломники разгонялись полицией, которая "после воли" ограничила свое рвение надзором за соблюдением внешнего порядка. Народ на озере появлялся с ранней весны - "как снег сойдет, так ни единой ночи без богомольцев". В целом, по подсчетам А.С. Гациского, в конце 1870-х годов Светлояр каждое лето посещало не менее трех тысяч человек, нередко из самых отдаленных мест.⁶

“Светлоярская мистерия” не раз описывалась сторонними, интеллигентными наблюдателями. При этом поразительным образом менялось отношение авторов к открывавшемуся перед ними зрелищу, точнее, менялись авторы, и почти неизменным оставалось само зрелище. О “пластичности” интеллигентского восприятия речь впереди; консерватизм же раскольничьей мистерии, ее повторяемость почти без перемен на протяжении долгого времени - все это позволяет нам, используя хронологически разобранный материал, составить достаточно ясное и цельное представление о “светлоярском действе”.

Основная масса паломников собиралась сюда к одному, вполне определенному дню - точнее ночи: с 22 на 23 июня, накануне празднования Владимирской Богоматери. В ту ночь вокруг озера зажигались, мерцали, теплились мириады свечей. Вновь пришедшие богомольцы начинали свое бдение у кромки воды с истовых молитв. Затем многие, со свечой и молитвой, шли вокруг озера тропой, которая тянулась верст на пять. Обход озера этой тропой пять раз подряд зачитывался верующим как путешествие на Афон; десять - в Иерусалим. При этом паломники жадно вглядывались в темные воды озера, прислушивались... По преданию, именно в эту ночь чистый сердцем, безгреховный человек мог надеяться быть приобщенным к китежной благодати - услышать звон колоколов сокровенного града, увидеть отблески, отражение огней проходившего там крестного хода. В ритуал “мистерии” обязательно входило чтение вслух “Книги глаголемой...”

Моления у вод Светлояра начинались по группам, по толкам, - паломники, принадлежавшие к разным сектам быстро находили своих единомышленников. Однако постепенно эти группы рассыпались, смешивались, и начинались бесконечные споры, составлявшие неотъемлемую, может быть, самую важную часть “светлоярского действа”. К этим спорам готовились загодя, в них стремились решить свои собственные сомнения, доказать окружающим - и самому себе - свою правоту, привлечь слушателей к истинной “своей вере”... Это было единственное место в России, где в таком количестве собирались вместе “чающие движения воды” - люди, страстно стремившиеся разобраться в мучительных вопросах бытия, познать истину... Грандиозная религиозная дискуссия была к тому же по сути бесконечной, повторяемой, протяжной во времени. Многие агитаторы приобрели известность, обрести слушателями, а затем - почитателями, единоверцами... “Светлоярское действо” было косвенным образом признано и официальной церковью, которая долгое время игнорировала его, как “грубое суеверие”. Однако в конце XIX века на одном из прибрежных холмов была построена часовня; из Нижнего стали приезжать миссионеры со специальными инструкциями от Синода; соответствующие указания по организации “духовного противодействия” сектантам получали и местные священники... Тем больший, казалось бы, интерес должна была вызвать “мистерия” у тех, кто трепетно жаждал приобщиться к “народной душе”, - на берегах Светлояр-озера открывались для этого поистине уникальные возможности.

Однако приходится констатировать: эти возможности были не то что упущены - они, судя по всему, долгое время просто не осознавались интеллигенцией. Можно было бы сказать, что нога интеллигентного человека не ступала на берега Светлояр-озера, если бы не десяток с небольшим наблюдателей, которые в разные времена на протяжении более чем полувека в качестве редкого исключения побывали “у стен сокровенного града”. Причем характерная черта - все они, за исключением В. Г. Короленко, замаскированного под “странника”, чувствовали себя здесь крайне неудобно, белыми воронами. “Толпа нам с непривычки кажется странной, - писала в 1902 году З. Н. Гиппиус, - не только ни одного интеллигента, но даже ни одного “под интеллигента”; не видно ни “спинжаков”, ни “городских платьев”: сарафаны, сарафаны, поддевки”⁷. Лишь в 1908 году, когда на Светлояре побывал М. М. Пришвин, положение изменилось к лучшему: среди мужицкой толпы он обрел-таки один “спинжак” - некоего “полупьяного субъекта, представившего корреспондентом”⁸.

Впечатление столь же фатального одиночества производят и те материалы, которые стали результатом этих редких путешествий: они буквально тонут в море российской публицистики, не встречая отклика и поддержки. Большинство публикаций о Светлояре не имели продолжения, т. е. не вызвали никакого интереса в интеллигентном кругу. Характерно, что и сами авторы, как правило, узнавали о

“светлоярском действе” не из предшествующих публикаций, давно забытых - между каждой из них года, а то и десятилетия, а случайно - по слухам, от нижегородских жителей и пр.⁹

Это почти полное отсутствие интереса к явлению, которое, казалось бы, открывало такие небывалые возможности, само по себе чрезвычайно показательно. Оно было глубоко осознано и, на наш взгляд, совершенно верно оценено С. Н. Дурылиным, автором одного из самых значительных сочинений о Китеже. “Были эпохи русского общественного сознания, - пишет Дурылин, - когда просто неинтересно было знать, в какого Бога верит русский народ и какому служит; были эпохи, когда становилось более ли менее интересно лишь потому, что с тем, в какого Бога верит русский народ, было связано, какого он хочет правительства, какой удобен ему социальный строй, какое свойственно ему правосознание”. Подобный интерес Дурылин справедливо считал недобросовестным и неплодотворным, помяная при этом Бакунина, Герцена и Огарева с их “Общим вече”, Шапова. Льва Толстого... При подобном подходе, писал он, происходит не узнавание, а “подгонка” и навязывание интеллигенцией своих интересов народу, что “ничем хорошим кончиться не могло и не кончилось”¹⁰.

Подобный подход к делу закрывал путь на берега Светлояра. “Мистерия”, как ей и следовало, была пронизана мистицизмом, от которого все вышеназванные деятели бегали, как черт от лаdana, поскольку в нем безнадежно тонули и вопрос о социальном строе, и вопрос о правительстве... В то время как о штунде, духоборах и других рационалистических сектах и учениях было написано великое множество книг и статей, на “светлоярское действо” интеллигенция откликнулась десятком публикаций, которые в большинстве своем лишь подтверждают горькие слова Дурылина.

Первое известное нам упоминание в периодической печати о граде Китеже и светлоярской “мистерии” относится еще к дореформенной эпохе. Некто Меледин, житель Нижегородской губернии, чьи публикации, как сказали бы сейчас, краеведческого характера время от времени появлялись на страницах *“Москвитанина”*, выступал там с сообщением об этом “диве дивном”. О китежской легенде Меледин имел еще самое смутное представление, “со слуха”,¹¹ однако сведения, сообщенные о “светлоярском действе” и сопутствующих ему обстоятельствах, несомненно, представляют большую ценность - хотя бы потому, что они первые и единственные за всю дореформенную эпоху. Сообщение было выдержано в несколько ерническом тоне - с позиций просвещенного человека, рассказывающего собратям о причудах невежественной черни. Чрезвычайно характерно заключение публикации, в котором Меледин объяснил, почему он “рискнул” привлечь внимание читателей к такой явной несурризе: знакомство с “бытом здешних старообрядцев”, по его мнению, “может доставить много материалов для истории, характеристики (?) и юмористики”.¹²

“Юмористика”, вообще, надолго оставалась характернейшей чертой большинства сообщений о сокровенном граде. В пореформенные времена, по мере того как интеллигенция закреплялась на позитивистских позициях, юмористическое отношение ее представителей к “этой сказке” могло лишь усиливаться. Но поскольку в то же время “просвещенное” презрение к “невежественному народу” все в большей степени сменялось подчеркнутой любовью и, более того, преклонением перед ним, ситуация складывалась нелегая, пожалуй, не лишенная трагизма. Издеваться над тем, что свято для народа, невозможно; принять легенду о Китеже, поверить в нее - невозможно тем более. Проще всего было промолчать, проигнорировать.

В конце XIX века появились лишь две серьезных публикации о Светлояре¹³. В одной из них - уже цитировавшемся выше очерке А*С. Гациского - проблема решалась тем, что автор вообще не ставил никаких проблем... Гациский, один из самых значительных этнографов и статистиков пореформенных времен, чрезвычайно много сделавший для изучения Нижегородского края, дал чисто позитивистское описание того, что происходило на Светлояр-озере в ночь с 22 на 23 июня. По обстоятельности и добросовестности описания, по живости зарисовок разнообразных сцен и событий публикации Гациского не имеет себе равных. Зато стремление понять, разобраться, дать оценку в ней отсутствует вовсе.

В. Г. Короленко был, пожалуй, единственным из народнических идеологов, кого всерьез заинтере-

совала "проблема Китежа". Недаром его в этом кругу всегда отличала широта взгляда, терпимость и живой интерес к тому, что не укладывалось в жесткие рамки идейных схем. Будучи в 1880-х годах нижегородским жителем, он не раз посещал Светлояр, присматривался, прислушивался... Все происходившее здесь было, несомненно, глубоко ему чуждо, но тем не менее обвинить Короленко в отсутствии стремления понять ситуацию никак нельзя. Уйти от ощущения нелепости происходящего он все-таки так и не смог, - это ощущение пронизывает записи его бесед с богомольцами, с окрестными жителями, его рассказ о самой "мистерии" (и здесь не обходится, конечно, без "юмористики", правда, как всегда у Короленко, сдержанной и изящной). Конечный же, вывод писателя дышит печалью: "Много наивного чувства, мало живой мысли... Град зыскуемый Китеж - то город прошлого", причем прошлого "призрачного"; вера богомольцев, жаждущих обрести на берегах Светлояра истину и спасение, - для Короленко "темная вера".¹⁴ Куда ближе, понятней и привлекательней для писателя его знаменитый герой Тюлин из рассказа *Река играет*: человек много пьющий и ни во что не верящий, зато способный на энергичное действие... Короленко недаром противопоставлял его паломникам, возвращающимся из Светлояра.

Каждому свое... Отметим в связи с вышеизложенным еще один весьма поучительный пассаж из очерка Короленко: "Есть что-то умильное и для нас в этой легенде... Многие из нас, давно покинувших тропы стародавнего Китежа, отошедших и от такой веры и от такой молитвы, все-таки ищут так же страстно своего "града зыскуемого". И даже порой слышат призывные звоны. И, очнувшись, видят себя опять в глухом лесу, а кругом холмы, кочки да болота".¹⁵

Отношение к Китежу несколько изменилось в начале XX века, - не могло не измениться, ибо значительная часть интеллигенции, отрекшись от позитивистского отношения к миру, бросилась на поиски "стародавних троп", которые могли бы вывести к "вере и молитве". Правда, как правило, речь шла отнюдь не о возвращении к "темной вере" русского народа, - интеллигенция творила свою религию... И все же китежский сюжет был слишком заметной вехой, чтобы его можно было безусловно миновать в этих поисках.

Одним из самых занятых эпизодов в истории духовных исканий интеллигенции этого времени явилась поездка знаменитой писательской четы - З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, - вдохновителей и руководителей петербургских Религиозно-философских собраний, на Светлояр. Эта поездка, состоявшаяся летом 1902 года, подробно описана в дневнике Гиппиус; несколько позже Мережковский посвятил ей главу в своей известной книге *«Не мир, но меч. К будущей критике христианства»*.

Дневник Гиппиус, посвященный "путешествию в страну раскольников", чрезвычайно выразителен: происходящая на его страницах смена нескрываяемо скептического тона на самый восторженный стоит крутого сюжетного поворота в талантливом литературном произведении. Первые впечатления от "мистерии" у четы были малоприятные: утомительная поездка, духота, бесконечный и неинтересный спор... "На первый раз "дух народный" нас сморил..."¹⁶ Но прошло совсем немного времени, и Гиппиус с Мережковским перестали быть сторонними наблюдателями, оказались в эпицентре этого "бесконечного спора", и сонную одурь как рукой сняло...

Характерно, что на Светлояре к писательской чете мужиков притягивало именно то, что в других местах неизбежно оттолкнуло бы: городская одежда, интеллигентный вид и пр. Однако этого, конечно, было бы мало, но после первых же слов выяснилось, что у "пришельцев" сердце болит о том же, что и у светлоярских старожилов, - о вере... Кроме того, оказалось, что они читали одни и те же книги, говорят схожим языком - короче, способны понять друг друга. Переодетому "странником" Короленко - он, кстати, и внешне походил на крепкого, дельного крестьянина, и сапоги тачал бесподобно - и двух связных слов невозможно было сказать богомольцам-раскольникам на волнующую их тему. "Стародавнюю тропу" он покинул бесповоротно... А подчеркнутое чужие, ни на кого не похожие "декадентствующие" барин с барынькой всю ночь взахлеб проговорили с "зыскующими града" и наговориться не могли. Недаром в дневнике Гиппиус так ясно выражено ощущение чуда: "Станный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер! Как будто не та земля, на которой стоит Петербург..."¹⁷.

Может быть, впервые интеллигент и мужик взаимно заинтересовали и хоть в чем-то поняли друг друга... На другой день изба, где остановились приезжие, оказалась битком набитой заинтригованными сектантами, - "бесконечный спор" продолжался.

Зная некоторые характерные особенности Мережковского и Гиппиус, можно было бы усомниться в том, насколько достоверно описание фурора, произведенного писательской четой. Однако на этот счет есть любопытное свидетельство Пришвина, побывавшего на Светлояре несколько лет спустя. Узнав, кто он и откуда, несколько богомольцев попросили - к величайшему удивлению Пришвина - "поклониться Мережковскому", поблагодарить: "журналы высылают, пишет".¹⁸ Значит, память о себе "Мережские" и впрямь оставили прочную.

Им самим было хорошо понятно, что для великих свершений еще далеко, - речь пока что шла лишь о состоявшемся контакте. Но это могло быть начало пути... Во всяком случае Гиппиус в своем дневнике резко противопоставляет "культурным людям с их тараканьими интересами" тех, с кем она познакомилась на Светлояре: "Пришли со своими мыслями, со своими книгами, уйдут - целый год будут думать то и там, что унесут отсюда. И без усилий, а просто потому, что для всего их существа это важно. Так их много - и для всех один вопрос: как верить в Бога?.. Где правда? Как молиться? Решить это, а там уже все будет ясно. Это - исток. Самое главное". Те, кто на озере, пишет Гиппиус, есть часть народа, "обращенная к нам единой точкой, в которой возможно соприкосновение всех живых людей без различия - возможно истинное "слияние". И эта точка - все. Исток всего. Жива она - все остальное может приложиться".¹⁹

"Слияние", как известно, не произошло. Писательская чета осталась при своем, светлоярские богомольцы - при своем. Сама поездка Мережковского и Гиппиус на Светлояр не имела сколько-нибудь заметного резонанса. Мережковский выступил с докладом о Китеже на одном из Религиозно-философских собраний, упомянул о поездке в книге.²⁰ Гиппиус опубликовала дневник. Вероятно, эти материалы и личное общение с четой произвели серьезное впечатление на С. Н. Дурылина: в его небольшой, но сильно написанной книге о Китеже развиты вышеприведенные мысли Гиппиус. Вот, пожалуй, и все... Ну, и еще светлоярские раскольники какое-то время получали из Петербурга журналы и письма.

Удивительная ночь прошла безвозвратно, и чете литераторов пришлось возвращаться к "культурным людям", в тот мир, неотъемлемой частью которого были они сами. Поездка Гиппиус и Мережковского на берега Светлояр-озера так и осталась единственной в своем роде. Ведь вскоре всему пришел конец: и "живой легенде" раскольников, и культурному миру старой России. Революция навсегда погасила огни града Китежа. И те отрывочные, противоречивые, далекие от ясного понимания происходящего интеллигентские записи, о которых речь шла выше, остались, по существу, единственным свидетельством удивительных мистерий, разыгравшихся на берегах Светлояр-озера у села Владимирского, Люнда тож...



“ТОНКОНОГИЕ” В ДЕРЕВНЕ*

Тоже статья с нелегкой судьбой. Написана была в 1989 году для альманаха “Голоса истории”, издававшегося в то время “Молодой гвардией”. Писал я ее, помнится, мечтая о книжке под названием, уже упомянутом выше: “Цветение ржи” - об А. Н. Энгельгардте, Г. И. Успенском, В. Г. Короленко, людях, поразивших меня в то время своей удивительной духовной силой и чистотой. “Голоса истории”, ясное дело, сгинули как раз на номере с моей статьей; я уже и корректуру видел... С удивительными иллюстрациями.

Много позже под названием “Земля осилила” статья была опубликована в журнале “Знание - сила”, благодаря Бельской, которой я до сих пор благодарен и за это, и за ее всегдашнее доброе отношение, - мне всегда везло на редакторов. Ну, естественно, статью она немножко порезала... В частности, под ее рукой погиб эпилог, который до сих пор мне нравится и который я с большим удовольствием восстанавливаю.

ПРОЛОГ. ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЕМ

Начало этой истории можно, наверное, отнести к тому морозному февральскому дню 1871 года, когда в имение Батищево (что в Дорогобужском уезде Смоленской губернии) прибыл его законный владелец Александр Николаевич Энгельгардт. Зима в тот год выдалась снежная; все вокруг было белым-бело, тихо, безлюдно... Только темнел на горизонте дальний лес, да дымки из труб соседних деревень напоминали о какой-то жизни... Само же Батищево давно стояло в запустенье; здесь живым и не пахло. Поля имения заросли березняком; усадьба наполовину развалилась. Относительно жилым был лишь маленький флигель, где кое-как, с грехом пополам и разместился новоявленный помещик. В дороге Энгельгардт приболел, его бил озноб; и впоследствии Александр Николаевич не раз вспоминал о том, какая безысходная тоска навалилась на него в день приезда в Батищево: пропала вера в свои силы и все мечты и надежды, с которыми он сюда ехал, казались теперь пустой блажью. От безмолвных заснеженных равнин тянуло могильным холодом...

Надеемся, читатель не обвинит нас в стремлении к искусственным эффектам: ведь в самом деле, какой поразительный контраст между этим печальным, тоскливым, мертвенным зимним днем и тем делом, начало которому он положил, - знаменитым в свое время “батищевским делом”, полным энергии, бодрости, дышащим живой жизнью! Однако, прежде чем приступить к рассказу об этом замечательном и, к сожалению, полузабытом эпизоде русской истории, нам совершенно необходимо поближе познакомиться с его главным героем, тем более, что знакомство это не может быть неприятным: Александр Николаевич Энгельгардт, вне всяких сомнений, принадлежал к числу не только самых выдающихся, но и самых привлекательных людей своего времени.

В любой компании, при любой обстановке этот человек обречен был вызывать всеобщее внимание, что, впрочем, его ничуть не тяготило. Высокого роста - как правило, на голову выше окружающих, - широкоплечий, прекрасно сложенный, с уверенными властными движениями Энгельгардт производил впечатление былинного богатыря, которому все по плечу и никакой враг не страшен. От его фигуры веяло мощью. К большой голове с крупными выразительными чертами лица очень шли борода и волосы до плеч - от природы темные, но ранняя седина сделала их стальными. Обычное выражение глаз Энгельгардта, отлично переданное фотографическими портретами, первый его биограф А. И. Фаресов определил, как величавое, и мы склонны с ним согласиться. Голос у Энгельгардта - звучный, чуть картавый бас - вполне соответствовал фигуре, а речь была не менее уверенной и властной, чем жесты.

Такая внешность многое обещала, и при ближайшем знакомстве с Энгельгардтом обещания эти вполне оправдывались. Он был феноменально талантлив. К тому же природа, так щедро одарившая этого человека и духовно, и физически, позаботилась о том, чтобы ни один из ее даров не пропал втуне: Энгельгардт умел работать с колоссальной самоотдачей. Счастливое - и весьма редкое - сочетание широкой размашистой натуры с удивительным упорством и аккуратностью, доходящей до педантизма, позволяло ему в любом деле добиваться максимального успеха. А на своем веку Энгельгардт перевернул столько дел, что их вполне достало бы десятка на два человек обычного калибра...

Как полагалось потомственному русскому дворянину дореформенной поры, основу "карьеры и фортуны" Энгельгардт стал закладывать на военном поприще. В начале 1850-х годов он окончил Петербургское Михайловское артиллерийское училище, служил в конной артиллерии, а затем был причислен литейщиком к столичному арсеналу. Вскоре пушки с клеймом Энгельгардта получили добрую славу среди русских артиллеристов; на молодого поручика самое благосклонное внимание обратило высокое начальство: он был поставлен во главе литейной мастерской. Все, казалось, шло как нельзя лучше; но уже в молодые годы в характере Энгельгардта ярко проявилась одна капитальнейшая черта, свойственная, очевидно, в той или иной степени всем творческим натурам: никогда не удовлетворяться достигнутым. С энтузиазмом брался он за интересное дело, налаживал его, "доводил до кондиций" и - начинал скучать и рваться к другому, более важному, более широкому... Он уставал от повторения хорошо отработанных операций; его томил раз навсегда заведенный порядок, пусть даже близкий к совершенному. Наш герой был не ремесленником, а творцом, и поэтому решенный вопрос представлялся ему вопросом исчерпанным, а конечный результат волновал лишь постольку, поскольку открывал новые перспективы. Так, впоследствии, "образцовое хозяйство" стало для Энгельгардта опорой в решении жизненно важных для страны аграрных и общественных вопросов; так теперь литейное дело послужило ему ступенькой в большую науку,

Химией Энгельгардт увлекся еще в училище; и там под руководством известного ученого Н. Н. Зинина он, очевидно, получил тот минимум знания, который ему помог с таким успехом освоить непростое литейное дело. Но Энгельгардта тянуло к исследованию, к самостоятельной научной работе. Будучи по горло завален своими служебными делами, он тем не менее находил для нее время и добился многого. В 1857 г., 25-ти лет от роду, Энгельгардт вместе с проф. Н. Н. Соколовым открыл первую в России частную химическую лабораторию, в которой сам с большим успехом читал лекции и проводил занятия. В 1859 г. Энгельгардт и Соколов начали издавать, опять-таки первый в стране, "Химический журнал". В то же время сам издатель постоянно публиковался в различных научных изданиях. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что уже к концу 1860-х годов имя Энгельгардта в научных кругах произносили с не меньшим уважением, чем имена таких столпов русской химии, как Н. Н. Бекетов и А. М. Бутлеров; целый ряд отечественных и заграничных ученых обществ удостоили его почетными отличиями, а Российская Академия Наук присудила ему за исследования о креозолах и нитросоединениях Ломоносовскую премию.

Занятия в частной лаборатории позволили Энгельгардту явственно ощутить в себе еще один талант - талант педагога. А он не склонен был зарывать свои таланты в землю!

С 1864 года Энгельгардт начал исполнять по совместительству обязанности профессора химии в Петербургском земледельческом (впоследствии лесном) институте. Когда же он почувствовал, что офицерский мундир стал тесен ему, ученому и педагогу, и в 1866 г. вышел в отставку, эти обязанности стали определять почти всю его жизнь. Он буквально дневал и ночевал в институте. Постоянная штаб-квартира нового профессора размещалась опять-таки в лаборатории - на этот раз институтской, - которая именно благодаря Энгельгардту вскоре стала гордостью не только этого скромного учебного заведения, но и всего ученого Петербурга. Светлая, уютная, удобная, оснащенная на уровне лучших западных образцов, обеспеченная современной научной литературой, комплект которой из года в год аккуратно пополнялся, эта лаборатория была образцовой даже по отзывам самых строгих и авторитетных ее посетителей. Что же касалось институтской молодежи, то она, по словам современника, "хлынула туда неожиданным приливом". Каким образом удалось Энгельгардту выбить у тугого на

выплаты начальства редкий по тем временам трехтысячный кредит на свое новое дело, сие осталось его тайной... Но, конечно же, отнюдь не только значительные средства, вложенные в лабораторию, делали ее популярной у молодежи: привлекал прежде всего сам *хозяин*, "исполненный огня, таланта, инициативы, экспансивности..." Все остальное было лишь благоприятной обстановкой, позволявшей этой яркой натуре проявить себя во всей красе.

Педагогические таланты Энгельгардта в значительной степени зиждились на его личном обаянии, которому трудно было противостоять. Ему не мешала даже некоторая самоуверенность, ощущавшаяся всеми, кому приходилось иметь дело с нашим героем. Да и как не простить это не очень приятное свойство человеку, у которого оно было до такой степени оправдано? Самоуверенность Энгельгардта, как правило, не раздражала, а импонировала, - уж очень явственно ощущалась в ней добрая закуска...

И, может быть, именно это горделивое сознание собственной мощи, совершенное отсутствие чего-либо похожего на комплекс неполноценности, делало Энгельгардта человеком весьма и весьма терпимым. Неколебимая уверенность в своих силах избавляла его от того лихорадочного стремления к самоутверждению, которое многих умных и талантливых людей делает невозможными собеседниками. Энгельгардт, и впрямь, любил поучать, любил изъясняться монологами, но, если дело доходило до серьезного спора, он вел его с позиций разума, спокойно, аргументировано, отталкиваясь от точки зрения собеседника, и никогда не стремился подавить, подмять под себя, навязать свое решение.

С молодежью же Энгельгардт всегда - в институте и позже в Батищеве - был предельно деликатен, стремился держаться на равных. Он мог позволить себе это без всякой опаски вызвать в ответ панибратское отношение; грандиозный масштаб его личности был настолько очевиден, что самые отъявленные нахалы волей-неволей соблюдали дистанцию. В то же время именно сочетание этой грандиозности - многие восторженные ученики Энгельгардта прямо говорили о гениальности - с простотой и доступностью производили на студентов чарующее впечатление.

Кроме того Энгельгардт завоевывал симпатии студентов тем, что стремился быть - и был - человеком своего времени. Молодежь не могла не оценить постоянное стремление своего профессора постичь жизненный интерес преподаваемого им предмета и его умение в яркой, красочной форме преподнести постигнутое. Будучи великолепным ученым-исследователем, любителем хорошо подготовленного и четко, "красиво" проведенного опыта, Энгельгардт отнюдь не стремился ограничить горизонты своих учеников стенами лаборатории. Большая часть его научных исследований имела глубокий практический смысл; этот практический смысл отличал и все его занятия со студентами. Наука интересовала профессора прежде всего как мощное орудие "усовершенствования бытия человеческого". Он свято верил в ее силу и значение, стремился заразить этой верой своих учеников; и, конечно же, трудно представить себе более благодарную аудиторию для восприятия подобных воззрений, чем та, перед которой он выступал: аудиторию "реалистов"-шестидесятников, каждый из которых готов был обеими руками подписаться под базаровской формулой: "Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник..."

Не удивительно, что в истории Земледельческого института вторая половина 1860-х годов так и значится, как "эпоха Энгельгардта". Более того, благодаря своему новому профессору, это скромное учебное заведение (в те годы в нем училось не более 70 человек) приобрело немалую славу. Сюда, в частности, хлынули вольнослушатели, приходившие "специально на Энгельгардта". В лаборатории постоянно былолюдно, шумно и весело, как в студенческом общежитии, что отнюдь не мешало царившему здесь профессору: напротив, в такой непринужденной обстановке Энгельгардт чувствовал себя, как рыба в воде. Ведь весь этот шум и веселье были одной из немаловажных составных энгельгардтовской педагогики, благодаря которой он достигал блестящих результатов. Чтобы не быть голословным, достаточно сказать, что за неполные десять лет работы в институте Энгельгардт подготовил целую школу выдающихся исследователей (среди них можно назвать А. С. Ермолова, ставшего впоследствии министром государственных имуществ, П. А. Костылева, В. Котельникова); обратившись же к специальным "Журналу Сельского Хозяйства и Лесоводства", "Земледельческой газете", к "Bulleteng"

Академии Наук за 1860-е годы, можно убедиться в том, как много вопросов, нередко жизненно важных для хозяйства России, было поднято в это время в лаборатории Земледельческого института.

Будучи прирожденным педагогом и стремясь в этом деле, так же как и во всяком другом, добиться максимального успеха, Энгельгардт не мог и не хотел загонять свою работу в узкие рамки казенных циркуляров и предписаний. Не говоря уже о том, что весь стиль его занятий со студентами в корне противоречил официальному представлению о дисциплине, он и вне аудитории вел себя отнюдь не "по уставу". Особенно заметным это стало с 1870 года, когда Энгельгардт стал деканом института, и тем самым принял на себя ответственность за воспитание студентов. Он отлично понимал, что воспитывать молодежь, отгородившись глухой стеной от волнующих ее вопросов, пусть даже они и выходят за рамки учебного процесса, неразумно, аморально, да и просто невозможно. Так, он отлично знал, что большинство его учеников люди небогатые, многие живут скудно, а иные - и впроголодь. Всем им необходимо было помочь, и, по мнению Энгельгардта, никто не мог сделать это быстрее и лучше самих студентов: свои надежды он возлагал на корпоративный дух, дух товарищества и взаимопомощи. С легкой руки Энгельгардта и под его деликатным, ненавязчивым контролем в институте появляются касса взаимопомощи, "артельные" лавочка, столовая, библиотека. Столь же ясно понимал Энгельгардт и то, что молодежи никуда не уйти от общественной борьбы, взбаламутившей после реформы всю Россию, и здесь он также пытался привить своим ученикам сознание единства, внушить им мысль об общности задач, стоящих перед русской интеллигенцией, о необходимости совместной дружной работы на благо своего народа. При этом действовал он, как и всегда, неординарно. Самым ярким примером его "внеклассной" работы могли служить субботние вечера в институте, которые быстро приобрели популярность среди всего петербургского студенчества, самые настоящие вечера с музыкой, танцами, буфетом и - с серьезными беседами о науке, о будущем, о России...

Как ни парадоксально, вся эта деятельность вконец рассорила Энгельгардта с властями. Дело в том, что свое отношение к студенческой молодежи правительство обуславливало диаметрально противоположными, нежели декан Земледельческого института, принципами. Оно никогда не могло смириться с естественным и неизбежным стремлением студенчества к корпоративному единству: самостоятельность молодежи, так же, впрочем, как и любой другой группы населения, приводила его в ужас. С постоянством, достойным лучшего применения, правительство трактовало студенчество как некое скопище "отдельных учебных единиц", которому надо во что бы то ни стало помешать составить единое целое. Любая "самодеятельность" студентов рассматривалась как деятельность преступная; к педагогу же по сути предъявлялись те же требования, что и к городовому: навести порядок и обеспечить дисциплину...

Понятно, что с подобной точки зрения вся энгельгардтовская педагогика могла быть воспринята правительством, лишь как дерзкий вызов. И оно этот вызов не замедлило принять: почти сразу же после устройства субботних вечеров III Отделение организовало за ними наблюдение, а в декабре 1870 года Энгельгардт, его друг и сотрудник П. М. Лачинов и несколько студентов были арестованы по "делу о беспорядках в Земледельческом институте". Под категорию "беспорядков" жандармы подвели "радикальные разговоры", реферат о деятельности Чернышевского и чтение вслух статьи Фердинанда Лассалья по рабочему вопросу... Самому главному "заговорщику" - Энгельгардту - они смогли инкриминировать лишь восхищенные отзывы о нем студентов, как о человеке, "способном повести за собой Россию". Вся эта каша даже по жандармскому вкусу была не густо заварена: на серьезное обвинение в крамоле материала явно не хватало. Но власти обрушились на Энгельгардта за "развал дисциплины и совершенное отсутствие должного надзора", поставив ему в вину все то, чем он вправе был гордиться: и библиотеку, и столовую, и восхищение молодежи... В начале 1871 года он был отрешен от должности и выслан из Петербурга с предостережением права "самому избрать себе место жительства, за исключением столиц, столичных городов и губерний, где находятся университеты".

... Об общественно-политических взглядах нашего героя нам еще много придется говорить; пока же отметим лишь то, что он всегда был принципиальным сторонником мирного развития России. Однако после этой возмутительной истории он вполне мог изменить свои взгляды. Летопись русского

революционного движения полна примеров того, как талантливых ученых и литераторов, подающих большие надежды общественных деятелей и просто мирных обывателей правительство буквально загоняло в подполье по ничтожному поводу, лишая их воды и огня, отрывая от всего, что было им дорого... Возраст в данном случае нельзя считать помехой: Энгельгардту было всего под сорок, а в революцию уходили и более зрелые люди. Надо думать, что он сохранил верность своим принципам прежде всего потому, что давно уже имел на примете еще одно заманчивое дело - последнее главное дело своей жизни. Он вспоминал впоследствии, что в самый разгар научной и педагогической работы его - в полном соответствии с натурой - постоянно тянуло испытать свои силы на практике, там, где по его твердому убеждению решались в эти годы судьбы России - в деревне, в сельском хозяйстве. Правда, будучи человеком последовательным, он собирался отправиться туда позже, после того, как почувствует, что сделал максимум для себя возможного в лаборатории и на кафедре. Правительство, не согласное ждать так долго, приняло решение за него. Что ж, тем лучше...

Вот таким-то образом, серым февральским днем, в полуразрушенной усадьбе имения Батищево появился ее хозяин, который приехал сюда с тем, чтобы все свои знания, энергию, опыт вложить в решение аграрного вопроса, самого насущного и самого больного вопроса русской жизни.

ОБРЫВКИ ЦЕПИ

"Порвалась цепь великая, порвалась, рассколочилась: одним концом по барину, другим по мужику" - эти некрасовские строки, очевидны, потому так и затасканы по учебникам и хрестоматиям, что лучше выразить суть дела просто невозможно. К середине XIX века крепостное право действительно превратилось в цепь, сковывавшую Россию, лишавшую ее возможности нормального развития, движения вперед. Реформа 1861 года, порвавшая эту цепь, такую возможность, несомненно, предоставила. И столь же несомненно, что положение основных категорий русского сельского населения - крестьян и помещиков - после этой реформы заметно ухудшилось...

Что касалось крестьян, то первым свидетельством этому явились массовые волнения, которыми они встретили реформу; тогда же радикальные публицисты во весь голос заявили об "ограблении трудовой крестьянской массы". Поначалу эта точка зрения многим казалась сугубо эмоциональной; волнения же относили на счет темноты и невежества крестьян и тех неизбежных трудностей, которыми сопровождался коренной перелом русской жизни. Но вот прошло полтора-два десятка лет, все улеглось, и сама жизнь доказала правоту крестьян и их защитников: по Руси пошли недороды, голодовки, повальные эпидемии... Во второй половине 1870-х годов целый ряд крупных экономистов в своих сугубо научных, лишенных даже намека на публицистичность трудах ясно показали, что крестьянское хозяйство в пореформенной России оказалось поставленным в условия совершенно невозможные. Наиболее авторитетный из них Ю. Э. Янсон в своем капитальном "Опыте статистического исследования о крестьянских наделах" доказывал, что реформа, предоставив крестьянам "право свободного труда", отвела для него слишком уж скудную почву: "Здесь ничтожный надел, с которого нельзя сойти, там безземелье, здесь отсутствие всяких заработков и происходящее от того и другого низкое вознаграждение труда; наконец, тяжесть общих государственных земских и мирских податей и сборов, лежащих не на имуществе и его доходе, а на личном труде, и высокая плата за землю, которая едва кормит того, кто ее обрабатывает". На основании огромного фактического материала Янсон пришел к выводу, общему почти для всей европейской части России: между крестьянскими наделами и платежами, лежащими на них, существует ужасающее несоответствие: земли крестьяне получили слишком мало, платить же за нее должны втридорога. Как бы ни бился мужик на своей полоске, заплатив положенное, он уже не в силах свести концы с концами или сводит их с величайшим трудом. Реформа, таким образом, обрекла крестьян на каторжный, изнурительный труд, плодами которого им самим почти не приходилось пользоваться. Янсон весьма убедительно выводил из установленного им несо-

ответствия между наделами и платежами "плохое питание, дурные физические и моральные условия жизни, большую болезненность и сильную смертность", - т. е. все беды пореформенной деревни.

Труды Янсона и его коллег, в которых был обобщен грандиозный по объему цифровой, статистический материал, поставили в крестьянском вопросе все точки над *i*. Однако, надо думать, на общественное мнение гораздо большее влияние оказывали не эти фундаментальные, но трудные для восприятия работы, а многочисленные рассказы и очерки на аграрную тему, которые после реформы публиковали практически все серьезные периодические издания. Высказывая в большинстве случаев те же соображения, что и ученые-экономисты, авторы этих произведений основывали их на своих личных наблюдениях, бытовых зарисовках, "картинкам с натуры". И, может быть, самым ярким явлением в этой "сельскохозяйственной литературе" стали те "Письма из деревни", которые публиковал в периодической печати А. Н. Энгельгардт на протяжении более чем десятилетия, аккуратно, каждый год по письму.

Вот что писал этот внимательнейший наблюдатель о жизни окрестных деревень: большая часть крестьян начинает голодать зимой, многие - еще осенью. "В нашей губернии и в урожайный год у редкого крестьянина хватает хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, те посылают детей, стариков, старух в кусочки, побираться по миру".

Кусочки... Крайняя, вынужденная мера. Чем больше времени прошло от жатвы, тем меньше ест крестьянин, - не три, а два, один раз в день; начинает есть пушной хлеб, с мякиной, с другими прибавками, которые делают его почти несъедобным; собирает последние деньги - "осталось что-нибудь от продажи пенечки, за уплатой повинностей"; занимает хлеб под работу, под проценты, и лишь когда другого выхода не остается - "Есть нечего дома - понимаете ли вы это!", - тогда волею-неволею идет в кусочки... В неурожайный год просить милостыню приходится не только старикам и детям, но и многим хозяевам.

Энгельгардт особо подчеркивал, что "побираться кусочками" и нищенствовать - вещи совершенно разные. Кусочки - это мирская помощь равному, хозяину, попавшему в беду, которая угрожает каждому, а не подаение убогому. Кусочки и просят по-особому - без причитаний, почти шепотом: "Подайте, Христа ради"; и подают их деликатно, по возможности незаметно, подают до тех пор, пока в доме есть хоть краюха хлеба, потому что дающий сам, быть может, не сегодня-завтра пойдет по дорогам с холщовой сумой через плечо... С другой стороны: повезло мужику, разжился он хлебом, появился хоть малый излишек, - и на другой же день он сам начинает подавать. Целая система взаимопомощи выработана здесь, целый ритуал, и, уж конечно, не от хорошей жизни...

Приходит весна, самое тяжелое время для мужика. Хуже всего ему перед новью. "Вот-вот рожь поспеет хотя настолько, что можно будет зеленую кашу есть, а вот тут-то и нет хлеба; пуд муки и то трудно достать в это время, потому что каждый запасал хлеба только до нови". Хорошо, если весна ранняя, - на грибах можно кое-как продержаться... Но вот дотянули до нови, упала с плеч страшная тяжесть - ничего, теперь живы будем; торопятся крестьяне на мельницу и едва ли один из ста возвращается оттуда, не пропив части урожая; и осудить - язык не повернется: всего две жатвы в году, всего два раза мужик себя человеком чувствует, и, увы, каждый раз так ненадолго...

Вот живая иллюстрация к несколько тяжеловесным и отвлеченным рассуждениям Янсона о "свободном труде". Какая уж тут свобода, какое тут может быть движение вперед, развитие при подобных "нечеловеческих условиях жизни"! И почти одновременно с Янсоном Энгельгардт на основе своих наблюдений делает тот же вывод относительно причин этой каторжной жизни: "Что крестьяне наделены недостаточным количеством земли, что они обременены налогами, это несомненно". После отмены крепостного права материальное положение значительной массы крестьянства заметно ухудшилось.

Но это отнюдь не означало, что улучшилось положение их бывших хозяев. Недаром ведь если крестьяне волновались, то и помещики брюзжали, пассивно сопротивлялись преобразованиям, а иногда и прямо заявляли об обидах и убытках, наносимых благородному дворянскому сословию. На первый взгляд, у них, казалось бы, не было на то никаких оснований: правительство оставило помещикам большую и лучшую часть земель; за те же земли, что отошли крестьянам, им выплатили в короткий

срок огромные суммы выкупных платежей. Казалось, что перед помещным дворянством открылся торный путь для того, чтобы перестроить свое хозяйство на новых основаниях: нужно было лишь с умом приложить к земле эти свалившиеся в руки по царскому указу капиталы. Но помещик-то в массе своей оставался по натуре старый, дореформенный, тот самый, который, по словам Салтыкова-Щедрина, “рылся около себя как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло, да сытно, то был доволен и собой своим жребием”. Во имя этой немудреной, но сытой и покойной жизни в крепостнической среде была выработана надежная, простая и всем доступная система ведения хозяйства: “Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благодаря отсутствию удобрения, урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, каком ценой доставался тот излишек, мужицкому хребту и думать надобности не было”. В основе всей этой рутины лежал даровой крестьянский труд, - только на нем она и держалась. Реформа 1861 года разрушила, казалось, самый фундамент этой примитивной системы, и она была обречена на крушение. “Надобность думать” встала теперь перед помещиком во весь рост.

В самом деле, после реформы в среде помещного дворянства произошло-таки некоторое движение. Были попытки закупить технику, наладить батрачное хозяйство, изменить севооборот и т. д. Но в подавляющем большинстве случаев отсутствие энергий, настойчивости, навыков сводило все эти усовершенствования на нет. Изнеженное веками крепостного, “пошехонского раздолья”, помещное дворянство никак не могло выбраться на путь, указанный реформой.

Вот как передавал свои первые впечатления от окрестных помещиков Энгельгардт: поначалу он ездил по всей округе, пытался наладить контакты с соседями, толковал с ними об общих хозяйственных проблемах, но очень скоро убедился, что все это “совершенно бесполезно, потому что они большею частью очень мало в этом смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях... но и практических знаний, вот что удивительно, нет. Ничего нет, понимаете... Есть некоторые, которые занимаются хозяйством или, лучше сказать, разоряются по агрономии... т. е. нахватавшись форм т. н. рационального хозяйства из разных книжек, вводят разные новости: машины ненужные выписывают, турнепсы и люпины сеют. Разумеется, ничего не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря отрезкам, лесам и старому заведению”.

Вот в том-то и дело, что “старым заведением” можно было еще какое-то время продержаться: реформа отрезала в пользу помещиков значительную часть тех наделов, которыми крестьяне пользовались при крепостном праве, и тем самым выдала мужика головою его бывшему барину: без “отрезков” крестьянин, как правило, был просто не в состоянии вести свое хозяйство. Ресурсов для того, чтобы выжить, не хватало: не хватало ни пахотной земли, ни покосов, ни выгонов, не хватало хлеба. Приходилось идти на поклон к помещику, обложившему своими владениями мужика, как медведя в берлоге. А тот, зновь почувствовав себя полным хозяином положения, хлеб и землю давал *только* за отработки на своей пашне, своем покосе. И работу эту мужику приходилось вести на своей заморенной кобылке, своим убогим инвентарем в самую страду - в то время, когда решалась на целый год судьба его собственного хозяйства... Это ж было чистое разорение!

Зато помещику подобное положение вещей позволяло вести свои дела дедовским способом, основываясь, как и при крестном праве, на “представлении о бесконечной растяжимости мужицкого труда”. “... Система хозяйства, - писал Энгельгардт, - остается у большинства все та же; сеют по-старому рожь, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай; овес, который у нас родится очень плохо; обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями, косят те же плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо...” Все то же экстенсивное хозяйство, все та же покоящаяся на крестьянском подневольном труде рутина - как будто крепостное право и не отменяли... А между тем после реформы прошло уже больше десяти лет!

Одной из главных заслуг Энгельгардта - автора “Писем из деревни” - было то, что он, пожалуй, первым так ярко и убедительно показал всю порочность и противоестественность подобных отноше-

ний. В самом деле, крепостное право, при всей своей бесчеловечности, создавало органичную связь между помещичьим и крестьянским хозяйством. Помещик заинтересован был в том, чтобы его крестьянин-работник твердо стоял на ногах, чтобы скот его, орудия труда были в надлежащем порядке, - от этого ведь зависело его собственное помещичье благополучие. И он, как правило, отводил крестьянину такой надел, который обеспечивал минимум несложных мужицких потребностей. Крестьянин, в свою очередь, видел в помещике хозяина не только над имением, но и над его мужицкой судьбою - может и под розги положить, и в рекруты вне зачета отдать, и в Сибирь на каторгу сослать - и работал порядочно, если не за совесть, то за страх. Конечно же, это правило знало великое множество исключений и в ту, и в другую сторону, и все же правило было именно таково. Подобная система не имела перспективы; пределы ее развития обуславливались малопроизводительной мужицкой работой из-под палки, самыми примитивными орудиями; однако определенный жизненный минимум обеспечивался здесь и крестьянину и помещику.

После 1861 года все в корне изменилось. Отныне помещик, ведущий свое хозяйство по старинке, все свои расчеты должен был основывать на крестьянской нищете: "Благосостояние крестьян вполне зависит от урожая ржи... Чем меньше ржи должен прикупить крестьянин, чем дешевле рожь, тем лучше для крестьянина. Помещик, напротив, всегда продает рожь, и от ржи, при существующей системе хозяйства, получает главный доход. Следовательно, чем дороже рожь, чем более ее требуется, тем для помещика лучше. Масса населения желает, чтобы хлеб был дешев, а помещики... чтобы хлеб был дорог. ... Заметьте при этом еще, что при урожае не только понижается цена хлеба, но, кроме того, возвышается цена работы. Если бы у крестьянина было достаточно хлеба, то разве стал бы он обрабатывать помещичьи поля по тем баснословно низким ценам, по которым обрабатывает их теперь?" Полунищий, голодный мужик, продающий свою бесценную для помещика работу за куль ржи, за болтанную - переболтанную полоску земли - вот идеал для большинства пореформенных хозяйств.

Ясно, что такое положение дел, когда мужик глядит на небо и молит о дожде, а помещик по соседству приговаривает: "Дай бог, чтобы стороной прошло", - положение вопиющее, порождающее взаимную злобу и ненависть, чреватое социальными конфликтами. Но даже если, оставив эмоции, взглянуть на него с чисто хозяйственной стороны: как могут идти дела в хозяйстве, основанном на труде нищей, голодной массы работников, не только совершенно не заинтересованных в результатах этого труда, но и потерявших всякий страх перед помещичьей нагайкой? Вот и получилось, что, как ни старались создатели "Положения 19 февраля" соблюсти интересы благородного дворянства, как ни подводили они новую базу из крестьянского безземелья и горькой нищеты под "старое заведение", и заменить крепостное право, все ж таки не смогли, - нельзя было его ничем заменить. Обеспеченный минимум довольства и сытости, основанный на даровом, подневольном труде, уходил в прошлое. Помещики, державшиеся старины, медленно, но верно оскудевали: по наблюдениям Энгельгардта, в Смоленской губернии "запаски уменьшены более, чем вполтину, обработка земли производится еще хуже, чем прежде, количество кормов уменьшилось... Проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля, если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само, пропадает измором".

Невозможно жить по старому, по-дедовски в новой России - вот главный вывод, который извлек для себя Энгельгардт из общения с соседями-помещиками. Надо было искать выход из создавшегося положения, катастрофического и для помещиков, и для крестьян - для всего русского хозяйства. Надо было решительно отбросить прочь заржавленные обрывки расскочившейся цепи, навсегда расстаться со всем ворохом рутинных обычаев и предрассудков, унаследованных от крепостной старины. Конечно, для этого требовался особый склад ума и характера, и Энгельгардт этим требованиям отвечал как нельзя лучше. В первый же год по приезде в Батищево он твердо занял вполне определенную позицию: "Рядом соображений теоретических, как человек в хозяйстве совершенно новый и, следовательно, не имеющий никаких традиций, не привыкший ни к чему и спокойно, без боли ломающий старое, как человек, никогда агрономией не занимавшийся, рядом логических выводов, основанных на

научных истинах, я пришел к сознанию необходимости изменить систему и стал изменять. Это нехорошо, это невыгодно, какое мне дело, что так делали прежде! Это невыгодно, значит, этого делать не нужно, значит, нужно делать иначе; попробуем иначе..."

ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

В сущности, многие из современников нашего героя отлично знали, что нужно предпринять для спасения помещичьего хозяйства. Так, автор одной из рецензий на первые "Письма из деревни", критикував Энгельгардта за расплывчатость суждений и неясность выводов, перечислил целый ряд очень разумных и действенных мер: "Прекращение системы сдачи полей кругами, (т. е. не отдельным крестьянам, а всей деревне, огулом - А. Л.), устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, улучшение лугов и выгонов" и пр., и пр. В своем ответе рецензенту Энгельгардт достоинство этих мер отнюдь не оспаривал; он лишь заметил с сарказмом, что вот, мол, как легко, оказывается, вести хозяйство... на газетной полосе: раз, два - и все проблемы решены... Остается, правда, еще один "маленький вопросик": как все это сделать? как в условиях пореформенной России устроить батрачное хозяйство, улучшить луга и т.д.?

По твердому убеждению Энгельгардта, на бумаге этот вопрос не решишь. В своих "Письмах" он, в частности, ругательно ругал отечественную сельскохозяйственную научную литературу - за схоластичность, за высокомерный академизм, за то, что вся она была по словам публициста, не более чем "бездарным списком с немецкого", совершенно не пригодным к делу в конкретных русских условиях. Более того, он доказывал, что и самые разумные, построенные на хорошем знании жизни рассуждения не смогут помочь этому делу, если некому будет претворить их в жизнь. Как пример, Энгельгардт приводил "обширное хозяйство" своего родственника, в основу которого был положен отлично продуманный и точно рассчитанный план действий - он признавал, что и сам у себя в Батищеве во многом исходил из этого плана. Однако практика в "усовершенствованном" хозяйстве была убийственной для теории: "Система полеводства превосходна, но лен... выделяют так, что никуда не годится, превосходная рожь вымолачивается так, что значительное количество зерна остается в соломе... правильного учета и контроля нет, превосходные лошади сбивы и испорчены - ни надсмотра, ни порядка".

Энгельгардт постоянно доказывал, что для того, чтобы хозяйственная система себя оправдала, все ее составные части должны находиться в гармоническом равновесии друг с другом: план ведения хозяйства рождается из приложений опыта и знаний к конкретным условиям; теория должна постоянно проверяться практикой, которая вносит свои неизбежные коррективы; орудия и организацию труда необходимо привести в соответствие с навыками и психологией работников; заводить скот и возделывать культуры приходится лишь такие, которые оправдывают себя в данной местности, и т. д. Центром же этой гармонии, ее связующей жизненной силой является *хозяин*: "Ни машины, ни симментальский скот не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева".

Эти, несколько тривиальные, на первый взгляд, рассуждения Энгельгардта полны глубокого смысла. Они лишний раз доказывают, как хорошо и быстро этот отставной профессор химии, только-только приступивший к совершенно новому для себя делу, понял самую его суть: до тех пор, пока помещик не станет на новые позиции, не перестанет жить за счет крепостнического прошлого, не расстанется с барской психологией, толку не будет. И не помогут здесь никакие отвлеченные рассуждения, не помогут никакие бумажные рецепты. Переустройство хозяйства надо начинать с самого себя - со своих взглядов, привычек, образа жизни... "...До "Положения" даже и не очень богатые помещики жили в хоромах, ели разные финзебры, одевались по-городски, имели кареты и шестерки, - так что с того? Ведь нынче-то времена изменились, нынче помещики, особенно не очень богатые, должны жить совсем по-иному..." "Положение", писал Энгельгардт, совершенно изменило все отношения, все условия жизни и что, кажется, с этим вместе естественно должен изменяться и весь наш быт... Все должно измениться, и то, что неспособно на изменение, что не может его вынести, должно погибнуть".

Привлекательность энгельгардтовских писем в значительной степени определялась тем, что их автор совсем не вел голословных рассуждений; все, о чем он писал, опиралось на его собственный опыт. И в данном случае, ведь сразу же после приезда в Батищево перед Энгельгардтом встал вопрос о том, как он будет жить, что есть, как одеваться, и вопрос этот он решил быстро и последовательно, исходя как из задач, которые перед собою ставил, так и из тех условий, в которых ему приходилось действовать.

Задачи были в принципе те же, что и у всех дореформенных помещиков: поднять хозяйство, сделать его рентабельным. Условия - не лучше, если не хуже, чем у многих: мало того, что Батищево было запущено донельзя, Энгельгардт совсем не имел свободных средств, которые можно было бы вложить в хозяйство, после отставки у него иссякли все посторонние источники дохода, кроме этого полуразоренного поместья. И все-таки подавляющее большинство помещиков, оказавшись в подобных условиях наверняка прежде всего принялось бы налаживать привычную барскую жизнь: поднажали бы на старосту, изъяли бы кое-какие капиталы из имения, еще больше его разорив, но непременно завели бы необходимо многочисленную, по понятиям крепостного времени, прислугу, "приличный" выезд, "усовершенствовали" бы усадьбу и т.д. Собственно, именно этого ждали все окрестные помещики да и крестьяне от владельца Батищева, а он с нескрываемым удовольствием писал впоследствии о том, как решительно обманул подобные ожидания, поступив единственно рациональным образом: "перевел старосту в дом, поручал его жене готовить мне кушанье, взял для прислуги и работ молодого крестьянина, завел всего одну лошадь, стал разъезжать одиночкой, дома никакого не устраивал"... - т.е. сократил все непроизводительные расходы до минимума.

Весь этот, с барской точки зрения, "аскетизм" не только позволил высвободить средства для хозяйства, - он формировал самого хозяина, освобождая его от всего ненужного и лишнего, раскрепощая его дела... С этой точки зрения, например, был вполне логичен отказ Энгельгардта от "господской", городской одежды, совершенно не пригодной для человека, которому необходимо постоянно бывать в поле, "запречь лошадь, править лошадью, выйти на мороз". Сама деревенская, исполненная постоянных трудов и хлопот жизнь нарядила Энгельгардта во фланелевую рубашу навыпуск, в шаровары, направленные в сапоги "черного товара", набросила на плечи неизменный крестьянский полушубок. Никакой позы в этом не было: надев такое платье, владелец Батищева буквально развязал себе руки. По тем же причинам и кабинет его напоминал "опрятную, крестьянскую избу": бревенчатые стены, предельная простота и скромность обстановки... Но на большом столе при этом всегда лежали стопкой специальные книги, а на окнах стояли склянки с химическими реактивами.

Подготовившись, таким образом, к бою, Энгельгардт принял его без колебаний. С первых же лет своего пребывания в Батищеве он стремился вырваться из душившей его хозяйственной рутины: в имении на 450 десятин земли под пашней было 66 (1/7); на них в трехполье высевали рожь и овес; скот был "навозной породы" - в общем, Батищево ничем не отличалось от подавляющего большинства хозяйств нечерноземной полосы. Обычными были и доходы, как правило, равные нулю; нередко хозяйство приносило прямую убыток. Средств для того, чтобы выбраться из этой пропасти, как уже сказано, не имелось; их приходилось изыскивать тут же, на месте.

Своеобразным рычагом, позволившим Энгельгардту перевернуть свое застывшее в запустенье хозяйство, стал лен. Собственно, ни для кого не было секретом, что эта техническая культура приносит до 100 рублей валового дохода с десятины; следовательно, при правильной постановке дела может дать 50-60 рублей чистой прибыли. Но вот эта "правильная постановка дела"... Под лен приходилось поднимать запущенные участки земли - облоги; от работника здесь требовались прилежание и сноровка, от орудий - добротность и надежность, от хозяина - постоянные хлопоты... Суета сует! То ли дело "веками освященный" порядок: озимое поле - под рожь, яровое - под овес; запустил на истощенную землю дарового почти мужика-отработочника с его неизбывными Сохой Ивановной и лядщей Сивкой - и в ус не дуй!

Энгельгардта подобные соображения, естественно, не смутили. "Подлаживаться к льну" он начал с первого же года, отвел под него две десятины, над которыми трясся, как над малым ребенком, и,

хотя посевы сильно побила земляная блоха, получил-таки прямой доход. На следующий год под лен было запущено уже четыре десятины и т. д. По мере того, как в хозяйстве появлялись деньги, Энгельгардт тут же пускал их в оборот: заводил хороших рабочих лошадей, железные плужки, стал нанимать батраков - т. е. переустраивал хозяйство в самых его основах. Правда, значительную часть работ, особенно по выделке льна, ему приходилось по-прежнему возлагать на плечи окрестных крестьян - хозяев и прежде всего хозяек, - мяли лен бабы. Но, во-первых, эти работы, как правило, производились осенью, по окончании страды, когда крестьянин был относительно свободен; во-вторых, Энгельгардт платил за эту работу деньги; причем деньги по крестьянским меркам немалые!... Следовательно, и тут от льна была польза: он помогал, в какой-то мере, изжить жуткое, бесчеловечное противостояние помещика с мужиком.

И, может быть, самое главное, именно лен позволил Энгельгардту взять от своего хозяйства максимум возможного. Распахивая облоги, он вводил в хозяйственный оборот новые земли и все дальше уходил от рутинного трехполья, истощившего и без того небогатую почву. После льна на этих богатых питательными веществами землях отличные урожаи давала рожь; тем временем старопашотные земли отдыхали под травой, клевером, тимофевкой на радость год от году растущему батищевскому стаду; следовательно, помимо молока, масла и проч., постоянно увеличивалось и количество удобрений, столь необходимых истощенной подзолистой почве. Хозяйство расширялось и богатели с каждым годом - на зависть и в пример сначала окрестным помещикам, а затем и всему поместному дворянству нечерноземной России.

Батищевскому имению и его хозяину можно было бы посвятить целый фолиант, причем, несмотря на суховатую, сугубо экономическую тематику, преувлекательный, ибо что может быть увлекательней рассказа о том, как человеческие замыслы в каждодневном упорном труде обретают плоть, становятся явью... Практически из ничего, исключительно за счет своих знаний, ума и энергии Энгельгардт сотворил образцовое хозяйство. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно было пересечь границы его владений, оставив за спиной царившее во всей округе пореформенное запустенье: "С одной стороны пустошь, ничего не дающая, а с другой - вырубленная роща, разделанная под лядо, далее шел березовый лес, потом мы переехали ровок, видимо, расчищенный для покоса; поднявшись из него, мы ехали красивыми лощинами между рощами и отдельными группами деревьев - дорога принимала вид парка... Всюду была заметна заботливая по отношению к покосу рука хозяина, повсюду также видно было, что не зря делались подчистка и что эстетические требования играли тоже роль... Великолепная рожь волновалась высокой стеной. Масса темно-серых построек придавала усадьбе очень обширный вид".

Подобные результаты, естественно, не могли не заинтересовать тех, кто печалился о помещичьем оскудении; во владельце Батищева им виделся своего рода Колумб, проложивший поместному дворянству путь в Америку вожденного благополучия. Так, в середине 1890-х годов консервативный публицист С. Ф. Шарапов восторженно писал: "После долгих трудов и усилий разрешен Энгельгардтом вопрос о наилучшей среднерусской системе хозяйства, пригодной для огромного пространства десяти или пятнадцати губерний... Он выяснил научные основы, связал ряд опытов в строгую науку, и эта наука стала азбукою среднерусского земледельца".

Итак, казалось, цель достигнута: создано образцовое хозяйство, найден путь из кризиса, Энгельгардт снова на вершине успеха. И странным диссонансом этому триумфу звучали лишь слова самого владельца Батищева: "Я устроил свое хозяйство прекрасно. Результатов достиг блестящих. Система хозяйства, если она не во всех частях у меня вполне проведена, то по крайней мере совершенно для меня ясна. И что же? Я вижу, что стоит мне не то что бросить хозяйство, а только заболеть, и все пойдет прахом - никто и не будет знать, что делать, где что сеять. Это понимает и мой староста, и другие крестьяне. "Умрете - и ничего не будет, все прахом пойдет", - говорит староста. "Кончится тем, что вы сдадите имение в аренду немцу", - говорил мне один мужик. И действительно, умри я - все разрушится..."

Отчего же триумфатор был настроен так мрачно? Почему так пессимистически оценивал Энгель-

гардт будущее своего цветущего и быстро прогрессирующего хозяйства? Ведь никаких объективных причин для этого как будто не было...

И в самом деле, тяжелое настроение Энгельгардта объяснялось не столько объективными, сколько субъективными обстоятельствами. Этот преобразователь, устроивший на своих нескольких сотнях десятин настоящую сельскохозяйственную революцию, никак не мог смириться с теми средствами, которые позволили ему добиться столь блестящих результатов. Агрономические и агротехнические достижения - культивация льна, переход от трехполья к многополью, введение новых орудий, улучшение скота, широкое использование удобрений, в том числа и искусственных - все это не могло не радовать Энгельгардта. Основа же всех этих успехов - батрацкое хозяйство - его от себя отвращала.

Подобное заявление может удивить читателя; у него уже, очевидно, сложился вполне определенный образ "батищевского пана" - умного, знающего, энергичного хозяина-помещика, человека, который в стремлении к поставленной цели решительно отбрасывает прочь сантименты и не идущие к делу соображения. Во всяком случае, именно так оценивали Энгельгардта многие современники: влиятельный радикальный публицист Н. В. Шелгунов, например, поместил в журнале "Дело" статью, в которой без обиняков характеризовал нашего героя, как паука-эксплуататора, умело сосущего соки из крестьян и батраков. Да и все восторги С. Ф. Шарапова порождены были аналогичным восприятием батищевского хозяйства, только оценивал его консервативный публицист как раз с точки зрения "пауков-эксплуататоров"...

Насколько несправедливы были и хула эта и хвала, засвидетельствовал сам Энгельгардт - и на словах, и на деле. Прежде всего обратимся к тому, что писал и говорил этот необычайный человек. Так, например, в 1884 году, в частном письме он очень трогательно и предельно ясно выразил свое собственное отношение к "образцовому хозяйству": "Эксплуататорское хозяйство, которое я веду в Батищеве, давно уже перестало меня интересовать. Когда я сел на хозяйство, то оно представляло для меня агрономический интерес, который поддерживал энергию и давал жизнь... Как ни велик, однако, был этот интерес, как ни интересовала меня научно-агрономическая сторона дела, - но все-таки меня всегда угнетала экономически-социальная сторона дела. Радость агронома всегда отравлялась скорбью человеческой. Радостно было смотреть на роскошный клевер, выросший на батищевских полях, но радость отравлялась, когда я видел мужика, обязавшегося скосить этот клевер за деньги, взятые зимою, когда у него не было хлеба. Я любовался на дойную корову, дающую по ведру молока, но не мог в то же время не думать о горькой судьбе доящей эту корову подойщицы". А во время беседы с А. И. Фаресовым, когда этот публицист под впечатлением всего увиденного в Батищеве, высказывал мысль, что, мол, хорошо бы "каждому из нас быть "маленьким Энгельгардтом", мелким хуторянином с батраками и добрыми к ним отношениями", гостеприимный хозяин буквально взорвался: "Что за вздор "маленький Энгельгардт"! Маленький эксплуататор!" И дальше хозяин Батищева излил обиду, очевидно, давно его томившую: у него были серьезные претензии к радикальной публицистике. Энгельгардт нимало не протестовал против характеристики его хозяйства, как эксплуататорского, - во второй половине 1870-х годов он сам постоянно называл его "кулацким", но требовал в интересах дела полной ясности: "Надо было сказать, что при противоположности интересов мужицкого и барского хозяйств... даже Энгельгардт вынужден вести кабальное хозяйство (разр. моя - А. Л.)... Вот как надо было написать обо мне, а то, вишь, батраки да сторож Савельич, убирающий мою комнату, смущают совесть петербургского журналиста!"

Железная необходимость заставляла "батищевского пана" действовать так, как он действовал. Но, подчиняясь ей в своих хозяйственных делах, Энгельгардт, как видим, не принимал ее духовно и меньше всего мечтал о том, чтобы вся Россия пошла по его пути. Отпевая, с одной стороны, "бессмысленные и обреченные" помещичьи хозяйства, живущие обломками "золотой старины" - отрезками, отработками и т. д., он в то же время без малейшего сожаления писал: "У нас можно по пальцам перечесть имения, в которых ведется обширное батрацкое хозяйство, с хорошей обработкой земли, хорошим скотоводством... Существование таких хозяйств совершенно дело случая". "Образцовое хозяйство" в Батищеве, доказывал Энгельгардт, может существовать только в качестве исключения: ведь

основная рабочая сила в нем - безземельные батраки, которые могут стать массовым явлением только в случае повсеместного разорения крестьянства. С точки зрения Энгельгардта, это исход совершенно немислимый. "В России кнехта нет!" - убежденно писал он. И слава Богу, что нет! И быть не должно!...

Таким образом, вопрос об "образцовом хозяйстве", как прообразе русского пореформенного поместья, объявлялся закрытым самим его создателем. Вопреки лестным отзывам Шарапова, "батищевский пан" совершенно не собирался усаживать поместное дворянство за "азбуку землевладельца". Напротив того, он решительной рукой ставил жирный крест на "благородном сословии" как на хозяйственной силе. Что же касается размышлений Энгельгардта о будущем сельского хозяйства в России, то они развивались в совершенно ином направлении.

РАЗМЫШЛЯЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ

"Ясно, что у нас не может установиться остзейский порядок. Ясно, что у нас во главе должно стоять широко развитое крестьянское хозяйство, вообще хозяйство людей, самолично работающих землю" - в этих строках, собственно, и суть, и итог размышлений Энгельгардта.

Любой мало-мальски знакомый с русской историей читатель вправе заметить нам, что в ту эпоху, когда определяющим явлением русской общественной мысли было народничество, подобная точка зрения никак не могла претендовать на оригинальность. Действительно, многие современники Энгельгардта не менее истово верили в светлое будущее именно крестьянской, мужицкой России. Более того, в полной аналогии с началом первой главы мы можем сказать, что и среди сторонников этого направления было великое множество людей, отлично знавших, что нужно делать во имя этого будущего.

Если попытаться - конечно, огрубленно и в самых общих чертах - сформулировать ту точку зрения, которая в 1870-х - нач. 1880-х годов господствовала среди народников, то получится примерно следующее: крестьянин по духу своему - почти сложившийся социалист. Но многим прекрасным, устремленным в будущее чертам народного характера мешают раскрыться чисто внешние обстоятельства, хорошо знакомые нам уже по Янсону и пр.: малоземелье, обремененность платежами, засилье местной администрации и т. д. Если все эти препятствия устранить, если создать для общины благоприятные условия бытия, то она даст мощный и беспрепятственный рост социалистическому строю.

Сейчас, когда мы хорошо представляем, насколько все было сложнее, подобные прямолинейные взгляды не могут не вызывать раздражения. Конечно же, трудно переоценить значение общины в народной жизни: именно она помогла русскому крестьянству выстоять в неимоверно сложных исторических условиях, выстоять не только физически, но и нравственно, сохранив свой особый духовный облик. Но в то же время государство и помещики на протяжении нескольких веков приспособливали общину к своим целям, используя ее для самой безжалостной эксплуатации мужицкой России; из-за этого многие черты общинной организации приобрели гипертрофированный, искаженный характер, глубоко оскорблявший нравственное чувство труженника-земледельца: одно дело добровольная, от сердца идущая взаимопомощь (те же кусочки, например), другое - насильственно налагаемая круговая порука; одно дело общая поддержка своим трудом слабосильных и больных, и совсем другое - работа на помещика в страду, огулом, без всякого учета затраченных работником сил. Подобные черты в сознании крестьянина неразрывно связывались с насилием, с крепостным правом, и при первой возможности он стремился изгнать их из своей жизни. А между тем, многие искренние защитники его интересов готовы были буквально молиться на эту сложную, противоречивую организацию труда и жизни, видели в ней "спасение народное" и мечтали об одном: сохранить ее во всей полноте и целостности.

Между тем нужно было не молиться, а разобраться, что в общине от Бога, что от лукавого: нужно было оторваться от бумаги, от теории, априорных суждений и прислушаться к самому заинтересованному лицу - мужику: сам-то он чего желает от своей жизни, как собирается ее устраивать?..

Мы видели уже, как саркастически относился Энгельгардт к любым попыткам "бумажного" решения насущных практических вопросов. Великий реалист и в науке, и в жизни, он всегда стремился не насиловать действительность, подгоняя ее под свои убеждения, а исходить из нее; при этом мало кто из современников умел так чутко и внимательно наблюдать окружающее. Не удивительно, что именно он, пожалуй, первым в России решительно заявил: общину губят отнюдь не только внешние причины, многое истлело и внутри нее... Вполне соглашаясь с общим для прогрессивной литературы того времени тезисом - крестьянство страдает от нехватки земли, выгонов, леса, от переизбытка платежей и т. д., - автор "Писем" отмечал: "... есть и еще причина бедности земледельцев - это разобщенность в их действиях. Эта разобщенность в действиях очень важна..." Семейные разделы, стремление обособиться в хозяйственном отношении, индивидуализм крестьянина - обо всем этом Энгельгардт писал очень подробно и убедительно, обращая внимание читателей на то, что это отнюдь не эпизоды крестьянской жизни, а тенденция, которая усиливается с каждым годом, "так что многие работы, которые еще несколько лет тому назад исполнялись сообща, огульно целою деревнею, теперь делаются отдельно каждым двором".

Впоследствии все эти наблюдения автора "Писем из деревни" заслужили самую лестную оценку В. И. Ленина. Самого же Энгельгардта они отнюдь не радовали, ибо "дом, разделившийся в себе самом не устоит". С одной стороны он - правда, мельком - давал очень человеческое и, на наш взгляд, весьма глубокое объяснение этому "разобщению крестьянскому". Так, говоря о семейных разделах, Энгельгардт обращал внимание на тот несомненный факт, что "у мещан, у купцов дележей гораздо меньше - там вся семья работает сообща: один брат дома торгует, другой по уезду ездит, третий в кабаке сидит, и все стремятся к одному - сорвать, надуть, обжечь". Может быть, в самом мужике есть что-то такое, что заставляет его предпочитать добрую ссору худому миру? Может быть, земледельческий труд сродни творческому и по характеру своему требует от крестьянина большей независимости, заставляет его добиваться таких условий, чтобы между ним и хозяйством не было ничего лишнего, чтобы никто не мешал ему прислушиваться к тому, что велит земля-кормилица, и исполнять ее требования? "Не от того ли мужик делится, не от того ли стремится к отдельной самостоятельной жизни, что он более человек, более поэт, более идеалист?"

Но, как бы то ни было, на практике разделы, так же как и большинство других проявлений крестьянского индивидуализма, до добра, как правило, не доводят. Чрезвычайно выразительно, буквально на пальцах показывал Энгельгардт, насколько его, средней руки помещика, положение выгоднее крестьянского: у него одна печь топится, одна баба на всех работников еду готовит, один человек за скотиной смотрит - какая огромная экономия сил и средств, по сравнению с деревней на несколько десятков дворов! Да и сама организация труда гораздо проще и рентабельней. "Мои батраки, конечно, работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают артельно, то во многих случаях, например, при сборе сена, хлеба, молотье и т. п. сделают более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке на себя".

Энгельгардт писал совершенно определенно, что даже при теперешних неблагоприятных для мужика условиях - "при недостатке земли, при обременении ее огромными налогами, при крайне неэкономическом отношении к мужику начальников, заставляющих его бесполезно тратить массу сил, - многосемейный дом, в котором несколько молодцов-работников и хороший хозяин, до тех пор, пока он не разделился, пока все живут в союзе, пока работают сообща, все-таки пользуется известным благосостоянием и зажиточностью. Что же было бы, если бы вся деревня в союзе и сообща обрабатывала землю? Вопрос, с точки зрения самого автора, чисто риторический - ведь очевидно, что тогда - и только тогда - все проблемы русского хозяйства решены были бы окончательно и бесповоротно: помещики волей-неволей отказались бы от своих запустелых хозяйств потому что, в первую очередь, за счет раздела, разобщенности и прочих несовершенств крестьянской жизни они и владат свое жалкое существование; а крестьяне, столь же неизбежно прибрали бы помещичью землю к рукам и завели бы на ней хозяйства не хуже батищевского...

Конечно, сослагательное наклонение придавало всем этим рассуждениям характер несколько отвлеченный и мечтательный; но Энгельгардт - и в этом его огромное преимущество перед великим множеством современных ему публицистов и писателей - был настоящий ученый и хозяин-практик, отлично понимавший, что из самых увлекательных фантазий не выстроить избы-пятистенки, не то что "дворец с колоннами из алюминия и стекла". Он позволяет себе предаваться мечтам лишь постольку, поскольку был уверен в том, что все они покоятся на совершенно реальном основании.

Да, считал Энгельгардт, хозяйственную разобщенность крестьянства необходимо преодолевать, но отнюдь не любыми средствами. Недаром ведь самые язвительные страницы "Писем" посвящены именно "благоденствиям сверху", на которые российская администрация была почти так же щедра по отношению к мужику, как и на тычки с подзатыльниками. Энгельгардт же любое насилие над крестьянством, совершаемое пусть даже и с самой благой целью, считал не только возмутительным, но и нелепым, ибо оно все равно никогда не приводит к желаемым результатам. Так, например, "разделы вредны, но... всякие мероприятия для закрепления семейного союза были бы нелепы и так же невозможны, как невозможно Мишку заставить любить Фрузю, а не Авдонию".

Пусть дореформенные община и большая семья уходят в прошлое вместе с крепостным правом: они, очевидно, отжили свой век, их не удержишь... Но значит ли это, что трудовое крестьянство обречено на разложение, а вместе с тем и на безысходную нищету, на кабалу у помещиков и проч.? Иные, писал Энгельгардт, полагают, "что делать что-нибудь сообща противно духу крестьянства. Я с этим совершенно не согласен. Действительно, делать что-нибудь сообща, огульно, 'как говорят крестьяне, делать так, что работу каждого нельзя учесть в отдельности, противно крестьянам... Но для работ на артельном начале, где работа делится и каждый получает вознаграждение за свою работу, крестьяне соединяются чрезвычайно легко и охотно. Кто из вас сумеет так хорошо соединиться, чтобы дать отпор нанимателю... кто сумеет так хорошо соединиться, чтобы устроить стол, общую квартиру?"

Не принудительное равенство, а свободная, разумная кооперация - вот, что должно лечь в основу новых крестьянских сообществ. Энгельгардт буквально с упоением описывал одно из таких уже существующих и, отчасти, воплотивших в себе его идеалы, сообществ - граборскую* артель: "Каюсь, что ужасно люблю наших граборов или, лучше сказать, граборские артели. В них есть что-то особенное: благородное, честное, разумное, и это что-то есть общее, присущее им, только как артельным граборам. Человек может быть мошенник, пьяница, злодей, кулак, подлец, как человек сам по себе, но как артельный грабор он честен, трезв, добросовестен, когда находится в артели", иначе нельзя - организация того требует; организация, которая позволяет всем работать "сообща, по силе и способности" и жить куда лучше, чем большинство окружающих крестьян. Но между тем, отмечал Энгельгардт, хотя граборские деревни и отличаются сравнительным благосостоянием, а все же и там "рядом с богачами есть множество голых бедняков, бросивших землю, нанимающихся в батраки... Причина этого в том, что и грабори, которые так устраивают свои рабочие артели, в хозяйственных своих делах действуют разьединенно, не могут, не пытаются, не думают даже об устройстве хозяйственных артелей для ведения хозяйства сообща".

Вот здесь и надо помочь: не заставить, не навязать, а именно помочь - разбудить то чувство общности, коллективизма, которое дремлет в глубине любой здоровой крестьянской натуры, дать ему выбраться на свет божий из-под обломков крепостной старины, придать новые прогрессивные формы, - в этом Энгельгардт видел главную задачу, которую поставил перед "умственными людьми", то есть интеллигенцией.

Что научить всему этому возможно, он нисколько не сомневался. Сам автор "Писем" был чужд какой бы то ни было идеализации крестьянства. Он приводил массу материала, причем поданного, как правило, очень и очень выпукло, о невежестве и косности крестьян, о массе предрассудков, разъедающих все стороны их и без того нелегкой жизни. И все же, поскольку речь заходит о мужицком хозяйстве, автор "Писем" решительно заявлял: "Мужик отлично понимает счет, отлично понимает все хозяйственные расчеты, он - вовсе не простофиля". Да дураку в русской деревни и не выжить - он

неизбежно вымрет в результате естественного отбора... "Каждый, - писал Энгельгардт, - сталкиваясь с серым народом, выносит впечатление о его несомненной сметливости и сообразительности".

Мужик сер, да не черт его ум съел! Если же крестьяне и относятся недоверчиво к хозяйственным экспериментам пореформенных помещиков, то недоверие их вполне оправдано: в подавляющем большинстве случаев эксперименты эти немногочисленны. В то же время Энгельгардт на своем собственном опыте убедился, что, "относясь недоверчиво к нововведениям, крестьяне, однако, внимательно следят за тем, что делается у помещика, и, если дело действительно идет, установилось прочно, то крестьяне очень хорошо оценивают выгодность того или другого нововведения и применяются, если это возможно по условиям их хозяйства" (разр. моя - А. Л.). И тут они куда отзывчивее и понятливее "благородного сословия". "Все мои нововведения, - писал Энгельгардт, - не имели значения для помещичьего хозяйства, никто из помещиков ничего у меня не перенял". Зато крестьяне окрестных деревень переняли, по его словам, немало: "Мужики... приходят уже иногда просить для подъема земли под лен, железные бороны завелись у многих крестьян; во всей округе развели высокорослый лен от моих семян; рожь стали очищать и начинают понимать, что, когда посеешь костер, так костер и народится; телят заводских, которые рождаются в то время, когда телятся коровы у крестьян, покупают у меня нарасхват, - своих режут, а моих выпаивают на племя. Об клевере и говорить нечего..." Вот для кого Энгельгардт готов был работать не покладая рук, вот кому готов он был передать все лучшее, что отличало его "образцовое хозяйство", - если бы не вышеупомянутые "условия хозяйства" крестьянского, разбитого на нивки и полоски, разьединенного и потому обреченного на косность и нищету...

Но если можно научить крестьян сеять лен, если можно добиться того, чтобы они обрабатывали землю железным плугом, то почему же нельзя увлечь их новыми формами организации труда, которые, к тому же, так близки и понятны их натуре? Конечно, и здесь необходимо действовать не отвлеченными рассуждениями о преимуществах коллективизма, а живым примером. Сам Энгельгардт - помещик, владелец нескольких сотен десятин, т. е. человек в социальном и в хозяйственном отношении от крестьян бесконечно далекий - был здесь совершенно бессилен. Максимум чего он мог добиться - и к восторгу своему, добился-таки - это уважительного отношения к себе, как к человеку, понимающему хозяйство. Но Энгельгардт был уверен, что в России есть сила, способная помочь мужику в переустройстве его жизни. К ней, к этой силе и обращался он в своих "Письмах" с призывом: "Интеллигентный человек нужен земле, нужен мужику. Он нужен потому, что нужен свет для того, чтобы разогнать тьму. Великое дело предстоит интеллигентным людям. Земля ждет их, и место найдется для всех".

Сколько можно киснуть в канцеляриях и тратить на никому не нужную писанину, на "казенную службу" ту умственную энергию, которой так не хватает мужицкой России? Энгельгардт с удовлетворением пишет о том, что все больше и больше становится интеллигентных людей, которые, "окончив ученые, не хотят удовлетворяться обычною деятельностью - не хотят идти в чиновники. Люди, прошедшие в университет, бегут в Америку и нанимаются простыми рабочими у американских плантаторов. Почему же думать, что не найдется людей, которые, научившись работать по-мужицки, станут соединяться в общины, брать в аренду имения и обрабатывать их собственными руками при содействии того, что дает знание и казна".

Вот она - заветная, вожденная мечта Энгельгардта! Если удастся соединить знания, накопленные интеллигенцией, с мужицкой силой, сметкой и навыками, если удастся слить все это воедино в новую хозяйственную форму, - будущее России будет обеспечено. Тогда земля медленно, но верно перейдет в руки земледельцев, и крестьянство заживет, наконец, по-человечески, тогда появятся на русских полях "и травосеяние, и косилки, и жатвенные машины, и симментальский скот"... Тогда и труды "батищевского пана" не пропадут даром - он со спокойной душой передаст все, что имеет, "интеллигентной деревне, работающей на артельном начале".

Конечно же, путь к земле, к новой жизни одним шагом не измеришь: если хочешь, чтобы мужик поверил в тебя, принял твою науку, писал Энгельгардт, нужно доказать ему, "что ты действительно не

праздно болтающийся, а настоящий, способный работать умственный человек". А для этого прежде всего надо одолеть *его*, мужицкую науку - суровую науку земледельца. В одном из писем Энгельгардт призывал придать этому делу всероссийским характер: "...устроить поблизости от университетских городов практические рабочие школы, где желающие могли бы обучаться земледельческим работам, т. е. могли бы учиться косить, пахать, вообще работать по-мужицки". А пока суть да дело Энгельгардт готов был сам положить начало этому новому гражданскому эксперименту: он звал в Батищево всех, кто желал приобщиться к земле, к труду, к нелегкой мужицкое доле.

АКАДЕМИЯ В БАТИЩЕВЕ

Нужно отметить, что в те времена, когда Энгельгардт выступал в печати со своим призывом, физический труд пользовался у интеллигенции большим уважением; необходимость его для любого нормального человека обосновывалась теоретически. Еще в 1870-х годах Н. К. Михайловский, один из самых авторитетных публицистов для радикальной интеллигенции второй половине XIX века, выдвинул свою знаменитую "формулу прогресса": "Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно лишь то, что уменьшает разнородность общества, увеличивая тем самым разнородность его отдельных частей". Иными словами, крестьянин, занятый исключительно физическим трудом, и интеллигент, живущий только "головной работой", - это несовершенные исходные человеческого развития; интеллигентный же земледelec, совмещающий в себе высокое умственное развитие с умением выполнять самую разнообразную физическую работу - своего рода идеал, это развитие венчающий. Соответственно, необходимость приобщения интеллигенции к физическому труду приобретала в глазах народнических идеологов не меньшую важность, чем просвещение крестьянства.

Таким образом, в призывах Энгельгардта не было ничего из ряда вон выходящего, они вполне отвечали духу времени. Да, конечно же, одно дело высказывать мудрые суждения и совсем другое - указать пути для реального воплощения их в жизнь. Интеллигентной молодежи нелегко, да и не безопасно было менять свой социальный статус; стать мужиком в России - дело сложное, неведомое; одной теоретической убежденностью, одним желанием с места его не сдвинешь. В "Письмах" же из деревни, прогремевших на всю Россию, к этой молодежи обращался человек, уже показавший себя как великий практик, привыкший за каждое свое слово отвечать делом; и предлагал он нечто вполне конкретное: приезжайте, учитесь, работайте... Естественно, подобный призыв должен был получить отклик.

Батищевская "академия мужицкого труда", как совершенно серьезно и не без оснований называл ее Энгельгардт, начала действовать с середины 1870-х. Очевидно, первым ее учеником, которому на практике пришлось испытать, сколь нелегко мужицкий хлеб, был некий офицер, имевший боевые награды за поход в Среднюю Азию. Он произвел самое сильное впечатление на батищевского старосту Ивана, приглядывавшего за практикантами; впоследствии он частенько вспоминал о своем первом подопечном. Офицер отличался огромной физической силой и, когда его доставили на расчистку ядины - вырубать кусты, - то принялся за работу с таким азартом, что старосту напугал: "Я боялся, что он топором в порошок сотрет". Через день офицер сбил себе руки до кровавых мозолей и вынужден был бесславно покинуть Батищево...

Сам Энгельгардт начало "занятий" вел с 1877 года, когда в Батищеве появились сразу два "тонконогих", - прозвище, которое дали крестьяне одному из них, щеголявшему в узких брюках, и с легкой руки "ректора академии" удержавшееся за всеми практикантами; причем оба честно и вполне удовлетворительно проработали все лето. Один из них, Дубов (возможно, псевдоним), в следующем году опубликовал в "Отечественных записках" бесхитростный, но очень выразительный рассказ о

своем пребывании в Батищеве - "Лето среди сельских работ", который, несомненно, очень поспособствовал притоку туда новых "тонконогих": в 1879 году здесь работали уже 16 человек. Всего же за семь лет существования батищевской "академии" около 80 "тонконогих" попытались пройти курс ее нелегких наук.

Поначалу никакой ясности относительно положения практикантов в Батищеве, их размещения, условий жизни, назначения на работы и т. д. не было, да и быть, очевидно, не могло. Похоже, что сам "батищевский пан" далеко не сразу уверовал в серьезность намерений тех, кто откликнулся на его призыв. Так, например, во время первой встречи с Дубовым, после долгого разговора, Энгельгардт сделал ему несколько неожиданное предложение: если есть желание не работать, а "только смотреть", то он, хозяин, готов водить и показывать, "давая с большим удовольствием необходимые объяснения". Уже через год подобное "баловство" невозможно было даже и в принципе: как только стало ясно, что "движение тонконогих" носит не случайный характер, Энгельгардт, со свойственным ему стремлением к порядку, выработал четкую систему своих отношений с практикантами.

В основе ее лежало стремление дать почувствовать "тонконогим", что такое мужицкая жизнь, без всяких прикрас и послаблений. С 1878 года все свои ответы на письма с просьбою предоставить возможность поработать на земле - а их приходило множество - Энгельгардт выдерживал в строгом, деловом тоне, сквозь который, правда, почти всегда прорывалась обычная для него сердечность; в конце же обычно помещал своеобразный "циркуляр", содержавший сжатое изложение "правил жизни" для "тонконогих" в Батищеве: подчиняться всем распоряжениям старосты, работать все работы, на которые поставят, "наряду с наемными рабочими и столько же часов", помещаться со всеми рабочими в избе или в сарае, харчеваться в общей застойной, на общих основаниях (перечислялись возможные харчи: щи, каша, крупник, картофель - все на свином сале в скоромные дни и на конопляном масле в постные); если никаких рабочих навыков у новичка нет, первый месяц он работает даром, затем получает по три рубля; как выучится - заработок приравнивается к батрацкому; притом "тонконогий" должен сам содержать в порядке предоставленные ему орудия труда и отвечать за их сохранность; пьянство в Батищеве решительно не допускалось.

Этой линии - сразу заявить свою принципиальную позицию, вылить, как ушат холодной воды, - Энгельгардт придерживался очень последовательно. Когда А. П. Мертваго, один из его любимых учеников, сообщил о том, какой интерес среди петербургского студенчества вызвали его рассказы о работе в Батищеве, Энгельгардт тут же потребовал, чтобы на все вопросы об условиях жизни в имении он отвечал предельно жестко: тяжело, мол, - щи серые, помещение скверное, работать заставляют от зари до зари. На полушутливый же вопрос Фаресова: "И приняли бы вы меня в мужики?" - Энгельгардт совершенно серьезно отвечал: "Да ведь я тогда буду баринком... Я миловать не буду. Без зова не посмеете войти ко мне. Я ведь стакана чаю вам не предложу, если вы поступите ко мне в работники".

Позиция Энгельгардта в этом вопросе была предельно ясной и вполне оправданной. Он не щадил "тонконогих" работников точно так же, как не щадил и себя - "образцового хозяина". Эксперимент требовал чистоты, требовал отрешиться от всяких посторонних соображений и выложиться в начале дела целиком и полностью. "Баловство работой, - писал Энгельгардт, - для меня просто невыносимо, и я никакой особенной пользы не вижу в том, что человек в каникулярное время побалуется работой". Нет уж, взялся за гуж, не говори, что не дюж, - эту пословицу "батищевский пан" частенько повторял своим "тонконогим", требуя от них полной самоотдачи. Зато он и обещал немало: "Кто поработает у меня в мужиках, - говорил, - и выдержит экзамен, тому ведь нечего бояться в жизни... На десять рублей в месяц проживет и всем будет нужен".

Энгельгардт и здесь не избежал упреков в кулачестве и "эксплуатации молодежи". В связи с этим нужно совершенно определенно сказать, что в чисто хозяйственном отношении все это "предприятие" ничего, кроме убытков, "батищевскому пану" не приносило. В письме к Мертваго он очень убедительно, с цифрами в руках доказывал, что подавляющее большинство практикантов не оправдывают даже затраты на харчи; умелых же работников в Смоленской губернии вполне хватало и без них. Нет, писал Энгельгардт, и "тонконогие" в Батищево приезжают, и на работу их там берут "во имя идеи"; и во имя

этой идеи он, хозяин, свыше головы загруженный делами, готов не только нести убытки, но и "переносить некоторые неудобства": "Вы думаете весело возиться с глупой полицией?"

А полиция, и впрямь, не обходила Батищево своим благосклонным вниманием: урядники здесь были частыми гостями, наведывался и становой... В эпоху революционного подъема каждому полицейскому чину было лестно открыть заговор, а Энгельгардт со своими "тонконогими" подавал в этом отношении, особенно поначалу, большие надежды, которые к тому же постоянно подогревались доносами окрестных помещиков, священников и прочих доброхотов. Первое же появление "тонконогих" вызвало истерическое донесение соседней барыни, которая вопияла: "Приехали и работают!!!" - подозревая в самом факте государственное преступление. Полиции "подобных безобразий", естественно, было мало, она, как писал сын Энгельгардта Николай, "ждала поступков". Поступки же были хотя с полицейской точки зрения и весьма странные, но явно не подсудные: "работали от зари до зари, и только".

Тем не менее, присмотр за Батищевым был организован самым тщательным образом. Мертвого вспоминал, что когда он в Дорогобуже зашел к исправнику отметить - как срочно-обязанный, - тот, узнав о цели его поездки, меланхолично сообщил, что "туда" уже съехалось 13 человек молодых людей. Через некоторое время Батищево посетил урядник и с должными извинениями "снял приметы" со всех "тонконогих", выяснив, что из тринадцати человек в Батищево прибыло два сероглазых блондина; остальные же - русокудрые с карими глазами; все приезжие были умеренного роста и каких-либо характерных отметин не имели... Несмотря на всю анекдотичность подобного "сыска" для человека, дважды побывавшего в тюрьме и находившегося под гласным надзором полиции, ничего веселого в этой возне, конечно, не было. И не зря Салтыков-Щедрин, очень ценивший Энгельгардта, говорил Фаресову, который, находясь на нелегальном положении, собирался ехать в Батищево: "Не запугайте старика в какую-нибудь историю... Все ведь ездят к нему, а побережь некому. Сам он бесстрашный и ничего не опасается..."

Энгельгардт всем своим поведением вполне оправдывал эту рекомендацию: постоянная угроза неприятностей - а они могли быть весьма серьезны, - новая высылка, например, в места, расположенные значительно северо-восточнее дорогобужского уезда, не заставила его ни на йоту изменить свою линию поведения. Впрочем, очевидно, прав был и Мертваго, писавший "об этой стороне жизни": "Ко всему этому привыкаешь; сначала, конечно, волнуешься, но когда это продолжается лет десять, то перестаешь обращать внимание в конце концов".

Вернемся, однако, к "тонконогим". Прибыв в Батищево, они сразу попадали в русло хорошо продуманного и тщательно разработанного "порядка труда и жизни". Новичков, которые, как правило, не имели никаких навыков в земледельческом труде, посылали "на теплые воды" - так называл Энгельгардт самые простые, требовавшие лишь элементарных физических усилий работы. Чаше всего это была подчистка кустов на облогах - та самая подчистка, которая сгубила первого "тонконового". По мере того как практикант пообвыкал, присматривался, входил в ритм трудовой жизни, ему поручались и другие, более сложные работы. Было бы желание, "тонконогий" вполне мог пройти в Батищеве весь цикл "мужичьих наук": и пахоту, и косьбу, и молотьбу; поработать и в птичнике, и на скотном дворе.

Жили практиканты, как и было обещано, в специально отведенной для них избе; спали на лавках; харчевались в общей застольной. К своим харчам, впрочем, "батищевский пан" был несправедлив: своей сытностью они славились на всю округу - таких щей, да каши у себя дома крестьянин, как правило, не имел.

Лукавил Энгельгардт и тогда, когда пугал будущих "тонконогих" своей хозяйской суровостью и неприступностью: ничего подобного и в помине не было. К своим подопечным он относился точно так же, как некогда к студентам земледельческого института: был требователен, внимательно наблюдал за работой, всегда готов был поддержать, помочь и советом, и делом, - словом, делал все возможное для того, чтобы "тонконогий" как можно скорее почувствовал себя если и не "настоящим мужиком" (что, как выяснилось, дано было немногим), то хотя бы более или менее работоспособным человеком. И так же, как в лаборатории Земледельческого института, в батищевском имении постоянно была

самая непринужденная обстановка; только шуметь и шутить здесь приходилось всего раз в неделю, по воскресеньям, когда все обитатели Батищева во главе с самим "паном" собирались на лужайке за самоваром; в будни же на шутки сил просто-напросто не хватало...

Кто только не перебивал в Батищеве за семь лет существования "академии"! Здесь работали "великороссы, малороссы, белорусы, немцы, евреи, петербуржцы, одесситы, сибиряки, кавказцы - одним словом, со всех концов России". Не мало было и барышень (около 20 человек), причем "многие работали образцов". В то же время, хотя окрестные мужики называли практикантов "студентами", столь же охотно, как и "тонконогими", это совсем не соответствовало действительности: "тут были и чиновники, и военные, бросившие службу и искавшие новых условий самостоятельной жизни, землевладельцы, искавшие новых хозяйственных идей..." Конечно, попадались среди практикантов и люди случайные, но большинством действительно "руководила идея", стремление быть полезным России и ясное сознание, что осуществить это возможно только в деревне, только став земледельцем; службу, как казенную, так и частную, "тонконогие" презирали; комфортное житье "за мужицкий счет" - ненавидели. Приехав с подобными мыслями и чувствами в Батищево, они еще больше укреплялись в них и под влиянием отлично организованных земледельческих работ, и вследствие умной, ненавязчивой "пропаганды делом", которую вел среди них Энгельгардт. Для многих из своих "работников" "батищевский пан" стал учителем, идеологом, указывающим единственно верный жизненный путь.

Даже немногочисленные воспоминания и не очень обильная переписка дают нам возможность понять, как щедро батищевская "академия" вознаграждала своих выпускников за их старания. Прежде всего многие из них добивались того, зачем ехали. По словам самого Энгельгардта, успех в этом отношении превзошел все ожидания: "Очень немного было случаев, чтобы поступившие работали плохо, такие скоро уезжали. Достаточно было таких, которые работали превосходно, как заправские рабочие, всякие работы. Остальные работали хотя и удовлетворительно, но по слабосилию, непривычке, всякие работы исполнять не могли". По таблице, составленной сыном Энгельгардта, из 79 "тонконогих" 14 работали плохо, 51 удовлетворительно, 14 же лучших получили от Энгельгардта замечательные в своем роде дипломы, свидетельствовавшие, что такой-то, с такого-то по такое-то число "служил работником в селе Батищеве, ценою за 45 рублей в год, на моих, Энгельгардта харчах и исполнял все полевые, домашние и на скотном дворе работы вполне хорошо, добросовестно, усердно. Сим свидетельствую, что имярек, обладая большой силой, смелостью, ловкостью, выносливостью, работая в течение года наравне с батраками из крестьян, вполне хорошо заучил все сельские работы. Он умеет разделять землю, корчевать пни, расчищать ляда и облоги, пахать плугом, косой, скородить, косить, убирать сено и хлеб, молотить, резать и отделять скот, - словом, может исполнять все сельские работы и собственными руками, без помощи мужика, добывать свой хлеб. Дано в Батищеве такого-то числа с приложением герба моего печати.

Подписано: А. Энгельгардт, доктор химии".

Но и те, кто прошел суровый искус батищевского ученья без столь блестящих результатов, приезжали к Энгельгардту недаром: они воспринимали от него знание реальной деревенской жизни и уважение к мужику - кормильцу всей России, причем уважение отнюдь не платоническое, в отличие от многих современников, черпавших свои мысли и эмоции из беллетристики и журнальных статей. Мировоззрение "тонконогих" вырабатывалось за мужицкой сохой; оно дорогого стоило... Вот как описывал Дубов свой первый опыт на пашне: "Лошади виляли во все стороны; когда нужно, насилу остановишь, понукаешь - не трогаются; без кнута не ходят хорошо, а кнут путается в ногах, когда без того ходить неловко, махнешь кнутом - плуг выпустишь. Только что наладишь, поедешь шаг - опять что-нибудь случится: волоки плуг назад, а он все-таки 2-3 пуда весом. На двух оборотах устал страшно и потерял терпенье: такого испытания не ожидал. К тому же примешивалось сознание, что только портишь пашню и кому-нибудь придется перепашивать. Взбешен и сконфужен был страшно". Попробуй-ка после этого мужика не зауважать!

Главное же, что полученные навыки и общее настроение, царившее в Батищеве, подталкивали "тонконогих" вперед по избранному ими пути. Тот же Дубов, например, недаром заканчивал свой

очерк размышлениями о собственном будущем: может, суждено ему стать чиновником или купцом, и все, увиденное и испытанное в батищевской “академии” так и останется эпизодом, пусть ярким, но не имеющим продолжения?.. Не верится. “Раз пожив в той среде, раз изведав те вещи, которые раньше были для меня совершенно закрыты, раз поняв их значение, не уживешься ни в какой должности. Потянет тебя в эту серую, неприглядную, но все-таки милую деревню, с ее молчаливыми обитателями, с их мелкими интересами...”

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

Именно на такой эффект своего “курса общения” и рассчитывал ректор батищевской “академии”. Освоение “тонконогими” мужицкого труда было в его глазах не самоцелью, а лишь первым шагом к созданию новых организационно-хозяйственных форм - “интеллигентных союзных деревень”. Конечно, обязать всех “тонконогих” действовать в этом направлении Энгельгардт не мог, но мыслей своих он не скрывал и кое-кого ими заразил. Всего батищевскими “тонконогими” были совершены три попытки создать подобные поселения, и каждая из них в своем роде интересна и характерна.

Первые две попытки связаны с именем одного из лучших выпускников “академии” - диплом, процитированный выше, выписан как раз на его имя. Звали его Зот. С Энгельгардтом он сошелся очень близко, систему взглядов его усвоил полностью и при первой же возможности попытался воплотить ее в жизнь. Отказавшись от нескольких выгодных предложений - его пригласили управляющим в помещичье имение, причем сулили хорошее жалованье, - Зот нашел кредит на полторы тысячи рублей с тем, чтобы купить на эти деньги и наладить артельное хозяйство. Сам он был родом из Вятки, однако за землей двинулся в Уфимскую губернию - туда, где она на диво плодородна и относительно дешева. Энгельгардт, с которым Зот поддерживал самую интенсивную переписку, одобрял его намерения и давал хорошо продуманные советы: он рекомендовал, в частности, покупать земли для начала как можно меньше, оставив на руках свободный капитал, необходимый для того, “чтобы эту землю поднять”. После долгих попыток Зот приобрел по недорогой цене - за 330 рублей - 20 десятин хорошей земли с домишком и хозяйственными постройками, в удобном месте - в полутора десятках верст от Уфы. Теперь со спокойной душой можно было приниматься за дело.

Надо сказать, что хотя среди вятской молодежи рассказы Зота о Батищеве и “батищевском пане” вызвали большой интерес, желающих принять участие в его “артельном предприятии” почти не нашлось. За ним под Уфу отправилось только одно большое семейство: четыре брата, старшему из которых, Семену, приятелю Зота, было за двадцать, а младшему всего восемь лет, две сестры и старуха мать. Весной 1878 года “интеллигентный поселок” “Красная горка” начал свое существование. Год прошел в хозяйственных хлопотах и дал неплохие результаты: хотя просо сильно побили мыши, а гречиху - мороз, но все прочее - полба, горох, картофель, репа - уродилось на славу. Главное же, плодородная башкирская земля дала “баснословный урожай ржи”. Была получена, хоть и небольшая, прибыль; на руках еще оставались значительные средства, и Зот мечтал уже о расширении хозяйства, о прикупке земли.

И тут, казалось бы без всяких видимых причин, в “Красной горке” началась жуткая и совершенно безысходная склока... Оказалось, что Зот ошибся в своих компаньонах, которым он в переписке с Энгельгардтом давал поначалу самые лестные характеристики (“Семен - человек хороший, честный, гуманный, Елпидифор - атлет по сложению, задорный работник” и т. д.); оказалось, что все эти люди в “артельные мужики” совершенно не годятся. Пока полным ходом шли земледельческие работы, Зоту - трудяге и мастеру в своем деле - волей-неволей приходилось играть роль большака, т. е. главы большой крестьянской семьи. Однако семейство Семена мирилось с таким положением лишь по необходимости; обида же на Зота - за его авторитет, за его земледельческие навыки - копилась беспрестанно; самолюбие, и без того, очевидно, большое, растревалось непомерно. Прежде всего это касалось Семена, который буквально возненавидел своего ничего не подозревавшего товарища.

Когда же настала зима, время вынужденного безделья, все эти темные чувства были выплеснуты на несчастного "тонконового", как помои из ушата.

На следующий год положение стало еще хуже; оно усугублялось тем, что Зот, мечтавший об "артельном рае", в котором все - братья, оформил покупку земли на имя главы злокозненного семейства - Семена, чем тот не преминул воспользоваться: устроителя "интеллигентного поселка" просто-напросто выгнали из него; Зоту пришлось уйти в Уфу и работать там развозчиком пива... Правда, очень скоро Семен опаматовался и, сообразив, что без единственного дельного работника хозяйство развалится, пошел с изгнанником на мировую; но духовные силы Зота всей этой историей подорваны были под корень, и он думал уже не столько о том, как продолжить дело, сколько о том, как развязаться с ним.

Энгельгардт, трогательно радовавшийся первым успехам "Красной горки", был, конечно же, сильно уязвлен ее неожиданным крахом. Однако ситуацию он сумел оценить очень быстро и, очевидно, вполне справедливо. "Что случилось, то должно было случиться рано или поздно, - писал он в утешение Зоту. - Чего же ожидать, если у людей индифферентизм к хозяйству, небрежное отношение, неохота работать". Сам Зот в одном из своих писем косвенно подтвердил правоту Энгельгардта, описав эпизод, хорошо поясняющий суть конфликта: один из братьев Семена - Алексей - взялся весной подработать - "возить лед с реки в городские подвалы, - не полюбили: поработал дней пять и уехал домой - "артель", говорит, невзлюбила меня: на перед едешь - не ладно, позади едешь - не ладно, сваливаешь - не ладно. Мужики учили его артельной работе, потому "мы, говорят, два-три куска в сани бросим, а он над одним думает". Мужики, как видим, оказались куда мудрей Зота, сразу же распознав "неартельного человека": ведь никакая физическая сила не могла заменить умения и, главное, желания работать сообща, подчинять свои интересы общим.

Пытаясь помочь делу, Энгельгардт весной 1880 года направил в "Красную горку" лучшего из бывших у него под рукой "тонконогих" - некоего Виктора, "с миссией вернуть Зота на старый, прямой путь, соединиться с ним и основать новый интеллигентный поселок". Виктор, добравшись до места назначения, в первом же письме дал яркую и жуткую картину "интеллигентного поселка", в котором продали и распоттали "артельную идею": "...Подхожу к дому через невозможные овраги: маленький, невзрачный домик один-одинешенек, как рекрут на часах, к нему ни кола, ни двора; вместо забора - еле заметная загородка ... Ветер насквозь свищет, на дворе непролазная грязь. По двору разбросаны там и сям хозяйственные орудия на жертву непогоде... Низкая, грязная, настоящая деревенская изба... Всё черно и грязно, нечесано, неумыто, грубо. Все это хуже мало-мальски зажиточного крестьянина... В лицах и обстановке нет и намека на интеллигентность, на всех лицах лежит какая-то черта апатии к окружающему и к друг другу, отношения грубые, безучастные... Все это произвело на меня такое подавляющее впечатление, какого, честное слово, я еще никогда не испытывал". Крестьяне в таких случаях говорят: "Земля осилила"...

Зота Виктор нашел в Уфе, куда тот удрал при первой возможности. "Понимали мы друг друга сразу. Все забытое или подавленное его некрасивую жизнь я возобновил, дополнил и разъяснил... В ту же ночь мы с ним спелись: бросить его хозяйство и направиться в Стерлитамак". С "Красной горкой" было покончено. В истории поселений "тонконогих" была перевернута первая печальная страница. Следующая, впрочем, оказалась не радостней.

История поселка под Стерлитамаком чрезвычайно коротка и малосодержательна. "Тонконогим" еще раз пришлось убедиться в том, что одно дело - овладеть мужицким трудом, научиться добросовестно пахать, косить и пр., и совсем другое - самим подымать хозяйство, к тому же подводя под него совершенно новые организационные формы. На этот раз дело не пошло с самого начала: место было выбрано неудачно и первые же трудности совершенно сломили поселенцев. Зот, очевидно, надорвался еще в "Красной горке", а Виктор "плакал от неудач", скрывался от них в Уфу, "в цивилизованное общество", и досаждал Энгельгардту столь фантастическими планами на будущее, что у не терпевшего никакого "баловства" "батищевского пана" просто руки опускались. Он отвечал своему ученику горькими и разочарованными строками: "Я вас просто не узнаю, читаю и перечитываю ваши уфимские

письма и не узнаю того Виктора, который писал мне: "Буду питаться чем попало, акридами, буду валить дерево за деревом, корчевать пень за пнем... добыюсь своего или паду на месте". Просто не узнаю. Это не тот Виктор, которого я привык считать человеком дела, а какой-то мечтатель! Сидит в обществе благодушствующих барынек и уносится с ними в мир фантазий, строит испанские замки! Люди дело делают, косят, жнут, а он игрушками детскими занимается! Что же это такое? Предположение о покупке большого в 1000 десятин участка земли ценою тысяч в 20 на занятие у какого-нибудь благодетеля (да во имя чего же тут дать денег?), деньги для поселения каких-то еще не существующих тонконогих - разве это не фантазия, не мечта?"

По письмам Энгельгардта ясно видно, какие большие надежды возлагал он на тех, кто первыми попытались воплотить его мечту в жизнь, и как тяжело переживал их неудачи: "На вас и Виктора, - писал он Зоту, - обращены все глаза. Все ждут, как вы устроитесь на земле, как осуществите батищевские идеалы... Виктор пишет, что занятия ваши неопределенны, ждет весны и отрадного в будущем. Почему же не отрадно настоящее? Когда-то вы не так писали о вашем хозяйстве из-под Уфы! Я помню и вашу телочку и вашего ленивого коня, и вашу радость, когда показались всходы, и вашу уборку сена, и вас - счастливого, продающего рожь... Как я тогда радовался, читая ваши письма, - думая, вот оно, настоящее-то... вот кому счастливо живется на Руси. Теперь не то: все неясно, смутно, неопределенно, вяло, безжизненно, - ваши письма не те, точно вы разочаровались".

Всегда предпочитавший горькую правду сладкой лжи, хозяин Батищева ясно видел: дело разваливается и его не спасти. И все-таки Энгельгардт до последнего пытался поддержать незадачливых учеников: очень деликатно он предлагал "тонконогим" последнее средство - перебраться в Батищево под присмотр и опеку своего наставника. "У меня земли много. Под Дедовым отлично было бы устроить хуторок - Новое Батищево. Вычистить, выкорчевать под Дедовым - что бы за хозяйство было, хлеба-то какие буйные пошли, клевера... Жить бы могли сначала в Батищеве, пока не разделается исподволь земля, работали бы да работали, прикопили бы деньжонок и устроились. По-моему, все это можно, не знаю, как по-вашему. Главное дело, что тут в Батищеве можно было бы устраиваться исподволь, не спеша, да и товарищи скорее бы нашлись. А я бы организационный план хозяйства составил - и вышло бы дело".

Однако уфимцы от этого заманчивого предложения отказались - очевидно, из самолюбия. Затем неожиданно умер Виктор, хозяйство распалось окончательно, а Зот навсегда исчез с батищевского горизонта...

Пришло время последней попытки, которую "тонконогие", как и хотелось Энгельгардту, предприняли в непосредственной близости от его хозяйства. Еще в 1882 году несколько недавних практикантов заарендовали земли небольшого поместья Буково, граничившего с Батищевым. Поднимать хозяйство на этих совершенно запущенных, пустошных землях они начали небольшими силами. Так называемые "капитаны" - отставные военные, один из которых был "просто капитан", а другой - "дикий капитан", прозванный так "за мрачность характера, но в сущности человек добрейший" - участвовали в этом деле прежде всего деньгами, зимой, как правило, жили в Петербурге, т. е. интересы буковского поселка не поглощали их полностью. Главным же "заводилой" и основным работником в Букове был "тонконогий" Иван. Впрочем, по первому году все члены поселка трудились не за страх, а за совесть. Отношения между ними толком определены еще не были, но это, поначалу как будто никого не смущало - и менее всех Энгельгардта, заботливо опекавшего новое детище "тонконогих". "Община, деревня или артель, - отвечал он Мертваго, заинтересовавшимся этими отношениями, - дело не в клитке; дело в том, что *работают* и работают великолепно. Нужно дело делать, а не над "вопросами" мучиться..."

И впрямь, поначалу дело пошло совсем неплохо; не последнюю роль в этом сыграла та постоянная забота и поддержка, которую оказывал буковцам сам Энгельгардт - и разработкой организационного плана хозяйства, и конкретным советом, и, в случае необходимости, деньгами. К весне 1883 года в Букове жило уже 12 человек, мужчин и женщин, а хозяйственные результаты этого года были просто блестящими: превосходный урожай ржи, великорослый лен, сена в достатке... Энгельгардт уже и сам

подумывал развязаться с “кулацким хозяйством” в Батищеве и вступить в “буковскую общину” полноправным членом.

Но дальше дела в Букове пошли тем порядком, который, похоже, становился неизбежным для всех предприятий “тонконогих”: началась склока, бесконечные конфликты, споры и раздоры между большинством и “семейством”, ведущим и ведомыми. Только на сей раз зачинателем и главным героем склоки стал сам большак - Иван, который заставил-таки буковцев “мучиться над вопросами”: “Кто главный?.. Он, Иван, - основной работник и организатор, или “капиталисты-капитаны”?..” Лицевая сторона конфликта имела, впрочем, идейный характер: Иван стоял за общинный принцип организации поселка, - чтобы каждый жил трудами рук своих (имелся в виду, естественно, труд только физический); “капитаны” же - за артель, что давало им возможность искупать свои физические немощи деньгами, нанимая за себя рабочих. В то же время новые члены поселка жаловались, что “общинник” Иван всю организацию дела держит в своих руках, распоряжаясь совершенно единолично: “Отчетности и вообще письменности никакой. Деньги все у Ивана, который продает, покупает, меняет, и никто не знает, что есть. Хозяйством распоряжается Иван, и никто ничего не знает, что и как”. Ну и, конечно, “при таком положении дел, - писал Энгельгардт устранившемуся от дел “капитану”, - дружбы, даже простой приязни и доверия между членами нет. Нет даже равного распределения работ... В Букове происходит полное разложение, как в нравственном, так и в материальном отношениях, и я не вижу светлого луча”. Естественно, вставал вопрос: “Зачем нужно такое поселение? Кого и чему оно может научить своим примером?” Идея погибала на глазах... К весне 1884 все члены поселка разбежались, остался только “победитель” Иван, “как Марий на развалинах Карфагена”. “В сентябре 1884 года, - вспоминал Энгельгардт-младший, - приехал “капитан” и, приняв хозяйство у Ивана, завел батраков и повел его обычным путем. Иван тоже устал и разочаровался. Он ушел, и пучины русского моря поглотили его... Общины не стало”.

Устал, наконец, и “батищевский пан”... Трагическая “уфимская история”, развал буковского поселка, который произошел, несмотря на все усилия Энгельгардта спасти его, - все это должно было убедить богатыря, не знавшего доселе поражений, что есть подвиги, которые и ему не под силу. Если хозяин Батищева и не разочаровался до конца в своей мечте, то волей-неволей ему пришлось убедиться в том, сколь труден путь, вступить на который он призывал своими “Письмами”... Привыкнув ставить перед собой реальные, достижимые цели, Энгельгардт охладил к своему грандиозному социально-хозяйственному эксперименту, который все более и более начинал походить на утопию. С 1883 года он перестает принимать в Батищеве “тонконогих”... Характерно последнее увлечение Энгельгардта: в конце жизни он с головой ушел в разработку вопроса об искусственных удобрениях, по-прежнему стремясь хоть как-нибудь - не мытьем, так катаньем - ослабить узел, душивший русскую деревню.

Умер Энгельгардт в январе 1893 года и был похоронен в фамильном склепе неподалеку от родового имения Климово - все в той же Смоленской губернии. В последний путь его провожали лишь родные и близкие, - Россия к этому времени Энгельгардта уже почти забыла.

...А. И. Фаресов рассказывал о своей беседе с “сельским попиком”, который, воздав владельцу Батищева обычную хвалу - “Голова! Одно слово: голова!”, затем прибавил: “Одно в нем плохо: реку языком вылакать хочет...” Чем не эпитафия этому удивительному человеку, все свои знания и силы отдавшему поискам спасения мужика, деревни, России?

ЭПИЛОГ. “КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ” И “ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ”

Итак, история рассказана: герой наш сошел со сцены, дело же его, грандиозное “батищевское дело”, умерло, как мы видели, еще раньше. Нам остается лишь немного порассуждать и постараться ответить на неизбежные вопросы.

Был ли какой-нибудь исторический смысл в деятельности Энгельгардта? - вот, очевидно, главный из них. Отметим прежде всего, что хозяин Батищева оказался совершенно прав в своих мрачных

характеристиках современного ему сельского хозяйства России и в еще более мрачной оценке перспектив его развития. Ближайшие несколько десятилетий ясно показали, что тот путь, на который русская деревня была выведена в 1861 году, неотвратимо вел к оскудению помещиков, разорению и вырождению крестьянства, к тоске, мукам, голоду, дикому озлоблению, - одним словом, к кризису и революции. Поскольку Энгельгардт, одним из первых в России осознавший весь ужас положения, не желал ни того ни другого, его поиски иных путей были, очевидно, вполне оправданы.

Конечно же, необходимо воздать должное этому человеку - что мы и попытались сделать, - который с такой энергией и настойчивостью, презрев свой покой и комфорт и благосостояние, трудился на общее благо. Еще раз подчеркнем: именно на общее - мы видели, с какой легкостью Энгельгардт готов был отречься от "кулацкого хозяйства", в которое вложил столько сил; как мало волновало его собственное благополучие, равно как и благополучие тех немногих "образцовых хозяев" из помещичьей среды, которые могли воспринять его опыт. "Батищевский пан" был демократом до мозга костей, он всегда стремился к тому, чтобы его деятельность была максимально полезна России в целом, т. е. ее народу.

Впрочем, чистота помыслов Энгельгардта, как и его блестящие способности и редкое упорство в достижении цели, едва ли могут вызвать сомнения. Но вот, обратившись к оценке результатов его деятельности, не окажемся ли мы в печальной необходимости повторить слова вышеупомянутого попика?....

Прежде всего отметим, что Энгельгардт, так глубоко осознавший проблемы пореформенной деревни, так хорошо уяснивший суть русского помещика и русского крестьянина, очевидно, не совсем отчетливо представлял себе тех, к кому он обращался со своими вдохновенными призывами. Созная самого себя российским интеллигентом, он, как нам кажется, склонен был переносить многие характерные черты своей личности на всех "умственных людей". А между тем Энгельгардт во многих отношениях был здесь скорее исключением, нежели правилом: его упорство и энергия, здоровый реализм и умение находить в окружающей действительности точку опоры для воплощения в жизнь своих идеалов - все эти качества отнюдь не входили в число добродетелей "образованного меньшинства". Слишком долго русской интеллигенции, не обделенной ни умом, ни душой, ни знаниями, пришлось существовать вне органической связи со своим народом, слишком долго пришлось ей вариться в собственном соку, питая свой ум отвлеченными теориями, мечтами, фантазиями...

Впрочем, нам едва ли имеет смысл вдаваться в пространные рассуждения общего характера в этом очерке, посвященном вполне конкретной теме. Сошлемся лишь на суждение знаменитого современника Энгельгардта, одного из столпов революционного народничества П. Л. Лаврова, который в своих "Исторических письмах" предельно ясно выразил русскую точку зрения на роль и значение интеллигенции - во всяком случае лучшей, передовой ее части: Лавров характеризовал ее как тонкий слой "критически мыслящих личностей" над неподвижной инертной массой, личностей, способных понять все несовершенство окружающего мира, взломать и разрушить устои, на которых оно покоится, и привести человечество в царство справедливости. "Исторические письма" интеллигенты-радикалы недаром зачитывали до дыр - это была их книга; и в последние десятилетия существования России они сделали все возможное и невозможное, чтобы оправдать эту лестную характеристику: шли в народ, пытались поднять его на немедленную социалистическую революцию, скрывались в подполье, где готовили теракты против наиболее опасных защитников устоев, строили баррикады, организовывали забастовки и т. д.; те же, кому революционные подвиги были не под силу, фрондировали, пытались всеми доступными мирному обывателю способами выразить свое неприятие существующего порядка вещей. И, конечно же, эта деятельность основывалась на чрезвычайно развитой способности к критическому суждению, рефлексии, саморефлексии и т. д., - все эти черты действительно были определяющими для психологического склада русского интеллигента.

...В начале 1880-х годов другой не менее известный современник нашего героя Г. И. Успенский в своих очерках может быть впервые приоткрыл завесу "огромной тайны" русского крестьянства, позволяющей ему выдерживать все неисчислимые тяготы своего бытия, сохраняя при этом множество

прекрасных черт ума и духа: "Народ, - писал Успенский, - который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, - до тех пор сохраняет свой мощный и кроткий тип, покуда над ним царит "власть земли", покуда в самом корне его существования лежит невозможность послушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование". Очень последовательно и убедительно Успенский все стороны крестьянской жизни определял этой властью: "... у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы не принадлежали земле. Он весь в кабале у этой травки зелененькой..." - весь быт мужика, его семейные отношения, организация им земледельческих работ - все предопределено заранее, все подчинено этой власти. И бремя это легко... Земля забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато он и не отвечает ни за что, ни за один свой шаг..." Дождь на дворе - должен сидеть дома, ведро - должен идти косить, жать и т. д. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет, только слушаясь, и это ежеминутное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует жизнь, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработано, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе".

По словам Успенского, смысл в мужицкой жизни отыскать не сложнее, чем в природе: "Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки?... - Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том, что он просто растет, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд" - в нем самом и беда, и радость, и наслаждение, и награда. Этим трудом определялась и вся крестьянская психология: мужик упорен, осторожен, консервативен - ему иначе нельзя, таким его вырастила земля, к велениям которой он привык чутко прислушиваться и выполнять их беспрекословно. А вот каково было идти под эту суровую власть "критически мыслящей личности"...

Сам по себе физический труд "умственных людей" испугать не мог, скорее наоборот: революционный отказ от своего социального статуса, резкая перемена условий жизни - все это было в их духе. Но еще в Батищеве некоторых, наиболее чутких "тонконогих", поражало то, насколько чуждой им оказалась обыденная работа земледельца. И дело здесь было отнюдь не в ее сложности; напротив, те, кому позволяли силы, усваивали необходимые навыки достаточно быстро. Но вот Мертвого вспоминал о своих безуспешных попытках получить удовольствие от косыби, пахоты и т. д., то удовольствие, которое нетрудно было прочесть на лице любого батрака. Ничего у него не выходило, и "тонконогий" хорошо понимал почему: он никак не мог отдаться этой монотонной, ритмичной работе целиком - все продолжал анализировать, рефлексировать, и было ему томительно и скучно.

Те же мучения продолжались и в застольной. Мертвого писал, что после трапезы легче легкого было отличить батрацкий стол от "интеллигентского": на первом идеальная чистота, ни крошки не упало, ни капли не капнуло; на втором насорено, накрошено, недоедено... Мужики чинно, плотно и с запасом потребляли жирные щи да кашу; именно такая пища нужна была им для работы, прочее их не интересовало. "Тонконогие" же налегали на молоко и хлеб с сыром: пища у Энгельгардта была сытной, доброкачественной, но не радовала вкусовыми ощущениями... "Кишка у нас другая", - писал Мертвого. Тонка была кишка...

Таким образом, психологическая несовместимость интеллигента с крестьянской жизнью сказывалась даже тогда, когда он просто работал, выполнял определенные указания, - т. е. жил за чужой спиной. Чем кончалась самостоятельная жизнь "тонконогих" на земле, мы видели. Уйти с головой в бессознательное, с его точки зрения, мужицкое существование, подчиниться суровой и чуждой ему власти земли "критически мыслящая личность" оказалась не в силах. Не удивительно, что в 1880-х годах "союзные деревни", по Энгельгардту, были вытеснены толстовскими общинами, в которых крестьянский труд стал чем-то вроде доведка к бесконечным спорам, самовоспитанию и самоистязаниям.

Итак, мужицкой жизни интеллигенты "не сдюжили". Но ведь не из одних удач и побед складывается история и жизнь. Призывы Энгельгардта хороши были тем, что их легко было проверить на практике; и, конечно же, честь и хвала тем, кто взял на себя это неблагодарное дело, пошел в народ

не с белыми руками, а натрудив их мужицкой работой, не с призывом к немедленному бунту, а со стремлением - пусть и наивным - помочь мужику обустроить получше его нелегкую жизнь.

И пусть результаты получились нерадостные - ведь должен же был кто-нибудь из "умственных людей" в конце концов на своем собственном хребте испытать, что такое крестьянское бытие, на своем опыте прочувствовать, как далеко разошлись в России народ и интеллигенция... Ведь и в науке неудачный эксперимент и эксперимент ненужный - понятия разные: неудача может породить поиск, открыть новые пути. Так и "батищевское дело" своим исходом заставляло по-новому взглянуть на вещи.

Приведем в пример все того же Мертваго - несомненно. самого дельного из всех учеников Энгельгардта. Поняв еще в Батищеве всю бесперспективность интеллигентских общин, этот помещик, имевший неплохое состояние, уехал во Францию, под Париж, целый год батрачил на тамошних всемирно известных огородниках, постигал их тайны, а затем, вернувшись в Батищево, поднял это дело на небывалую для Смоленской губернии высоту, добился того, что крестьяне приходили к нему - посмотреть, поучиться... Не растворяясь в крестьянстве, а стоять с ним рядом, превратив свои "интеллигентские слабости" в силу, используя их в качестве специалиста-огородника, техника, скотовода, - таков был возможный путь. На нем, пожалуй, и мужику помочь было легче, и "разумная кооперация" становилась достижимее... Но это уже сюжет для другого очерка.

В заключение нам остается лишь повторить сентенцию, ставшую в последние годы общим местом: историю свою мы знаем неважно, многое в ней забыли. И, может быть, в наибольшей степени это относится к деятельности тех, кто стремился не сломать и уничтожить существующую систему, а изменить ее к лучшему напряженным духовным поиском, каждодневной упорной, утомительной, черной работой. Такие люди на Руси никогда не переводились, но вспоминаем мы о них редко. Забыт и их опыт - суровый опыт, рождавшийся из редких свершений и массы разочарований и неудач, - хотя именно в нем мы сейчас, может быть, больше всего и нуждаемся.



ХОДЫНКА*

Апрель в 1896 году был промозглым и пасмурным. Но в начале мая погода изменилась, как по заказу: стало солнечно, ясно. К 9 мая - на этот день был назначен торжественный въезд Николая в первопрестольную столицу - в Москве установилась летняя жара.

К коронации готовились долго и тщательно. Наверное, никогда еще Москву не украшали столь пышно: почти все дома в центре города были декорированы гирляндами зелени, транспарантами, флагами - одного кумача на это пошло более миллиона аршин. На перекрестках воздвигались расписные арки. Фасады, карнизы и окна домов, контуры кремлевских стен и башен унизаны были цветными лампочками, и по ночам на москвичей, привыкших к тусклому свету редких фонарей, обрушивался ослепительный водопад электрического сияния и блеска. А днем по улицам разъезжали герольды в роскошных одеждах - под звуки фанфар они возвещали народу о предстоящих празднествах; горяча породистых скакунов, мчались гвардейские гусары и кирасиры, поражая воображение горожан золотым шитьем мундиров и сверкающими доспехами; гремела музыка военных оркестров; не утихал гул толпы...

Население Москвы в эти дни увеличилось, наверное, вдвое. Поезда, шедшие в столицу, забиты были до отказа. За сотню верст до города в них уже невозможно было втиснуться; пассажиры взбирались на крыши, висели на подножках... На улицах с раннего утра и до позднего вечера толпился народ. "Многотысячная толпа обывателей, - вспоминал современник, - веселая и галдящая, на время забывшая свои обыденные интересы, заливала улицы. Все было по-настоящему торжественно, не так, как обыкновенно... Ах, сколько в те поры было розовых надежд и упований..."

День 9 мая Москва встретила густым колокольным звоном. Тверскую, по которой царь должен был следовать к Кремлю, с раннего утра запрудил народ. Густые толпы двигались по Петербургскому шоссе к Петровскому дворцу, в котором, на подъезде к первопрестольной, остановилась царская семья со свитой.

Впрочем, порядок в этот день был наведен образцовый. Весь путь следования торжественной процессии охранялся самым тщательным образом; две шеренги войск и две - добровольной охраны, отобранной из числа "самых благонадежных обывателей", отделяли толпу от проезжей части. На Тверской были наглухо закрыты все двери, блокированы все проходные дворы.

В два часа пополудни у Петровского дворца раздался залп из пушек, и собственный его величества конвой, сверкая на солнце оружием и роскошной, золотом шитой формой, вылетел из ворот,

помчался к Кремлю. Толпа задвигалась, зашумела восторженно, а из ворот уже шли парами скороходы, арапы, камер- и гоф-фурьеры и прочая челядь - в легких туфлях, коротких панталонах и белых чулках до колен. Затем перед толпой появились великие князья, принцы - представители царствующих домов Европы, посланники, придворные чины, представители сословий - великолепное, пышное зрелище! Гремел военный оркестр, не смолкали крики "Ура!"

Еще один оглушительный залп, и царский штандарт на шпиге Петровского дворца, дрогнув, опустился. Все стихло. Запели фанфары. В воротах показался царь на белом коне...

Сопровождаемый всеобщим ликованием и восторгом, в окружении блестящей свиты, торжественно и чинно проследовал Николай в свою кремлевскую резиденцию по Петербургскому шоссе, оставив по правую руку Ходынское поле.

Через несколько дней состоялась коронация. 14 мая к 9 часам утра в Успенском соборе собрались почетные гости. Соборная площадь, заранее разделенная на секторы, была отведена "народным представителям": "лучшие люди" от крестьян, рабочих, ремесленников, окруженные полицейскими, в строгом порядке занимали свои места, пока не раздалась команда обер-полицейстера: "Довольно!" Масса народу осталась за кремлевскими стенами - толпиться, шуметь, кричать "Ура!" и любоваться экипажами избранных, подъезжавших к воротам.

Все пространство от Большого дворца, в котором расположилась царская семья, до паперти Успенского собора устлано было коврами. Торжественное шествие, начавшееся у Петровского дворца, получило здесь свое продолжение: царь, выйдя на Красное крыльцо, отдал поклон народу и под оглушительные крики "Ура!" направился к собору.

Он шел вместе с царицей под балдахин, который несли высшие чиновники империи. На паперти царя встретило духовенство, и московский митрополит Сергей обратился к нему с напутственным словом. Он напомнил, что, помимо коронования, Николаю предстоит еще воспринять "священное миропомазание" - обряд, который над ним, как над всяким православным христианином, был совершен уже при крещении; обряд, который не повторялся никогда, кроме этого исключительного случая: "Если же подлежит тебе воспринять новых впечатлений этого таинства, то сему причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Через помазание видимое да подается тебе невидимая сила свыше действующая, к возвышению твоих царских доблестей, озаряющая твою самодержавную деятельность ко благу и счастью твоих верноподанных".

В соборе царь и царица заняли места на троне против алтаря. Митрополит Санкт-Петербургский Палладий предложил царю прочесть Символ веры - Николай прочел его громким, отчетливым голосом. Затем, облачившись в порфиру и венец, взяв в руки державу и скипетр, он произнес коронационную молитву начинающуюся словами: "Боже Отцов и Господи милости, ты избрал мя еси царя и судию людям Твоим..." После этого митрополит Палладий огласил молитву от лица всего народа: "Умудри ибо и поставь проходить великое к Тебе служение, даруй ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, и Твое достояние в тишине и без печали сохранить, покажи его врагам победительна, злодеем страшна, к добрым милостива и благонадежна, согрей его сердце к признанию нищих, к приятию странних, к заступлению напутствуемых... Не отврати лица Твоего от нас и не посрами нас от чаяния нашего..."

Хор грянул: "Тебе Бога славим..."

После литургии царь, сняв венец, воспринял миропомазание. В этот миг колокольный звон и салют в 101 выстрел возвестили городу и миру, что таинство совершено. Митрополит ввел царя в алтарь, и там Николай приобщился святых тайн по царскому чину.

Для него, верующего истово и искренне, все это действие исполнено было глубокого внутреннего смысла. Напутственная речь митрополита, значительные и трогательные слова молитв, торжественность обряда - все это воспринималось им в высшей степени серьезно, доходило до глубины души, укрепляя до гранитной прочности усвоенные с детства убеждения. Оставаясь самим собой, Николаем Александровичем Романовым - сдержанным, незлобивым человеком, - он в то же время обретал иную ипостась: становился Государем всея Руси... Тяжкое бремя ответственности за будущее страны, за

блага своего народа он, получив на то Господне благословение, взваливал на свои плечи безоговорочно и должен был нести до самой смерти; сбросить с себя хотя бы часть этой тяжести, поделить ее с кем бы то ни было он мог, лишь отринув от себя Божию благодать, презрев священное таинство, а это страшный грех для православного... Но, конечно же, в эти праздничные дни, среди всеобщего восторга и ликования подобные мрачные мысли были просто неуместны.

Торжества между тем продолжались. Избранных ожидала череда изысканных празднеств, из которых самым роскошным и блестящим обещал быть бал у французского посла Монтебелло, назначенный на 18 мая. В тот же день должно было состояться грандиозное народное гуляние на Ходынском поле, - слухи о нем, зачастую совершенно невероятные, распространились далеко за московские заставы: "Горы сластей и гостинцев, бесконечные сараи с бочками пива и меда, фокусы и шутки, музыка и песни, разлитое море веселья и смеха, а главное - все, чего ни захочешь, бери и получай даром!"

С полудня 17 мая всякое движение, кроме пешеходного, по Тверской и Петербургскому шоссе прекратилось: так же, как и в день въезда царя в Москву, их захлестнул людской поток, который с каждым часом становился все гуще, все плотнее. Масса народа двигалась в одном направлении - к Ходынскому полю - за положенным ей на эти дни весельем, за царским гостинцем... Настроение у толпы было самое праздничное: смех, шутки, песни не смолкали на протяжении всего пути. С противоположной стороны к Всехсвятской роще - северной границы Ходынки - беспрерывно подъезжали крестьянские телеги: недаром по окрестным селам так упорно толковали о коровах, которых будут разыгрывать в лотерею в день гулянья...

У тех, кто добрался до Ходынки загодя, была возможность побродить по застроенному полю, полюбоваться на красивый деревянный театр, построенный ради одного праздничного представления оперы "Жизнь за царя", поглазеть на расписные карусели и помосты для выступления танцоров и песенников; постоять в восхищенье, задрать головы, у вкопанных в землю столбов, на верхушках которых были заранее укреплены призы для самых отчаянных и ловких: цветные рубахи, сапоги, гармони... С особым интересом осматривали будки, в которых до поры до времени прятали царские гостинцы. Насчитывалось этих будок, построенных в ряды или кучками сгруппированных по краю Ходынского поля, до тысячи: "Высота их была аршин четырех до крыши, а форма - пятиугольная. Острыми углами они были обращены в толпу, готовясь как бы дробить и сверлить ее. Расстояние между сходящимися углами будок снаружи аршин десять, а проход между будками аршина полтора. Все это хитрое устройство было похоже на намеренно расставленные воронки, которые должны были процедить сквозь себя полумиллионную толпу народа с одной стороны на другую".

Уставшие от ходьбы и впечатлений люди устраивались на отдых, разводили костры, доставали свертки с принесенной из дома снедью. Все это, впрочем, ненадолго: ведь толпа прибывала с каждой минутой. Людской поток на Тверской и на Петербургском шоссе не иссякал весь вечер и всю ночь, и все теснее становилось на Ходынском поле. Вновь прибывшие сгоняли "старожилов" с насиженных мест: и те, и другие устремлялись вперед, к будкам, стараясь пробиться поближе, занять место поудобнее, чтобы первыми попасть к раздаче гостинцев. Толкаясь и отпихивая друг друга, люди сбились, наконец, в массу столь плотную, что каждый был накрепко прижат к чужим бокам, грудям, спинам, стиснут, сдавлен до предела. А с шоссе сворачивали на Ходынку все новые сотни, тысячи, десятки тысяч - спешили, боялись опоздать...

Раннее, по-летнему знойное солнце осветило огромную толпу, спрессованную своей собственной бестолковой силой в жуткую, безликую, беспомощную массу. С каждой минутой положение становилось все более катастрофическим. Толпа потела, тяжело дышала, - и вот над ней стал подниматься дух человеческих испарений, "промоглый и тяжкий, как нагретые недра кладбища... Солнце пряталось в этом удушьи и прогревало его. Толпа становилась ужасной под этим спертым коллаком. Слово нища выхода из-под него, люди нетерпеливо волновались, двигались, одолеваемые удушливой испариной..." Толпа судорожно колыхалась, как тело тяжело дышащего, околевающего зверя. Многих мучило, рвало, и не было возможности отстраниться...

Ощущение собственного бессилия, все возрастающее отвращение к окружающим, нажимающим

со всех сторон, к самому себе - такому же потному, вонючему, как и все остальные, - доводило людей до дикой злобы, до истерики: мерный гул местами стал взрываться визгом и криками. Те, что послабее, впадали в забытие, теряли сознание. Это были первые жертвы Ходынки: чуть станет просторнее, сомлевший "покачнется на бок, ему наступят на ступню, потом на колени - и нет человека". Упавшему, даже случайно, уже не встать, его заживо втопчут в землю: у многих погибших здесь были разможены лица, раздавлена грудь, у беременных женщин из чрева выдавливали младенцев...

Толпа была беспощадной не от жестокости - от беспомощности: "Вот, чувствуешь, что под тобой человек, что ты стоишь на его ноге, на его груди, весь дрожишь на месте, а податься некуда... ты крепко-накрепко зажат соседями; хочешь не хочешь - шевели ногами, поспевай и ходи в этом дьявольском хороводе со всеми". Многие из тех, кто задохнулся, был задавлен, так и не смогли упасть: окружающие в ужасе пытались отстраниться от них, но не было возможности, и мертвецы продолжали стоять или двигаться вместе с толпой.

Временами казалось, что толпе удастся усмирить самое себя, укротить свою страшную безумную силу. То слышались настойчивые крики: "Православные, погибает - ради бога, не напугайте!", то хором ладно затягивали молитву, то раздавалась команда: "На землю! Садитесь на землю!" Но извне десятками тысяч напирали опоздавшие - свежие, бодрые, ничего не понимающие, - и крики глохли, молитва затихала; дьявольский хоровод продолжал свое непрерывное убийственное кружение... Лишь немногим суждено было вырваться из него: ослабевших, теряющих сознание стариков, женщин, детей пытались спасти, передавая их на руках, через головы к краю Ходынского поля.

Этот ужас продолжался несколько часов, и все же он был лишь прологом к настоящей катастрофе. Когда на исходе шестого часа утра артельщики, зажатые в своих будках и напуганные напором толпы, попытались ослабить его, бросая из окошек узелки с пресловутым гостинцем, когда над полем пронесся алчный вопль "Дают!" - вот тогда и началась настоящая "Ходынка". Дьявольское кружение сменилось единодушным, целенаправленным порывом: передние ряды с двух сторон прижало к будкам, втиснуло в воронкообразные проходы между ними, - и захрустели кости... Толпа молола себя о будки, как зерна о жернова. Спастись из этой костоломки можно было лишь чудом. Многие из тех, кто все же выбирался из давки - окровавленные, мокрые, оборванные, с диким затравленным взглядом, - падали без сил, "ложились на землю, клали под голову полученный узелок и умирали".

Тот же, кто сохранил силы, мог теперь вдоволь нагуляться: в отдалении стояли сорокаведерные бочки с пивом и медом, у которых уже вышибали днища. Благо в узелке с царским гостинцем, кроме лежалой колбасы, черствых пирогов и пряников, была еще и эмалированная кружка с гербом - на добрую память... Многие, впрочем, легко обходились без посуды - спиртное черпали горстями, картузами; к концу "праздника" на дне нескольких бочек были обнаружены утопленники - последние жертвы ходынского гулянья...

Между тем будки под напором людской массы в конце концов рухнули; гостинцы были розданы, расхватаны, втопнаны в землю, и толпа, потеряв центр притяжения, постепенно рассосалась. Теперь нужно было поспешить и прибрать поле к приезду Государа Императора, который к полудню должен был посетить гулянье. Как из-под земли явилась полиция, прибыли войсковые части, пожарные, - и началась разборка тел...

Раненых отправляли в больницы, мертвых бросали на фуры, укладывали, как дрова, в несколько рядов, накрывали рогожами и увозили на ближайшее Ваганьковское кладбище. Времени у полицейских было в обрез, врачей на Ходынку откомандировать никому не пришлось в голову, и сколько людей, потерявших сознание или находившихся в шоке, приняли смерть в этих телегах, под грудой мертвых тел, - Бог весть... На Ваганьковском кладбище покойников разложили рядами для опознания; неопознанных - а их было множество, несчастных, изуродованных, - хоронили в длинных ямах, ставя гробы друг на друга. "Внезапно скончавшиеся, имена их ты, Господи, знаешь" - вот обычная надгробная надпись этих общих могил.

К приезду царя и других посетителей тела с поля убрали: частично вывезли, частично свалили за спешно сколоченный забор. Свидетельством катастрофы были лишь клочки одежды, устилающие поле.

А в воздухе витало ощущение несчастья... Царь, по свидетельству многих, был бледен и печален, однако праздник развернулся по намеченной программе: прозвучала торжественная кантата в исполнении огромного сводного оркестра, на подмостках появились танцоры, гимнасты, песенники. Вечером состоялся бал у Монтебелло, и празднества пошли своим чередом.

По делу о ходынской катастрофе было начато следствие, которое достаточно подробно выяснило общие ее причины. Как верно заметил современник, здесь постарался прежде всего "бестолковый российский чиновник". Сей роковой персонаж, как всегда в подобных случаях, ничего толком не рассчитал: народу пришлось в десятки раз больше, чем предполагалось. А главное, во время коронации возникло гибельное раздвоение власти: ее не поделили министерство двора во главе с Воронцовым-Дашковым и московская администрация, подчинявшаяся дяде царя, великому князю Сергею Александровичу. Главную роль в этой администрации играл обер-полицмейстер Власовский. Впрочем, с парадной стороны дела, с тем, что было "перед царскими очами", они справлялись как нельзя лучше; на Ходынском же поле их внутренняя склока вырвалась наружу и привела к ужасной катастрофе.

Ведь не случайно, наверное, Власовский отрядил на гулянье демонстративно малое число полицейских - около сотни; примерно столько же было там казаков и сотни четыре пехотинцев. Поначалу они пытались что-то сделать - призывали к порядку, извлекали из давки обессилевших и потерявших сознание, - но полумиллионная толпа свела на нет все их усилия. И представители власти очень быстро стушевались, отступили, превратились в бессильных свидетелей великого бедствия, в котором, даже по явно заниженным официальным данным, "общее число лиц, получивших повреждения, достигло 2690 человек, из коих умерло 1389".

Так трагически началось царствование Николая II: вместо духовного единения власти с народом и народа с властью, которое составляло сущность торжественного действия коронации и миропомазания, - жуткая катастрофа, сотни задавленных в смертельной схватке за царский гостинец, по-чиновничьи оскорбительное наведение порядка. И за все в ответе был царь. С первых дней царствования Николаю пришлось столкнуться с озлобленной толпой, откуда при проезде царской четы по Москве постоянно раздавались возгласы: "Поезжай на похороны!", "Разыщи виноватых!". И, конечно же, ни смещение с поста Власовского, ни тысячерублевые пособия, выданные семьям погибших, не могли изгладить из народной памяти страшное "ходынское гулянье".

...На одном из невеселых послеходынских балов к бледному печальному Николаю подошел почетный гость - начальник французского генерального штаба генерал Буадеффе. Он явно хотел подбодрить молодого царя: "Несчастный случай, ничего из ряда вон выходящего, подобное постоянно случается при всенародных торжествах. Вот, например, у нас во Франции во время коронации Людовика XVI..." Буадеффе оборвал фразу на полуслове, сам испугавшись ее рокового смысла: Людовик XVI был казнен якобинцами...



ПРИМЕЧАНИЯ К III ЧАСТИ

* Опубликовано в сборнике "Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов". М., 1998.

¹ См.: Г.И. Успенский, Крестьянин и крестьянский труд. В кн.: Сочинения Глеба Успенского в двух томах, т. 2. СПб., 1889.

² В.Л. Комарович, Китежная легенда. Опыт изучения местных легенд. М.-Л., 1936.

³ В устных вариантах сказания, воспроизведенных в различных записях и публикациях в XIX веке, Китеж "ушел под воду" или скрылся под землей. Именно поэтому, боясь нарушить покой сокровенного города, местное население наложило заповедь на окрестности Светлояра: здесь не рубили деревья, не рвали цветы; лишь немногие смельчаки отважились купаться в озере. См., например: В.Г. Короленко. "В пустых местах". Собр. соч., т. 3. М., 1953, с. 45.

⁴ Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981, с. 561.

⁵ Эта интереснейшая секта до сих пор изучена весьма слабо. На наш взгляд, наиболее содержательной публикацией на эту тему все еще является статья А.И. Розова "Странники или бегуны в русском расколе". См.: "Вестник Европы", 1872, № 11, 12. См. также: А.И. Клибанов. Народная социальная утопия в России. М., 1971, сс. 201 - 225. Автор этой работы, много сделавший для исследования рационалистических сект и учений, становится совершенно невозможным, когда речь заходит об учениях мистического характера, - он беспощадно коверкает их, подменяя стремлением к спасению души пафосом социальной утопии. За это время, пока сборник готовился к печати, ситуация изменилась - вышло в свет серьезное и обстоятельное исследование А.И. Мальцева "Староверы-странники в XVIII - перв. пол. XIX в." (Новосибирск, 1996); однако интересующая нас проблема в этой книге не затрагивается.

⁶ Древняя и новая Россия, 1887, № 11, сс. 271 - 272.

⁷ З.Н. Гиппиус. Алый меч. СПб., 1906, с. 369.

⁸ М. Пришвин. У стен града невидимого. М., 1912, с. 3.

⁹ Чета Мережковских, например, узнала о Светлояре со слов некоего "молодого профессора В., отчасти знакомого с теми местами". Характерно написание Гиппиус названия сокровенного града "Китеж", т.е. явно со слуха. З.Н. Гиппиус. Указ. соч., с. 351.

¹⁰ С.Н. Дурылин. Церковь града невидимого. Сказание о граде Китеже. М., 1914, сс. 3 - 7. Сам Дурылин - один из тех деятелей "серебряного века", которые были всерьез захвачены религиозными исканиями. Пройдя через религиозно-философские собрания, будучи близок к А.М. Добролюбову, он, в конце концов, в 1920 году принял священнической сан.

¹¹ Характерно, что так же, как и Гиппиус. Указ. соч., с. 351.

¹² "Москвитянин", 1843, № 12, с. 511.

¹³ Несколько страниц, посвященных "светлоярскому действу" в знаменитом романе П.И. Мельникова-Печерского "В лесах" требуют, очевидно, особой оценки; во всяком случае, в канву нашей статьи они никак не укладываются, прежде всего потому, что в данном случае Мельников занимал, скорее, официальную, нежели интеллигентскую, позицию. Кроме того, эти страницы, несмотря на обстоятельность сообщаемых писателем сведений, буквально тонут в море разнообразного интереснейшего материала о раскольниках, которым насыщен роман.

¹⁴ В.Г. Короленко. В пустынных местах (Из поездки по Ветлуге и Керженцу). Собр. соч., т. 3. М., 1953, сс. 136, 145.

¹⁵ Там же, с. 136.

¹⁶ З.Н. Гиппиус. Указ. соч., с. 373.

¹⁷ Там же, с. 375.

¹⁸ М. Пришвин. Указ. соч., с. 96.

¹⁹ З.Н. Гиппиус. Указ. соч., с. 380.

²⁰ Д.С. Мережковский. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. Собр. соч., т. X. М., 1910, сс. 80-82.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ГОСПОДА ГУБЕРНАТОРЫ

Нижеопубликованные материалы - результат моего скоротечного знакомства и общения в конце 1997 года с художником и режиссером Борисом Бланком, личностью феерической. Был задуман грандиозный телесериал "Господа губернаторы" с интермедиями, песнями, плясками. От меня требовался исторический материал, который я добросовестно поставлял; все прочее должно было идти от Бланка. Но, главное, - нам обоим требовался спонсор, который так себя и не обнаружил. А жаль, идея была занятая; типы местных громовержцев того времени оказались живучи и, по-моему, являют себя до сих пор...

Досье № 1

Фамилия	Закревский
Имя	Арсений
Отчество	Андреевич
Должность	ген.-губернатор
Губерния	Московская
Даты	1848-1859
Условный знак	"Пугало"

СИТУАЦИЯ

В феврале 1848 г. в Россию пришли первые известия о революционных событиях во Франции: Луи Филипп, последний король из династии Бурбонов (боковая, Орлеанская ветвь), бежал из страны. В Париже была провозглашена республика во главе с Временным правительством. В Петербурге и высших сановных кругах эти известия произвели страшный шок. Николай I, все свое царствование (с 1825) боровшийся с призраком революции и в России, и в Европе, получил сомнительное удовольствие узреть своего страшного противника во плоти. Он немедленно предложил союзным монархическим державам Центральной Европы - Австрийской монархии и Прусскому королевству - организовать карательный поход против "взбесившихся французов".

Однако дружественные монархи не успели принять это заманчивое предложение - революционная волна захлестнула их собственные государства. И в Австрии, и в Пруссии начались народные волнения, которые и там, и там привели к серьезным уступкам со стороны властей: были введены, хоть и ограниченные, но конституции, важные государственные посты заняли либералы. Николай остался в одиночестве - как абсолютный монарх, решительно отвергавший саму мысль о принципиальных переменах в России.

Судя по всему, он испугался. Весной 1848 г. он выступил со своим знаменитым манифестом, написанным в самых воинственных выражениях: чего стоила хотя бы заключительная фраза: "С нами

Бог! Разумейте, языцы (народы - А.Л.), и покоряйтесь, яко с нами Бог!". Однако, как сформулировал в частном письме сам Николай, суть манифеста сводилась к следующему: "Не троньте меня, а я не трону вас". Речь шла уже не о нападении, а об обороне.

Николай, у которого страх перед революцией с 1825 г. - восстания декабристов - носил явно невротический характер, всерьез опасался за положение дел в России (хотя сейчас, задним числом, очевидно, что никаких серьезных оснований для этого не было). Он стал всерьез готовиться к обороне. Границы практически были закрыты; в пограничные районы стягивались войска. Резко ужесточилась цензура, был по сути прекращен прием в университеты, III отделение распространило секретное наблюдение на десятки новых лиц. Охранительную истерию подогрело знаменитое дело Петрашевского (1849 г.).

В этих условиях Москве было уделено особое внимание. Старую столицу Николай I никогда не любил, и определенные основания для этого у него были. Воплощением духа этого царствования всегда был Петербург, с его правильной планировкой, образцовым порядком, избытком служилого люда: чиновников и военных. Москва же еще с XVIII в. стала местом пребывания отставных сановников, нечестолюбивых помещиков и разнообразной шушеры, впоследствии получившей название интеллигенции. Москва была городом хаотичным, грязным, ленивым и веселым. Николай, идеалы которого воплощались, по справедливому выражению Герцена, в казарме и канцелярии, в этой распущенности усматривал проявление опасной независимости, и, наверное, был не так уж не прав...

"Москву надо подтянуть" - одно из первых душевных движений царя в это тревожное время. Между тем в Москве на протяжении нескольких десятилетий сидели генерал-губернаторами люди ей под стать: мягкие, ленивые, широкие, добродушные (кн. Д. В. Голицын, кн. А. Г. Щербатов) - скорее вельможи, чем бюрократы. Вот тут-то Николай и вспомнил о нашем герое, находившемся не у дел уже почти два десятка лет...

Полномочия у Закревского были самые широкие. В народе упорно ходили слухи - и сам З. подтвердил это после своей отставки, - что царь вручил ему некие бланки со своей подписью; достаточно было З. вписать в этот бланк любое имя, чтоб сей несчастный без суда и следствия отправлялся в Сибирь на неопределенный срок...

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Арсений Андреевич Закревский прошел жизненный путь в высшей степени характерный для большинства ведущих государственных деятелей Николаевской эпохи. Он принадлежал к типу "фрунтови-ков", выслужившихся с самых низов благодаря своей исполнительности, упорству, работоспособности и, конечно же, некоторой благосклонности фортуны. Таких служак Николай I очень любил и щедро жаловал.

Закревский родился в 1788 г. в семье бедного, полуразорившегося дворянина Тверской губернии. Как и большинство отпрысков подобных дворян, он был определен родителем в один из многочисленных в ту эпоху кадетских корпусов, откуда вышел в 1802 г. пехотным офицером. Дальше началось везение. Командиром Архангелогородского полка, куда был определен Закревский, был столь же молодой Н. М. Каменский, сын знаменитого екатерининского генерал-фельдмаршала. Молодые люди сдружились, и Каменский, совершая предопределенную ему по происхождению блестящую военную карьеру, тянул за собой приятеля. В качестве адъютанта Каменского Закревский участвовал в ряде войн, регулярно получая повышения по службе. Когда же в 1812 г. Каменский неожиданно и довольно загадочно умер (вроде бы от болезни), Закревский, прибывший с его бумагами к царю Александру I, сумел произвести на последнего благоприятное впечатление и был определен адъютантом к тогдашнему военному министру Барклаю-де-Толли. Всю войну 1812 г. З. состоял при главнокомандующем, а во время заграничных походов русской армии (1813 - 1814) неотлучно находился при Александре I, став одним из ближайших к нему генерал-адъютантов.

После войны у З. начались стычки со знаменитым Аракчеевым, очень ревниво относившемуся ко всем, кому царь дарил свою благосклонность. Очевидно, под его влиянием З. был удален из Петербурга, став генерал-губернатором Финляндии (1823 - 1828) и получив при этом графский титул. Управлял он этим краем, совсем недавно, в 1809 году, присоединенным к России, жестко, в свойственном ему "фрунтовым" стиле, чем заслужил симпатии нового царя Николая I (с 1825 г.).

В 1828 г. З. был назначен министром внутренних дел и почти сразу оплошал. В 1830 г. в России началась страшная эпидемия холеры. З. боролся с ней традиционными для себя жесткими методами: зараженные районы были отделены от остальной России строжайшей системой карантинных; связи между отдельными частями страны были полностью прерваны; население зараженных районов, по сути лишенное всяких связей с внешним миром, обрекалось на вымирание. Подобные драконовые меры произвели тяжелое впечатление даже на Николая, тем более, что побороть холеру подобным образом оказалось невозможно; в то же время система карантинных явно провоцировала население на волнения, бунты и прочие беспорядки.

В 1831 г. З. получил отставку и надолго остался не у дел. О своем геройском министре Николай вспомнил только после начала грандиозной европейской революции, когда ему понадобились люди "твердой руки". В 1848 г. З. был назначен генерал-губернатором в Москву. Его военно-самодурный стиль управления старой столицей полностью удовлетворял Николая. Однако после смерти царя в 1855 г., когда заколебалась вся тоталитарная система, любовно создаваемая им, и у З. стала уходить почва из-под ног. "Новые веяния", которые стали ощущаться сразу же после прихода к власти Александра II, З. не принял - он просто не поверил в них... Подготовка крестьянской реформы уже шла полным ходом, а З. все еще не разрешал говорить об этом вслух в Москве, утверждая, что "в Петербурге одумаются, и все пойдет по-старому". Поскольку же в Петербурге так и не одумались, З. получил отставку в 1859 г., накануне отмены крепостного права. На этом его карьера и завершилась.

(P.S. Доверие Николая к З., объяснявшееся очевидно, хорошим знанием натуры нового генерал-губернатора, было беспредельным. Широко известны стали слова царя, сказанные сразу после этого назначения: "За ним я буду как за каменной стеной").

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК

Для Москвы З. сразу же стал пугалом, иначе его здесь не воспринимали... Это было общее отношение. Один из гласных светских остроловов того времени кн. Меншиков отреагировал на это событие так: "Святая Москва с назначением генерал-губернатора Закревского была произведена в великомученицы".

Главное качество З. как государственного деятеля - полное пренебрежение к закону. Это качество, вообще очень распространенное среди администрации, у него было доведено до предела. Во главу угла своей деятельности он всегда ставил только собственное убеждение - прав сей обыватель или виновен, казнить его или миловать. "Навести порядок в его понимании означало не "водворить законность", а "сделать так, как я считаю нужным". Недаром в московском свете З. сразу прозвали *Arsenic-pasha* - Арсеник-паша.

При этом нужно подчеркнуть, что З. был человек совершенно бескорыстный и в принципе добрый. Первое его качество признавали даже те, кто пострадал при столкновениях с генерал-губернатором. Московский откупщик В. А. Кокорев, например, рассказывает совершенно поразительную по тем (да и по нынешним) временам историю. З. предложил Кокореву купить у него дом в Петербурге за 70 тыс.; осмотрев предмет продажи, откупщик сказал генерал-губернатору, что не прогадает, заплатив и 100 тыс. З., очевидно, увидев в этом предложении скрытую взятку, заявил, что подобная цена завышена; что ему за дом давали максимум 70 тыс., причем в рассрочку; за эту цену он и продает Кокореву, и единственно о чем просит - выплатить все деньги сразу. Кокорев дом купил и в самом деле не прогадал, вскоре продав его за 140 тыс.

Сам не беря взятки, З. решительно боролся со взяточниками в своем генерал-губернаторстве. Насколько успешно, сказать трудно, однако это была столь заметная черта, что она вдохновила безымянного поэта на стих, точнее, на песню, популярную в свое время в Москве.

Поется на мотив известного романа "По небу полуночи ангел летел..."

Когда граф Закревский в Москву прилетел,
Он грозную песню запел,
И Лужин, и Беринг,
И частных всей рой
Внимали той песне с тоской.
Он пел о поборах с купцов и мещан,
С трактиров...

Дальше, к сожалению, шло какое-то неприличие, которого в те времена бумага не выдерживала (Лужин - московский обер-полицмейстер, Беринг - полицмейстер, "частных всей рой" - частные пристава, низшие полицейские чины).

Далее З. очень привлекательно - что было для меня полной неожиданностью - смотрится в качестве начальника. В то время как в обществе он был чем-то вроде пугала, подчиненные его любили. При несомненной строгости в служебных делах он был весьма привлекателен в личном общении; любил поболтать с дежурными чиновниками, подшутить над ними и сам не обижался на шутки. Служивший при нем В. А. Фигнер вспоминал, как, застав его (Фигнера) машинально выводящим на листе характернейший профиль генерал-губернатора (см. ниже), З. ничуть не обиделся; и после, видя Фигнера с пером в руках, всегда шутиливо ворчал: "Опять, поди, карикатуры рисуешь..." Точно так же он с удовольствием наблюдал, как чиновник кн. Абамалек, мастер типа Ираклия Андроникова, изображает его, Закревского. Вообще, стиль управления был максимально патриархальный. К большинству чиновников З. обращался на "ты", вышеназванного Абамалека в глаза называл "армяшкой", другого чиновника, Швецова, лысого как бильярдный шар, - "плешандосом" и пр.

Характернейшей чертой этих патриархальных отношений была знаменитая буфетная в генерал-губернаторском доме, где происходили регулярные "частные собрания" всех свободных от службы чиновников. Здесь первую скрипку играл М.Н. Лонгинов, по прозвищу "чернокнижник", мастер на разнообразные фокусы, экспромт, особенно на стихи т.н. эротического склада. Шутки, веселье, смех... Шум стоял такой, что генерал-губернатор, проходя мимо, как правило, бил ногой в дверь - с целью успокоения.

Зато в московском обществе З. боялись и ненавидели, и было за что... Здесь его патриархальность оборачивалась совершенно другой стороной. Он очень жестко наводил порядок, точнее, то что было порядком в его понимании.

Одним из самых страшных событий, которое могло случиться в жизни московского обывателя того времени, - это появление у дверей его дома казака с требованием немедленно, под конвоем этого же казака) явиться к генерал-губернатору. Причина никогда не объявлялась. Прибыв в генерал-губернаторскую резиденцию, бедняга два-три часа, а нередко и более, томился в приемной (З. сознательно "выдерживал" клиента). Затем его вели перед светлые очи, и З., как правило, в самой грубой форме, а если дело касалось представителей податных сословий, то не щадя и матушку, устраивал жуткий разнос. При этом жертве, как правило, высказаться не удавалось - генерал-губернатору было уже все ясно, а мнения свои он менять не любил (несколько раз были очень конфузные случаи, когда к З. по ошибке приводили однофамильцев провинившихся - см. "Сюжет"). И тут же на месте З. выносил приговор, который немедленно приводился в исполнение.

Далеко не всегда это был плохой и несправедливый приговор. Поскольку З., повторяю, был человек честный и по-своему справедливый, он зачастую быстро и плодотворно решал дела, которые в суде безнадежно застряли бы или, наверняка, получили бы несправедливое решение (см. "Сюжет").

Но закон при этом страдал всегда. З. действовал совершенно произвольно, верша как добрые дела, так и обыкновенное вымогательство в пользу государства (см. "Сюжет"). Главный интерес этой, чисто национальной, фигуры, очевидно, именно в проблеме: что лучше - почти безнадежная законность или "плодотворный" произвол? В те времена, во всяком случае, З. для многих отчаявшихся был последней инстанцией - ведь в генерал-губернаторском кабинете нередко творились чудеса. Здесь можно было получить безнадежно, казалось бы, потерянные деньги, добиться наказания какого-нибудь злодея и т.п. В то же время за мелкую и глупую шалость можно было отправиться, как выражался Салтыков-Щедрин, "ловить тюленей". Был случай, когда купеческий сынок был сослан в далекую Колу за то, что посыпал пол в Немецком клубе во время бала чемерицей (едкая трава, которую в молотом виде добавляли в табак). Все обчихались...

Что касается семейных отношений, то они у З. довольно незаурядны. Любивший З. Александр I женил его на одной из богатейших невест того времени Аграфене Толстой. Хотя она любила другого, за З., по царскому сватовству, пошла. Поначалу брак носил фиктивный характер, но затем родилась дочь Лидия, которую З. любил без памяти (с женой у него всегда были равные, спокойные, вполне цивилизованные отношения). Из-за нее он в конце концов пошел даже на служебное преступление, которое послужило поводом к его отставке (подробности - устно).

P.S. Да, самое главное: З. ни в коем случае не высасывал политических дел из пальца; напротив, убедившись в том, что в Москве "спокойно", он под свою ответственность постоянно заявлял об этом царю, входя иной раз в конфликт с министерством внутренних дел, которое придерживалось другой точки зрения.

ВНЕШНИЙ ОБЛИК, МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ

Облик и манеры у З. столь же характерны, как и его натура. Фигура - полная и в то же время осанистая (при Николае I сановники, как правило, были с хорошей выправкой). Обычная поза при приеме посетителей - левая рука уперта в бедро; правая - ладонью вперед плавает в воздухе, как бы благословляя или отталкивая собеседника.

Лицо, как и полагалось в те тяжелые времена, гладко выбритое; характернейший профиль римского типа, с безразлично выпяченной нижней губой, который так и просился "под карандаш".

И, наконец, поразительная прическа: З. имел "чело, как череп голый", однако на самом затылке он каким-то чудом сохранил единственную прядь волос. Эта длинная прядь ежедневно завивалась парикмахером, и конец ее, завитый колечком, каким-то образом укреплялся на самой макушке.

СЮЖЕТ

Сюжетов из З., как и из Арцимовича, можно (и нужно) настричь несколько. Главный и самый эффектный, годящийся, по-моему, для "пилота", это тот, опираясь на который, можно поднять чисто национальную проблему: что лучше - закон или справедливость? (Помните, Борис, Вы поминали сцену из "Горячего сердца"? Ср. со словами А. И. Герцена: "В России можно существовать только потому, что законы в ней не соблюдаются").

У З. свое, личное чувство справедливости, полное пренебрежение к закону и огромная власть (да, еще плюс к этому мощная энергетика и работоспособность - он был неутомимым работником). Подобные качества, проявляясь на практике, окрашивали деятельность З. в цвета диаметрально противоположные: его чисто произвольные и, как правило, незаконные деяния, приносили результаты и явно благие, и столь же явно порочные. Можно дать ряд сцен, которые эту дилемму ("закон или справедливость") выявят с предельной конкретностью.

1. ПРОИЗВОЛ “ВО ЗЛО”

З., как и большинство служилых дворян-сановников, откровенно презирал, во-первых, купечество, во-вторых, пишущую и мудрствующую братию, предшественницу нынешней интеллигенции. Первых он рассматривал как источник денежных средств, постоянно бьющий обильной струей; вторых - как столь же постоянно действующий источник различных беспорядков. Отсюда и “злые” дела З.

1. Постоянное, откровенное и неприкрытое вымогательство денег из купеческого сословия - никогда для себя, всегда на государственные нужды.

Например, в 1848 г. объяснение с представителями московского купечества: через Москву в ближайшее время пройдут 12 пехотных полков (передислокация, очевидно, в связи с революционными событиями в Европе). От купечества требуется предоставить на свой счет 12 троек лошадей для перевозки полкового имущества. Купцы безропотно собирают требуемое. З., “донесение о пожертвованиях приняв с благосклонностью”, через своих чиновников сообщает купечеству: “Желательно было бы, чтобы купеческое общество обратило внимание на нижних чинов, любезно предоставляя при этом информацию об их численности”, “коих 12 000”. Купцы, естественно, собирают новые жертвования...

В нач. 1850-х гг., во время очередного набора рекрутов в Московской губернии, З. обращает внимание купечества на то, что “в других городах при подобных оказиях горожане (то бишь купцы - А. Л.) выставляют рекрутам общественное”. Московское купечество следует этому благому примеру.

Через некоторое время Московский пехотный полк получает новые знамена - снова З. ребром ставит вопрос об “угощении”...

И так постоянно. Купечество периодически пытается отбрыкиваться от “угощений” и прочего, но очень робко - З-ского боятся - и, как правило, безрезультатно. Во время одного из таких “увиливаний” уполномоченный от московского купечества, некто Кирьяков, публично и в глаза был назван генерал-губернатором “дураком”, после чего вышел в отставку. Представитель старинного московского купечества Вишняков вспоминал, с каким восторгом, как героя, чествовали его дядю, когда ему в ходе свидания с генерал-губернатором удалось несколько скостить с суммы наложенных на семью Вишняковых поборов. Чаще же всего попытки добиться подобного результата, со ссылкой на “тяжелые времена” или “застой в делах”, кончались издевательской фразой со стороны генерал-губернаторских чиновников, ведущих переговоры: “Если вы столь бедны, обратитесь к генерал-губернатору с просьбой о воспомоществовании. Напишите прошение - я думаю, он войдет в ваше тяжелое положение”.

2. Произвольные и, как правило, чрезмерно тяжелые наказания нарушителей общественного порядка. Чаще всего речь шла о шалостях вроде посыпания пола бального зала в Немецком клубе едкой чемерицей - за что следовала высылка в Колу (см. выше).

Особенно конфузно выходило в тех случаях, когда доносители или исполнители допускали фактические ошибки и перед светлыми очами З. приводили не виновных, а их однофамильцев. По литературе известно, как минимум, два таких случая. Один из них заслуживает специального рассмотрения, во-первых, потому, что страдательным лицом в нем был Петр Иванович Бартенев, большой любитель и знаток русской истории, впоследствии издатель “Русского архива”, журнала, насыщенного интереснейшими и полезными - для нас, в частности, - историческими материалами; во-вторых, уж больно ярко видны в этом эпизоде и сильные, и слабые стороны Захревского.

Когда Бартенева, как всегда без объяснения причин, привели в генерал-губернаторский кабинет, З. в своей обычной манере, не давая обвиняемому вставить ни слова, устроил жуткий и оскорбительный разнос. Речь шла о каком-то кутеже со многими излишествами в Дворянском собрании. Разнос продолжался около получаса. Бартеневу, наконец, удалось обратить внимание З. на несоответствие имен - своего и презренного буяна.

З. затих.

Тогда Бартенев, улыбнувшись, заметил, что, к несчастью, он и физически не способен на те подвиги, которые ему приписываются, и указал на свою ногу (он был сильно хром).

3. улыбнулся в ответ.

Затем Бартенев, гениально найдя выход из крайне неловкого положения, заявил, что чрезвычайно интересуется историей наполеоновских войн и счастлив, что случай привел его в кабинет генерал-губернатора: он надеется уточнить некоторые детали Аустерлицкого сражения, участником которого был 3.

3. тут же усадил Бартенева и подробнейшим образом, с большим воодушевлением ответил на все его вопросы, что было, несомненно, извинением в замаскированной форме. Незамаскированного извинения Б. едва ли дождался бы...

3. Наконец, знаменитое и в своем роде действительно ужасающее "дело о бороде". При Николае I понятие "образцовый порядок" распространялось на все сферы жизни и быта, в т.ч. и на прически, усы, бороды и пр. Так, дворяне, как представители своего сословия, и особенно те из них, кто находился на государственной службе, должны были быть гладко выбриты. Усы дозволялось носить только офицерам-кавалеристам (но не пехотинцам). Высшие сановники, подчеркивая свое исключительное положение, позволяли себе иногда легкий намек на баки. (Пушкинские бакенбарды, как известно, приводили царя в негодование). Между тем московские славянофилы из принципиальных соображений запустили бороды - для них это был один из первых и немаловажных шагов на пути возрождения старорусской жизни, на пути возвращения дворянства, изуродованного Петром на европейский манер, к народу. До поры до времени им это сходило с рук. Но именно Закревский в 1849 г. через квартального надзирателя потребовал со знаменитого писателя Серг. Тим. Аксакова и его сына Константина подписку о том, что они немедленно сбреют бороды. Славянофилы были люди законопослушные и беспрекословно подчинились. Как выразился один из членов их кружка: "Велено бриться. Что ж? И бриться станем, коль в том общая польза".

II. ПРОИЗВОЛ "ВО БЛАГО"

Тут можно помянуть два характернейших дела.

1. Некий дворянин заложил у ростовщика свои фамильные драгоценности, которыми очень дорожил. Когда пришел срок выкупа, он на протяжении нескольких дней не мог заставить ростовщика дома; когда же застал, то услышал: "Срок возвращения залога истек вчера; сегодня же я продал ваши побрякушки, причем за бесценок, себе в убыток". Мошенничество было очевидное, но совершенно недоказуемое.

Взбешенный дворянин бросился к генерал-губернатору. 3. немедленно вызвал ростовщика и, не слушая его оправданий, приказал: "Вот, с этим жандармом ты отправишься домой и принесешь мне шкатулку, в которой лежат драгоценности этого господина". Ростовщик пошел и принес. "Ну вот, - сказал 3., обращаясь к дворянину, - а поскольку он (ростовщик - А. Л.) во всеуслышание заявил, что эти драгоценности продал, денег ему ни в коем случае не возвращайте". (Кстати, именно сыночек этого ростовщика отличился в клубе с чемерицей; и в Колу он, очевидно, отправился за грехи своего отца).

2. Аналогичный случай, но на этот раз в качестве ответчика выступал представитель благородного сословия. Отсюда и стиль у 3. меняется.

Некий дворянин выгнал из своего дома гувернантку, разнообразно ее оскорбляя при этом и, главное, не заплатив заработанное жалованье. Получив жалобу от бедной барышни, 3. вызвал грубияна и спросил, так ли было дело. Тот в страхе признался, что жалованье удержал, ссылаясь на "временные затруднения в делах". "Ну и прекрасно, - сказал 3., - так я и думал. А чтобы на благородное сословие не пала тень, я рассчитался за вас. Надеюсь, когда обстоятельства переменятся к лучшему, вы мне этот должок вернете".

Иметь заимодавцем генерал-губернатора было чревато крупными неприятностями. Помещик рассчитался с 3. в тот же день.

3. И еще одна черта. Насколько 3. был строг к нарушителям порядка из общественной среды,

настолько благоволил к офицерам, которые проводили свои отпуска в Москве. Мало того, что им прощались любые кутежи, губернатор не раз и не два предоставлял промотавшимся в веселом городе героям воспоможение из личных средств.

Досье № 2

Фамилия	Арцимович
Имя	Виктор
Отчество	Антонович
Должность	губернатор
Губерния	Калужская
Даты	1858-1863
Условный знак	“Белая ворона”

СИТУАЦИЯ

В середине 1850-х гг. правительство во главе с Александром II (коронован в 1856 г.) твердо решило отменить крепостное право.

С крепостной проблемой полвека маялись сперва дядя нового царя - Александр I, а затем - отец, Николай I. С начала XIX века становилось все очевидней, что крепостное право не дает стране нормально развиваться - помещики вели паразитическое, рутинное хозяйство, владельцы крепостных мануфактур также удовлетворялись совершенно рутинным, застойным производством. Повсеместное применение даровой, по сути рабской силы глушило всякую инициативу, делало невозможным никакое движение вперед. Привилегированным слоям, прежде всего помещикам, и так было хорошо.

Государство же в этих условиях не могло строить железные дороги, должным образом развивать военное производство и, соответственно, поддерживать на европейском уровне армию, флот и т.п. Интересы государства начинали расходиться с интересами помещиков, хотя при этом помещики по-прежнему составляли главную опору власти, в известной степени ею самой и являясь. Множество, если не большинство, высших сановников имели поместья, другие, жившие главным образом жалованьем, были связаны с поместным дворянством родственными узами и т. п. Другими словами, интересы высшей бюрократии и дворян-помещиков были тесно переплетены, хотя и сохраняли при этом свою самостоятельность. Поэтому долгое время правительство пыталось решить проблему так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, ограничиваясь различными паллиативами. Но тут грянула Крымская война (1853 - 1956)...

Началась она как война России с Турцией (и на этом этапе проблем не возникало), а затем превратилась в противостояние с Англией и Францией, выступившими в поддержку турок. Разгром России был полным, причем причины его сомнения не вызывали: прежде всего техническая отсталость страны, predetermined крепостным правом. Николай I скончался в одночасье (есть сведения - отравился), а его сын и наследник Александр II оказался перед дилеммой: или дальнейший застой и превращение России во второстепенную державу, или - отмена крепостного права.

С 1956 г. начинается все более активная подготовка крестьянской реформы. При этом проблема волков и овец остается: помещики по-прежнему не желают расставаться с крепостным правом. В этой ситуации правительство вынуждено нажать на волков, которых опять-таки по-прежнему и любит, и немножко побаивается. С 1857 г. по всей стране начинают работать губернские дворянские комитеты, созданные под давлением правительства, в которых депутаты, выбранные дворянством местной губернии, обсуждают то, что и в кошмарном сне не желали бы увидеть: отмену крепостного права... Характерно, что овцы - крестьяне, - которых власть любит куда меньше, чем волков, а боится гораздо

больше, проявляя поразительную выдержку, сохраняют полное спокойствие - ждут результатов... В царя мужики в это время верили свято.

В 1859 г. проекты губернских комитетов уходят в центр, где их обрабатывает правительственная редакционная комиссия; в ней создается проект единого для всей России Положения об отмене крепостного права. Затем около года этот проект гуляет по инстанциям. 19 февраля 1961 г. Александр II подписывает его, после чего начинается длительный и сложный процесс отмены крепостного права: крестьяне должны получить определенное количество земли (значительно меньше того, что было им необходимо для жизни), заплатив за нее определенный выкуп (непомерно большой, совершенно не соответствующий реальной цене земли). Терпение и выдержка у мужиков иссякли сразу же, как только они познакомились с текстом Положения, - по всей стране прокатились волнения.

Таким образом, с 1857 г. жизнь в России на губернском уровне резко меняется: на место размеренному, упорядоченному застою времен Николая приходит постоянный напряг александровской перестройки. Если ранее губернатору достаточно было блюсти определенный ритуал, поддерживать хорошо знакомый и понятный порядок, не выбиваться из раз и навсегда заведенной канцелярской рутины, то теперь перед ним возникает необходимость чутко оценивать ситуацию, быстро реагировать на происходящие события; более того - встает задача, для николаевских времен совершенно небывалая, - постоянно проявлять инициативу... Губернатор "перестроечной" эпохи должен был быстро проводить в жизнь неожиданные и зачастую крайне противоречивые указания из центра; нажимать, по возможности деликатно, на дворян; стараться всеми силами уберечь вверенную ему губернию от крестьянских волнений. Ему приходилось постоянно лавировать силами, ранее почти застывшими, а теперь пришедшими в активное движение. Если же учесть, насколько чиновники всех рангов за тридцать лет николаевского застоя привыкли к неподвижности, то очевидно, что подобные деяния были под силу лишь избранным.

Наш герой как раз из таких.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Виктор Антонович Арцимович родился в 1820 г. в Белостокской области (в те годы это самая окраина Российской империи - западная часть Литвы; западнее было только Царство Польское). Родители, поляки-католики, принадлежали к слою обедневшей мелкопоместной шляхты. Однако отец В.А., Антон Федорович, сделал отличную чиновничью карьеру, получив, помимо прочих наград, 2000 десятин земли в поместное владение и, таким образом, стал помещиком более чем средней руки.

Признаком карьерного и имущественного благополучия явился тот факт, что В.А. - первенец многодетной семьи - окончил Императорское училище правоведения (в 1842 г., второй выпуск). Это привилегированное учебное заведение готовило государственных служащих, чиновников высокого полета - успешное продвижение им, как правило, было обеспечено. С 1842 по 1853 годы В.А. служил в Сенате, одном из высших государственных органов Империи, главной функцией которого в это время было "блюсти законы", т.е. бороться со злоупотреблениями как в центре, в столице, так и, особенно, на местах, в губерниях. С этой целью Сенат отправлял туда т.н. "сенатские ревизии", в которых молодой В.А. регулярно принимал участие, познавая таким образом изнанку чиновничьей деятельности. Уже в эти годы В.А. составил себе репутацию предельно принципиального, добросовестного ревизора и, главное, строгого "законника", не идущего на компромиссы и наводящего страх на казнокрадов и взяточников. В Сенате В.А. дослужился до обер-секретаря (определяющая фигура в организационно-технической деятельности этого органа - что-то вроде управляющего делами).

В 1854 г. В.А. был назначен тобольским губернатором (несомненное повышение; возможная аналогия: из аппарата ЦК со значительной, но не самостоятельной технической должности - в секретари обкома). За пять лет службы в Тобольске (1854 -1858) не только проявил себя чрезвычайно

деятельным главой губернии, но и подтвердил свою репутацию “законника” (наведение порядка в присутственных местах, более или менее успешная борьба со взяточничеством, улучшение положения ссыльных, раскольников и переселенцев и т.п.).

В 1858 г. В. А. из Тобольска был переведен в Калужскую губернию. Одной из главных причин этого перемещения являлась заинтересованность правительства, готовившего крестьянскую реформу, в том, чтобы в этот сложный период нашей первой “перестройки” на губернаторских постах сидели люди типа В. А. (в Тобольской губернии, так же, как и во всей Сибири, крепостного права не было). Мечтание это, впрочем, в жизнь не воплотилось по причине отсутствия в России Арцимовичей в массовом тираже - он так и остался уникальным губернатором.

1858 - 1863 - Калужская эпопея, т.е. непосредственно наш сюжет (см. ниже).

Уйдя из Калуги со скандалом и со славою, еще более укрепив за собой репутацию “белой вороны”, В. А. получил соответствующее назначение - членом Совета управления Царства Польского, по которому только что, в том же 1863 г., прокатилось грандиозное восстание. (Ц. Польское - значительная часть нынешней Польши, вошедшая в состав Империи после наполеоновских войн; поляки бунтовали в среднем каждые тридцать лет). Репрессии, которыми сопровождалось подавление восстания, к этому времени начали стихать; перед Советом управления ставилась задача довершить успокоение Ц. Польского социально-экономическими реформами. Здесь В. А. прослужил недолго: в 1865 г. он попросил перевода, не поладив с более жесткими реформаторами, типа Н. Милютина, которые, по мнению В. А., действовали путем грубого насилия, разрушая, а не “перестраивая”.

С 1865 г. В. А. занял один из руководящих постов в своем родном Сенате (первоприсутствующий, т. е. председатель кассационного департамента). Здесь он проработал почти тридцать лет, действуя всегда в свойственном ему “либерально-упорядоченном” духе. Его по праву считали одним из главных деятелей новой судебной системы, созданной знаменитой реформой 1864 г., системы, в которой Сенат занял место высшего кассационного органа.

В 1893 г. В. А. умер, оплакиваемый всеми российскими либералами, - редчайшее явление в том кругу, где смерть высокопоставленного чиновника (желательно насильственная) вызывала, как правило, бурную радость.

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК

В. А. фигура, несомненно, в высшей степени положительная; даже с некоторыми излишествами в этом отношении... О детстве его практически ничего не известно; но очевидно, по-настоящему сформировался он в училище правоведения. Училище это было создано в 1835 г. именно для воспитания чиновников нового типа - знающих законы, стремящихся защитить их. Правительство рассчитывало противопоставить “новую поросль” бюрократам старого, гоголевского типа, казнокрадам и взяточникам, разьедавшим систему управления при Николае I.

К глобальным переменам этот эксперимент, естественно, не привел, но кое-какие результаты дал, в интересующем же нас случае с В. А. оправдал себя полностью. В. А. действительно вполне соответствовал редчайшему для России типу чиновника, для которого закон был единственным критерием в его деятельности: интересы личные, корпоративные и сословные отступали на задний план. Причем это ярко проявлялось не только в негативной по сути деятельности В. А. - ревизора, но и в позитивной и очень насыщенной деятельности В. А. - губернатора. Это было настолько необычно, что многие россияне сего вместить не могли, другие ругались, а у третьих в присутствии В. А. начинала кружиться голова - как на Монблане... Если учесть к тому же образцовую выдержку В. А., его ровный, спокойный характер и опять-таки редчайшее для российской чиновничьей среды уважительное отношение и к подчиненным, и к “рядовым обывателям”, то облик нашего героя вырисовывается близким к идеальному. Недаром, назначая 34-летнего В. А. губернатором в Тобольск, Николай I, неплохой, кстати, психолог, всегда и всем “тыкавший”, обращался к нему исключительно на “Вы”...

Для завершения картины отметим, что образцовый чиновник был и столь же образцовым семьянином. В 1854 г., незадолго до своего назначения в Тобольскую губернию, В. А. женился на Анне Михайловне Жемчужниковой. С дружной и очень талантливой семьей Жемчужниковых В. А. сблизился вскоре после приезда в Петербург; с братом А. М. Алексеем он учился в одном классе училища правоведения. В дом Жемчужниковых, где постоянно собиралась веселая и незаурядная молодежь (напомню, кстати: братья Жемчужниковы, из которых двое - поэты и один - художник + их кузен А. К. Толстой = незабвенный Козьма Прутков), молодого провинциала должно было тянуть как магнитом. К тому же отец А. М., сенатор Жемчужников М. Н., вскоре стал непосредственным начальником В. А... Как бы то ни было, брак оказался на редкость счастливым. А. М. пережила мужа, посвятив последние годы собранию и публикации различных материалов о его деятельности.

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ, МАНЕРА ГОВОРИТЬ, МАНЕРЫ И ПРОЧ.

"Большого роста, крепко и коренасто сложенный..., где он ни появлялся, В. А. привлекал общее внимание своим звучным голосом, в котором часто слышалась нота глубокого чувства, и в особенности своею чудесною головою, обрамленною белоснежными сединами (воспоминания, естественно, более позднего времени - в Калуге В. А. под сорок - А. Л.)..."

...В добрых, живых, с глубоким, то нежным, то пронизательным взором глазах, светилась теплота всепонимающей, терпимой и прощающей души, а в улыбке крупного рта сквозила добродушная ирония или приветливость человека, благовоспитанного на старый лад.

...Человек цельный, смелый и прямой, В. А., уверовав в справедливость подсказанного ему опытом и совестью взгляда и найдя справедливое, по его искреннему убеждению, применение этого взгляда к данному вопросу, уже не сворачивал с дороги, а шумно, громким словом и решительным жестом заявлял о том, что, по его мнению, нужно и неизбежно... Быть может, однако, упрек в угловатости, при той живости, которую он вносил в споры, отчасти и справедлив.

...В частной жизни Арцимович отличался чрезвычайной привлекательностью. Его отношения к людям были отмечены всегда утонченной любезностью, когда он бывал в духе, в среде симпатичных ему людей, он вносил в разговор особое оживление безобидными шутками и простодушным юмором..."

А.Ф. Кони.

ВОЗМОЖНЫЕ СЮЖЕТЫ

Личность - яркая, эпоха - привлекательная, материалов - куча.

Можно настрого целый цикл передач об одном только Арцимовиче.

1.

Дело о винных откупах.

2.

Дело о превышении помещичьей власти (растление малолетних крестьянских девиц, в корне пресеченное губернатором).

3.

Объявление воли в 1861 г. и дело С. И. Мальцева (крупнейший помещик и заводчик, один из самых богатых людей России, обвинивший Арцимовича в разжигании крестьянских волнений).

4.

Ревизия сенатора Капгера в Калужской губернии, окончившаяся награждением Арцимовича и смещением его с губернаторского поста.

Дело № 1.
О винных откупах

Действующие лица

I. Положительные

1. Арцимович - 40 лет.
2. Николай Вас. Сахаров, Модест Алексеевич Дометти - чиновники для особых поручений при губернаторе, его конфиденты, благороднейшие молодые люди, приверженные "новым идеям". 25 - 28 лет.

II. Отрицательные

1. Откупщик - деятель любого возраста, внешности и происхождения, либо дворянин либо купец. Главная отличительная черта - наличие больших денег.
2. Полицейстер и полицейские чиновники - лица, отвечающие за порядок в губернии.
3. Председатель и чиновники казенной палаты - лица, отвечающие за бесперебойное поступление доходов из губернии в казну.

III. Страдательные

1. Калужские пивовары, пытающиеся конкурировать с откупщиками.
2. Крестьяне, страдающие от злоупотребления откупщиков.

IV. Закулисные

1. Мих. Ник. Жемчужников, сенатор, тесть и покровитель Арцимовича.
2. Сергей Семенович Ланской, министр внутренних дел, непосредственный начальник Арцимовича, вполне примерный старичок, прозванный "красным министром" (не столько за убеждения, впрочем, довольно либеральные, сколько за злоупотребление румянами).
3. Алексей Михайлович Княжевич, министр финансов, главный противник Арцимовича в Петербурге.

КРАТКАЯ СПРАВКА

С XVII в. доходы от продажи спиртных напитков являлись основной доходной статьей бюджета русского государства (в XIX в. т.н. питейные сборы составляли от 1/4 до 1/3 всех государственных доходов). При этом светлые головы в высших сферах постоянно изыскивали все новые и новые возможности для увеличения этих доходов. В 1826 г. с этой целью были введены винные откупа. Суть их заключалась в том, что монопольное право торговать крепкими спиртными напитками (пиво в их число, естественно, не входило) на определенной территории сдавалось с торгов (типа аукциона) частным лицам - на определенное время и на определенной территории. Государство, таким образом, сразу же получало крупные суммы денег. Откупщики, в свою очередь, быстро наворачивали упущенное, причем с невероятной лихвою, благодаря откровенным злоупотреблениям. Главными из них были: безбожное разбавление водки водой, ничем не обоснованное повышение цен на "улучшенные" сорта водки, бессовестный обмер покупателей (водкой в кабаках торговали по определенным стандартным меркам: "чарка", "штоф", "ведро").

Откупщики обогащались невероятно быстро; ни у кого в России не было постоянно на руках таких денежных средств, как у них. Разнообразные чиновники и полицейские, которые должны были бороться с их злоупотреблениями, закупались на корню. В 1830-х - 1850-х годах во всех губерниях само собой подразумевалось, что значительная часть чиновников получала двойное жалованье: меньшее - от казны, большее - от откупщиков.

СЮЖЕТ

В. А. был принципиальным противником откупной системы. Еще до отъезда в Калугу в записке “О причинах упадка губернаторской власти”, написанной для мин. вн. дел Ланского, В. А. отмечал:

“Нравственная чистота и совершенная честность необходимы для поддержания уважения властей. У нас же, всем известно, что откупщики подкупают большую часть должностных лиц в государстве. Откуп присвоил себе право удваивать жалованье чиновников... При постепенном усилении влияния откупщиков и несметном их богатстве, особенно заметном в столице, где лучшие дома уже сделались их собственностью, все губернское управление неизбежно находится в параличном состоянии. Даже вполне благонамеренные и чистые губернаторы не осмеливаются касаться злоупотреблений откупа. В уездах управляющие откупными конторами пользуются огромным влиянием на ход важнейших дел, все уездные чиновники находятся у них в зависимости, заискивают их расположение и даже, не опасаясь преувеличения, можно сказать, что заведующие продажей вина суть начальники уездов. Казенные же палаты находятся, бесспорно, в полном распоряжении откупщиков”.

Сразу же по приезде в губернию Арцимович объявил войну злоупотреблениям откупщиков. Разворачивалась эта война в двух направлениях.

1. Единственно возможными, хотя и слабыми конкурентами откупщикам были пивовары. Откупщики теснили их постоянно, широко используя при этом подкупленные ими местные власти, прежде всего полицию. Пивоварам запрещалось торговать пивом распивочно, открывать без разрешения новые лавки (разрешение получить было невозможно), количество старых, разрешенных лавок сокращалось постоянно. Потребление пива в России падало так же, как и потребление наливов, настоек, травников и т.п. Населению настойчиво навязывали водку и только водку, причем, самого мерзкого качества.

Калужское пиво в XIX в. славилось на всю центральную Россию. Откупщик и его подручные упорно натравливали на калужских пивоваров местную полицию, которая, придираясь к ним всеми способами, ложно обвиняя в нарушении закона (пиво в разнос, торговля в неразрешенных местах и т.п.), налагала на них непомерные штрафы; закрывала несколько лавок. Пивовары пожаловались В. А., он устроил нагоняй полицейским чинам, обвинил их в поощрении злоупотреблений откупщиков (практически во взяточничестве) и приказал отменить все стеснительные меры против пивоваров.

2. Злоупотребления откупщиков в конце 50-х гг. вызвали сопротивление крестьян - разбавленная водка по высокой цене стала восприниматься как оскорбление (следует иметь в виду “веяньи времени”: крестьяне, ожидая освобождения, опасались, что их будут сознательно спаивать, чтобы обмануть во время проведения реформы). Самая крайняя форма этих настроений - все учащавшиеся погромы кабаков, на что любая власть, конечно же, должна была реагировать резко отрицательно.

Однако это были крайние случаи. В большинстве же своем крестьяне стихийно стали организовывать общества трезвости. Всем селом подписывали приговоры-обязательства не покупать откупного вина. Нарушителей подвергали бойкоту - в условиях русской общины наказание более чем серьезное. Эти общества В. А. взял под свое покровительство.

В обоих случаях действия В. А. вызывали злону и сопротивление: со стороны откупщиков - открытое; со стороны полиции и чиновников казенной палаты - закулисное. С подобным фрондерством человеку со способностями В. А. справиться было бы нетрудно. Но его враги получили мощную поддержку в центре со стороны министра финансов Княжевича.

Уже “пивоваренное дело” вызвало письмо Княжевича к В. А., в котором министр заявлял, что в Калуге откупщик поставлен “в затруднительное и невыгодное положение” и требовал, чтобы губернатор оказал откупщику “особенное покровительство”.

Арцимович отвечал очень резко: “особенное покровительство”, заявил он, “несовместимо с достоинством правительства”; губернатор открыто писал, что поскольку вся полиция находится на жаловании у откупщика, надо не усиливать полицейские меры в его пользу, а всячески ограничивать их. В

этом деле В. А. одержал решительную победу: в результате проведенного им расследования ряд чиновников, и в частности, сам полицмейстер, вынуждены были подать в отставку.

Что же касается общества трезвости, то здесь у В. А. с министром финансов развернулась целая война. Поскольку подобное движение охватило целый ряд губерний России, Княжевич всполошился и заговорил о подрыве финансового благополучия Российской империи. Под его давлением министр внутренних дел Ланской издал циркуляр, запрещавший создание обществ трезвости. В. А. тут же написал Ланскому, с которым у него были в принципе хорошие отношения ("по пивоварам" Ланской Арцимовича поддержал) самое резкое письмо: "О свойстве этих циркуляров можно судить по впечатлению, которое они произвели... им радуются откупщики, полицейские взяточники, которым открывается теперь возможность брать с крестьян за то, что они не пьют, а с откупа за то, чтобы крестьяне пили; да еще корыстолюбивые и невежественные помещики, из коих первым неудобно, а вторым представляется страшно иметь дело с разумным, нравственным и честным крестьянином, напротив, честные люди негодуют... Многие убеждены, что циркуляр куплен откупщиками...". Наказывать за трезвость аморально - вот главная мысль послания В. А.

Что же касалось циркуляра, то В. А. парализовал его действие своеобразным толкованием: он велел, во-первых, усилить надзор за откупом, поскольку-де именно его злоупотребления "доводят" крестьян до трезвости; во-вторых, разрешил принимать меры против общества трезвости только по жалобам пострадавших от него крестьян-"штрейкбрехеров", принимать же жалобы от откупщика и его подручных запретил. Копию своего "разъяснения" В. А. послал Ланскому. Тот не возражал. Т. о., и в этом вопросе калужский губернатор одержал победу.

В довершение картины - отрывок из письма тестя Арцимовича, сенатора Жемчужникова от 27 июня 1859 г.: "Касательно твоих действий против откупа мне привелось слышать следующий отзыв Княжевича:

Он: Действия вашего зятя по откупу не в видах правительства.

Я: В чем же заключаются его противодействия видам правительства?

Он: В видах интереса.

Я: А в видах доброй нравственности?

Он: Интересы гораздо важнее нравственности.

Я: Вы не думаете о будущей вечной жизни, а зять мой добрый христианин. С этими словами я отошел от него; он же вовсе не ожидал такого возражения, заметно сконфузился и даже побледнел..."



ДИСКРЕДИТАЦИЯ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Я думаю, большинство из нашей интеллигентской братии, даже демократически настроенной, должно было переживать приступы тоски по России, которую мы потеряли - не в 1917, а в 1991. Меня, помнится, перестройка вдохновляла, вплоть до Чернобыля - не более того... Апогея же своего тоска по стабильности и порядку достигла в 1994, после Бендер. И пошел я наниматься на службу к С. Е. Кургиняну, в его знаменитый тогда Центр. Встречался я с Сергеем Ервантовичем трижды, причем каждый раз он производил на меня все более яркое и вместе с тем все более сложное впечатление. В конце концов, я почувствовал, что делаю ошибку, собираясь служить кому-то кроме Клио - единственного начальства, с которым у меня всегда были хорошие отношения. Публикуемая ниже записка о дискредитации власти - что-то вроде вступительного сочинения - вот все, что осталось от моего хождения в политику.

Самодержавие в России являлось глубокоорганичной формой правления, оправданной всем ходом исторического развития страны и не имевшей альтернатив.

После того как в XIII веке раздробленная, ослабленная бесконечными феодальными усобицами Русь попала под татаро-монгольское иго, возникла угроза самому физическому существованию русского народа. Из этого тяжелейшего положения можно было выйти только за счет полной мобилизации всех отпущенных ему сил и средств. Проведение подобной мобилизации обуславливалось, как всегда и везде, жестким, строго регламентированным порядком во всех сферах жизни и прежде всего в хозяйственной и политической. Такой порядок и создавался великими московскими князьями и первыми русскими царями, которые, собирая вокруг Москвы сперва русские, а затем и многие прочие земли, очень последовательно укрепляли свою личную власть и в то же время накладывали на все сословия "государево тягло" - заставляли их нести разнообразные повинности в пользу государства.

Это был воистину жесткий порядок. В области политической он нашел свое выражение в самодержавной власти, опиравшейся на мощную бюрократическую структуру, - власти деспотичной во многих своих проявлениях. В области социально-экономической - в создании системы крепостного права, так или иначе охватившей почти все население России. И тем не менее подобный порядок оказался устойчивым и долговечным, поскольку имел массовую поддержку: несмотря на всю свою жестокость и изнурительность, он для подавляющего большинства русского народа был куда предпочтительнее прежнего.

Во-первых, новая власть сбросила ненавистное иго и затем на протяжении нескольких веков шла от одного внешнеполитического успеха к другому, создав в конце концов огромную империю. Ощущение материальной и духовной мощи своего государства (долгое время единственного независимого православного государства в мире) было присуще не только образованной верхушке, но и неграмотным крестьянам. Во-вторых, борьба московской власти с удельными князьями и боярами, ликвидация их исключительных привилегий - все это встречало в народе полное понимание: теперь в центре, в Москве, можно было искать управу на тех, кто на местах жал из населения все соки. Общее же тягло, наложенное во имя общей (государственной) пользы, было вполне понятно и приемлемо для тех, чью жизнь приниживали общинные традиции.

Таким образом, в глазах основной массы населения самодержавие было не только оправдано - оно являлось залогом как внешней мощи, так и внутренней, социальной справедливости государства. Иного России не дано, в ином гибель - именно эта вера и придавала самодержавному строю исключительную жизнеспособность, несмотря на все его неисчислимые несовершенства.

Как и у всякого государственного строя, у самодержавия были противники, которые наиболее ярко проявили себя дважды: во время его становления, в XVII веке (особенно в начале), и в период жесточайшего кризиса в конце XIX - начале XX веков. В обоих случаях противники эти были неоднозначны: одни из них, вдохновляясь интересами основной массы трудового населения, стремились к разрушительно-быстрому и радикальному изменению не только политического, но и социально-экономического строя (возвращение к общинному самоуправлению, введение казачьего круга в XVII веке, социалистические преобразования в XIX - нач. XX). Другие, отстаивая узко сословные, групповые интересы, ставили перед собой более скромные задачи - "всего лишь" захват власти. Соответственно, совершенного различными, требующими каждый раз специального анализа были и средства, к которым прибегали те и другие. В этом беглом очерке речь пойдет лишь о тех, кто действовал исподволь, скрытно, с опущенным забралом, стремясь подогнать государственный строй России под свою статью.

Подобные противники самодержавия стремились не уничтожить самодержавный строй, а овладеть им, несколько видоизменить и использовать в собственных интересах его материальную мощь и духовную силу.

Первым противником самодержавия выступило боярство. У этого сословия были свои несомненные заслуги в деле создания единого русского государства - во всяком случае у той его части, которая издавна служила московским князьям. Однако по мере того как московское боярство, с одной стороны, пополнялось "обояренными" удельными князьями, а с другой, все чаще сталкивалось с проявлением самодержавных тенденций в политике московских князей и первых царей, оно постепенно становилось в оппозицию, превращаясь из силы созидательной в силу разрушительную.

Борьба с самодержавной властью была для бояр затруднительна. Правда, они обладали огромными богатствами и разнообразными привилегиями, главной из которых была монополия на высшие посты в государственном управлении. Но именно это исключительное во всех отношениях положение боярства вызывало все большее озлобление со стороны остальных сословий; озлобление, еще больше обострявшееся гордостью - "спесью" бояр, подчеркнуто не желавших считаться ни с чьими интересами, кроме своих собственных. Недолгое и совершенно безобразное самостоятельное боярское правление в годы малолетства Ивана Грозного окончательно скомпрометировало это сословие и обрекло его на социальное одиночество. В последующие годы представители самых разных слоев населения именно в "боярской крамоле" видели источник всех бед и зол. Подобное отношение к боярству чрезвычайно облегчало борьбу с ним и Грозному, и его преемнику - Годунову. В то же время оно само было чрезвычайно сковано в своей борьбе с царской властью, ослабление которой грозило оставить бояр один на один с ненавидящим их народом.

И все же в начале XVII века бояре предприняли решительную попытку превратить царскую власть в пышную декорацию, укрывшись за которой, можно было бы невозбранно отстаивать социальные и материальные интересы своего сословия. В значительной степени именно этим устремлениям Россия была обязана одной из самых трагических страниц своей истории - Смутным временам. При этом

можно лишь поражаться, насколько хитроумными, целенаправленными и в то же время бесстыдными были действия боярства; до какой степени оно свои узкосословные интересы ставило выше государственных.

Умному и властному царю Борису, уверенно укреплявшему самодержавный строй - а вместе с ним и Русское государство - и беспощадно расправлявшемуся с противниками, бояре сумели противопоставить поистине непобедимый фантом - "царевича Дмитрия", т.е. самозванца Гришку Отрепьева. При этом с тонким расчетом психологический шок, вызванный пресечением династии Рюриковичей, изначально управлявших Россией, был увязан воедино с тяжкими последствиями голодного 1601 года, закрепощением крестьян, последовательно проводившимся Годуновым, и пр. Все беды и тяготы русской жизни ставились в счет царю - узурпатору и убийце; все надежды связывались с "добрым" и "законным" царевичем.

Воспользовавшись Лжедмитрием, как клином, клин вышибающим, бояре затем поспешили путем заговора избавиться от ненадежного авантюриста и возвели на престол уже совсем своего, безупречно "боярского" царя Василия Шуйского, обязавшегося править из их рук. Когда же он выказал полную неспособность справиться с вызванной всеми этими интригами Смутой и был низложен, боярство в поисках царя обратилось к католической Речи Посполитой - искомному и злейшему врагу православной Руси. При условии соблюдения своих политических и социальных привилегий оно готово было возвести на русский престол польского королевича Владислава и тем самым почти неизбежно поставить свою страну в зависимость от грозного и неприязненного соседа.

Русский престол, таким образом, почти на десять лет был превращен в игрушку в боярских руках. Но в то же время именно эти десять лет ясно показали, что альтернативы самодержавному строю в тех условиях не было. Недаром правление Семибоярщины стало самым тяжелым периодом Смуты, чуть было не приведшим страну к полному развалу и потере независимости. Стать созидательной силой, подняться до уровня общегосударственных интересов бояре оказались неспособны. Характерно, что на знаменитом Земском соборе 1613 года они в полном единодушии с представителями других сословий восстановили царскую власть. И хотя на престол был возведен угодный им царь - слабый волей, "умом не дошедший" Михаил Романов, в XVII веке история боярства как самостоятельной политической и социальной силы завершилась. Бояре, окончательно скомпрометировавшие себя, вызывают у народа еще большую ненависть, нежели прежде. Пользуясь этим, самодержавная власть постепенно, но очень последовательно изживает боярство, противопоставляя ему своих верных сторонников - служилых людей и приказную администрацию.

При Петре I, завершившем грандиозное строительство абсолютистского государства, было покончено с Боярской думой и с самим боярством, растворившимся среди верного самодержавию помещного дворянства. Запоздалая и безнадежная попытка аристократов-"верховников" в 1730 году ввести в России олигархическое правление интересна лишь тем безусловно и резко отрицательным отношением, которое она вызвала в дворянской среде.

Таким образом, противники самодержавия проиграли... Отметим еще раз, что в своей борьбе с самодержавной властью бояре обратились к единственно возможному, очевидно, в условиях того времени средству: они попытались максимально дискредитировать ненавистного им царя-самодержца Годунова, противопоставляя ему при этом "хорошего", "доброе", "законного", а по сути своего, боярского, царя - Дмитрия, Василия, Владислава... Как, очевидно, представлялось организаторам этой "операции", они получали, таким образом, возможность захватить власть, овладеть управленческими структурами и проводить выгодную им политику, - и все это "малой кровью", без серьезных потрясений. На деле же насильственная замена "плохого" царя "хорошим" привела к полному развалу государства. Изменить путь развития России подобной интригой противники самодержавия не смогли, но, как минимум, на полвека назад ее отбросили.

В XIX - начале XX века самодержавие переживает жесточайший кризис: оно постепенно теряет свое значение главной творческой силы русской истории, действующей во всеобщих интересах, вместе с тем и свою привлекательность в глазах народа.

К началу XIX века те задачи, которые стояли перед Россией, были выполнены с блеском: после того, как с чужеземным игом было покончено, она не только восстановила раннефеодальные пределы, но и включила в себя огромный комплекс иных земель и народов; все соседи-противники, пытавшиеся воспрепятствовать расширению ее границ, были повержены. Военная и политическая мощь державы возрастала век от века: из глухой, дремучей окраины цивилизованного мира, какой она представлялась раньше Европе, Россия превратилась в Великую Империю, заставившую относиться к себе с почтением и трепетом. И всем этим она была обязана прежде всего самодержавию - главной организующей, главной творческой силе русской истории.

Подобные грандиозные успехи во многом оправдывали тот тяжкий гнет, которому подвергалась подавляющая часть населения России. Однако именно вследствие этих внешних успехов значительно изменилось и внутреннее положение страны. Собрав в единое целое огромные территории с самыми различными природными условиями, установив на них единый порядок, создав стабильные, устойчивые структуры управления - сотворив все это, самодержавие буквально "обрекло" Россию на хозяйственную специализацию различных регионов, развитие торговли, складывание внутреннего рынка, т. е. предопределило становление принципиально новых экономических отношений. И очень скоро выяснилось, что эти отношения, предполагавшие определенную хозяйственную самостоятельность населения, возможность свободной инициативы, очень плохо согласуются с самим характером породившей их власти - власти, привыкшей использовать крепостной труд, опиравшейся в своей деятельности на самые жесткие принудительные меры, стремившейся ввести в стране строгую социальную дисциплину. На протяжении всего XIX века власть, наиболее дальновидные представители которой отлично осознавали всю сложность создавшегося положения, предпринимала отчаянные попытки приспособиться к новым хозяйственным условиям. Самым ярким примером тому были отмена крепостного права и другие реформы 1860-х годов. И все же привести себя в соответствие с новым уровнем экономического развития самодержавию так и не удалось. (Была ли возможна такая эволюция в принципе, вопрос особый).

Таким образом, та суровая гармония, в которой Российское государство ранее пребывало со своим базисом, была нарушена: новые экономические отношения подрывали изнутри политическую систему; политическая система тормозила развитие экономики. Последствия не замедлили сказаться и во внутренней политике, и во внешней, где до сих пор Россия шла от одного грандиозного успеха к другому. Отечественная война 1812 года завершила эту цепь блестящих побед. Началась полоса роковых неудач: поражение в Крымской войне, оскорбительные для России дипломатические уступки, сведшие на нет победу в кровопролитной войне 1877 - 1878 годов с Турцией; позор русско-японской войны; трагическое "Великое отступление" в годы первой мировой - все эти военные и дипломатические провалы лишали самодержавие прежнего ореола.

К тому же следует отметить, что с XVIII века самодержавная власть стала постепенно терять свой пиетет и как защитница общественных интересов. Если крестьяне и посадские веками почти безропотно несли свое тягло, создавая, что его так или иначе тянут в с е, то теперь это ощущение исчезло: власть все более и более откровенно оказывала предпочтение дворянству, предоставляя ему все больше привилегий за счет других сословий. В результате соответствующих указов дворяне-помещики в полную свою собственность получили и крестьян, и землю и в то же время были освобождены от обязательной службы. Отмена же крепостного права в 1861 году, хотя и освобождала формально крестьян, поставила их в совершенно невозможное материальное положение (они получили, как правило, земли меньше необходимого; платить же за нее приходилось втридорога). По сути дела трудовое земледельческое население и после реформы осталось в полной зависимости от помещиков - на этот раз экономической. Вследствие своего исключительного - за чужой счет - положения дворянство начинает вызывать в народе такую же ненависть, как в свое время боярство. Только теперь недовольные видят в самодержавной власти не своего защитника, а покровителя ненавистных бар.

Таким образом, к концу XIX века тот огромный авторитет, который самодержавная власть имела в

глазах своего народа, был в известной мере утрачен. И все же власть эта еще обладала достаточной силой для того, чтобы контролировать положение в стране, а следовательно, оставалась возможность выхода из кризисной ситуации на какие-то новые рубежи. Для подавляющего большинства населения царь по-прежнему являлся единственным источником закона и власти; имя царское по-прежнему произносилось с надеждой и любовью.

Между тем новые условия, в которые попала Россия, порождали новых противников самодержавия, обладавших значительными материальными и духовными ресурсами.

Что касается ресурсов материальных, то к началу XX века они в значительной степени были сконцентрированы в руках русской буржуазии, - именно к этому времени она более или менее оформилась в единую социальную общность, способную достаточно ясно осознавать свои интересы. Следует отметить, что в этом плане русские буржуа при всех их общих чертах с европейскими собратьями имели свои отличительные особенности. Тяга к власти, столь характерная всегда и везде для этого класса, была без сомнения присуща и русской буржуазии. Естественно, что самодержавие, монополизировавшее государственное управление, воспринималось ею как противник. Однако, не допуская буржуазию до политической власти, самодержавие очень последовательно проводило такую экономическую политику, против которой этой буржуазии возражать не приходилось: защита от иностранной конкуренции, щедрые кредиты и налоговые льготы, выгоднейшие государственные заказы и проч. - все это заставляло "новый класс" проявлять большую осторожность в своей оппозиционной деятельности. Кроме того, самодержавие в глазах буржуа было ненадежной защитой, а им было кого бояться: рабочее движение в России с конца XIX века принимало пугающе острый, революционный характер.

В подобных условиях у буржуа не было охоты добиваться радикальных перемен, стремление к которым почти всегда вынуждает прибегать к радикальным средствам. В российских же условиях подобные средства представлялись чрезвычайно опасными: джин, выпущенный из бутылки, почти наверняка уничтожил бы своего освободителя. Поэтому так же, как и много веков назад их предшественники - бояре, буржуа стремились отнюдь не к тому, чтобы в открытой борьбе свергнуть самодержавие. Нет, речь шла о постепенном его ограничении, в ходе которого предполагалось, негласно, исподволь овладеть созданными этим самодержавием управленческими структурами, переключить на себя механизм власти. И всю эту операцию желательно было совершить с минимальными потрясениями, по возможности удержав джина революционной борьбы в плотно запечатанном сосуде.

Следует отметить, что, скопив огромное богатство, буржуазия в России - как и везде - была обделена духовно. За редким исключением представители ее не отличались ни интеллектом, ни политическим чутьем, ни ораторским даром, а дело представлялось тонкое... Однако у буржуа нашелся мощный союзник - российский интеллигент либерального, западного образа мыслей.

Интеллигенция в России, как известно, создавалась за счет "людей разных чинов" (выходцев из духовенства, мещанства, дворянства и пр.), которые, пробиваясь к образованию, как правило, не только порывали все связи с породившими их сословиями, но и демонстративно противопоставляли себя им. Подобная позиция, во-первых, предопределяла крайне негативное отношение к традициям, устоям и пр.; во-вторых, порождала ощущение собственной исключительности и, соответственно, склонность к политическим авантюрам.

При этом русской интеллигенции не занимать было чуткости по отношению к происходящим в России социальным и экономическим процессам, ясного сознания тех проблем, которые нуждались в срочном разрешении. Однако рецепты, предлагаемые ею, при всей их сложности и многообразии отличала одна удивительно простая по сути своей черта: речь, как правило, шла об уничтожении или радикальном видоизменении традиционного государственного строя, после чего все должно было пойти как по маслу... Самодержавие рассматривалось как главное, если не единственное, препятствие на пути развития России; заменить же его предстояло неким "демократическим правлением", определяющую роль в котором должна была играть сама интеллигенция.

Таким образом, первым вопросом, который с точки зрения интеллигенции стоял на повестке дня, был вопрос о власти. Однако решить его самостоятельно интеллигенция оказалась не в силах: ей на роду написано было быть не более чем передовым отрядом, застрельщиком, за которым следуют армия, артиллерия, обоз... О тех, кто в поисках своей "армии" обратились к массам - поскольку стремились к власти во имя более или менее смелых социальных экспериментов, - мы, как улавливались выше, здесь говорить не будем. Большая же часть интеллигенции, жаждавшая "всего лишь" европеизировать Россию, вполне резонно попыталась найти общий язык с буржуазией, представлявшей ей наиболее европейским, по духу своему, элементом в этом ни на что не похожем государстве.

Поскольку обе стороны в равной степени нуждались друг в друге, взаимопонимание было достигнуто быстро. В результате буржуазия получила в свое распоряжение интеллектуалов, политиков, ораторов, готовых обосновывать, пропагандировать и проводить в жизнь выгодные ей преобразования. Интеллигенция подвела под свое довольно мизерное существование мощную материальную базу, которая позволила ей издавать соответствующие книги, газеты и журналы, собирать различные конференции и съезды и, наконец, создать в начале XX века достаточно сильные политические партии. При этом интеллигенция, "связавшись" с буржуазией, несколько умерила свой преобразовательный пыл, вернее, направила его на те цели, которые диктовал ей работодатель. Зато в русле этой борьбы люди "умственного труда" показали великую изощренность и незаурядные демагогические способности.

На раннем этапе борьбы с самодержавием его противники столкнулись с одним вполне конкретным человеком - самодержцем всея Руси, императором Николаем II, который очень быстро стал в их глазах главным препятствием на пути к власти.

Не вдаваясь в подробный анализ характера и мировоззрения последнего русского царя, что само по себе могло бы послужить содержанием любопытного очерка, отметим лишь, что представление о нем, созданное и усердно пропагандируемое сперва в буржуазной, а затем и в советской печати, совершенно не соответствует действительности. Умственно ограниченный, безвольный алкоголик, марионетка, которую дергает за ниточки некто, стоящий за кулисами, - подобный образ не имеет ничего общего с реальностью. Конечно же, Николай был человеком, так сказать, "неярким"; однако отсутствие каких-то особенных талантов компенсировалось у него удивительной духовной цельностью. Будучи человеком глубоко религиозным, он очень искренне воспринял обряд своего помазания на царство, по смыслу которого Николай брал на себя обязательства блюсти покой и благополучие своего народа перед самим Господом. Самодержавная власть воспринималась им как тяжкое бремя, которое, однако, он не имеет права не только скинуть, но даже ослабить, поступившись хотя бы частью своей абсолютной власти.

Все царствование Николая было пронизано одним стремлением: сохранить в неприкосновенности самодержавный строй. При этом он меньше всего был политиком: реальные обстоятельства русской жизни, разнообразные перипетии политической борьбы, экономические и прочие проблемы - все это не бралось или почти не бралось в расчет. Не обладая столь ярко выраженной силой воли, как, скажем, его отец, император Александр III, Николай и здесь брал своей удивительной цельностью. Он уступал лишь при самых крайних обстоятельствах - вспомним манифест 17 октября, подписанный Николаем в разгар первой русской революции; уступив же, при первой возможности стремился вернуть утраченные позиции. Подобные действия расценивались противниками царя как "коварство", в то время как они являли собой лишь доказательство его удивительной последовательности.

При этом Николай не только решительно противостоял открытому натиску - он чрезвычайно чутко воспринимал и, по возможности, пресекал любые попытки даже не ограничить, а умалить, обойти его власть. Так, царь с чрезвычайной антипатией относился к министрам и прочим сановникам, пытавшимся действовать самостоятельно, проводя какую-то свою, не одобряемую им политику. Причем подобное отношение определялось отнюдь не личным самолюбием царя, которого он почти не имел; оно определялось принципом: Николай не терпел, чтобы кто бы то ни было заслонял своей персоной трон. Поэтому возможности даже такого умного, хитрого и дельного представителя буржуазных тенденций в высших сферах, как С. Ю. Витте, были весьма и весьма ограничены. Сознывая полезность и даже

необходимость этого государственного деятеля, Николай терпел его, со все возрастающей ревностью - ревностью к власти - следя за его действиями. И как только царь почувствовал возможность обходиться без Витте, он тут же уволил своего излишне предприимчивого министра.

Идеалом своего рода в глазах Николая были министры, подобные Сипягину и Ламсдорфу, которые целиком и полностью разделяли его понимание самодержавной власти. Подобные деятели способны были подать совет или выразить сомнение в справедливости решений Николая; но ясно выраженная царская воля была для них законом, которому они следовали беспрекословно.

Подобного самодержца невозможно было взять ни мытьем, ни катаньем: как отыскать средства, которые заставили бы самодержца поделиться своей властью с буржуа и интеллигенцией? Буквально с первых дней царствования Николая, с его знаменитой речи перед представителями дворянства, земств и городов в 1895 году, когда царь квалифицировал надежды на участие представителей общественности в управлении страной как "бессмысленные мечтания", - с тех самых пор он был воспринят в оппозиционных кругах как враг № 1.

С начала XX века общественность самых разных сортов и оттенков развернула в печати, а затем и с Думской трибуны беспрецедентную кампанию по дискредитации царской власти. Кампания эта велась широко: безудержным обличениям подверглись самые разнообразные сановники, рядовые исполнители и целые отрасли аппарата управления - прежде всего те, деятельность которых была непосредственно связана с наведением порядка в стране. Но с самого начала и до самого трагического конца этой кампании в центре ее стояла задача дискредитировать личность последнего царя - Николая II.

В подобном подходе к делу был свой глубокий смысл. В начале XX века, так же как и раньше, именно царь был стержнем, на котором держался весь существующий порядок управления. Добиться смены министра, отставки начальника того или иного охранного отделения и пр. - означало более, чем решение частной проблемы. Добиться смены царя - в известной степени означало достижение поставленной цели. При этом следует иметь в виду, что младший брат Николая Михаил пользовался немалой и к тому же постоянно подогреваемой популярностью в либеральной среде: из него, по мнению многих, "получился бы прекрасный конституционный монарх". Точно так же, как народолюбцы, в свое время не отказываясь в принципе от терактов, направленных против генерал-губернаторов и прокуроров, основные силы свои сконцентрировали на подготовке убийства Александра II, либералы начала XX века главную мишень для своего информационного террора видели в Николае II.

Кампания разворачивалась постепенно - поначалу, в условиях жесткой цензуры, при относительной стабильности самодержавного строя для нее просто не было необходимых условий. Тем более поразительным был факт публикации в 1902 году во вполне легальной, расхвалившейся большими тиражами газете "Россия" фельетона А. В. Амфитеатрова (кстати, чуть позже - масона "первого призыва") "Господа Обмановы". Главными героями его были крутой по характеру и ограниченный по уму хозяин-помещик Обманов-старший (Александр III) и его наследник - слабый, безвольный, ни на что не годный Ника-Милуша (Николай II). Под самыми прозрачными именами в фельетоне был выведен и целый ряд других Романовых - царских родственников.

С точки зрения литературной, фельетон был написан бездарно (М. Горький совершенно справедливо писал о "пошлости, плоском гаерстве" его автора). Политического смысла в нем было также не много, хотя, пожалуй, Амфитеатров своим фельетоном заложил основу последующим писаниям о "бездарном российском самодержце". Но, очевидно, от этого творения не требовалось ни литературных красот, ни интеллектуальной мощи; цель была одна - извозить в грязи царское имя, которое для значительной части населения России все еще оставалось святыней; показать, что над самодержцем всяя Руси можно издеваться, как и над всяким прочим, и почти с такой же безнаказанностью. Само по себе появление подобной публикации знаменовало приближение времен, тревожных для власти: еще за несколько лет до этого никто не поверил бы в возможность такого дерзкого публичного оскорбления царского имени.

Фельетон Амфитеатрова был своего рода пробным камнем в деле дискредитации Николая II. Настоящая же вакханалия началась здесь после манифеста 17 октября 1905 года, когда буржуазная пресса получила долгожданную свободу печати. В это время появляется более сотни газет, газетенок и просто листов сатирического направления, финансируемых, как правило, различными буржуа-предпринимателями. Талантливости и политического смысла у авторов этих листов было не больше, чем у Амфитеатрова, да они на это и не претендовали, поскольку так же, как и их предшественник, выполняли задачу, требовавшую совершенно других качеств, и прежде всего максимальной наглости и бесстыдства. Иные слова трудно подобрать для характеристики продукции, производимой иной раз довольно известными художниками и литераторами. Стремление подавляющего большинства из них можно определить однозначно: речь, как правило, шла не о критике тех или иных сторон царствования Николая, не о насмешке над его слабостями или чертами характера, - авторы сатирических листов стремились максимально ополшить Николая именно как царя, как самодержца, как символ императорской России. Причем пределов творческой фантазии на этом пути не было.

Чего стоит, например, знаменитый рисунок, изображавший царя, держащим обеими руками свой - подпись гласила: "Самодержец Всероссийский". На другом рисунке был изображен герб императорской России - двуглавый орел; если читатель, следуя указанию, данному в подписи, переворачивал страницу, то видел императора со спины, приподнявшим мантию и демонстрирующим свой голый зад. После таких перлов "безыскусное" изображение осла в окружении царских регалий воспринимается относительно спокойно...

Цели подобной кампании достаточно ясны: ее вдохновители и исполнители стремились вызвать психологический шок у своих зрителей и читателей, подобный тому, какой у верующего человека вызывает плевок на икону. Если на икону плевать постоянно и невзбранно, то молиться на нее, естественно, становится невозможным.

Значительным явлением в кампании по дискредитации Николая II явилась книга известного либерального публициста, кадета (и масона) В.П. Обнинского, опубликованная в 1914 году, накануне войны, в Берлине - столице той самой державы, с которой России через несколько месяцев придется столкнуться в смертельной схватке.

На издание книги не пожалели средств, она была богато иллюстрирована, оформлена не без изящества. Правда, тираж книги был мизерный (500 экз.), в России среди широкой публики она была практически неизвестна, и, казалось бы, нам в данном очерке не имеет смысла останавливаться на ней специально. Но дело в том, что книга Обнинского, очевидно, создавалась как раз не для широкой публики, а для избранных, и им, этим избранным, надо думать, она оказалась весьма полезной.

Прежде всего Обнинский проделал грандиозную в своем роде работу, собрав воедино весь тот мусор, всю ту грязь, которую самые разнообразные доброты давно уже подгрестили к царскому имени. В книге, впрочем, речь шла не только о царе, но и о его родных и близких, о царских сановниках, деятелях политического сыска, генерал-губернаторах и пр. И обо всех этих своих героях Обнинский собрал огромный материал, иногда вполне доброкачественный, но гораздо чаще - состоящий из всевозможных слухов и сплетен. Материал этот был автором весьма добросовестно систематизирован, и в результате книга его с момента своего появления стала незаменимым пособием для оппозиционных политиков, журналистов, составителей обличительных брошюр и тому подобных «борцов» с «проклятым самодержавием».

Самое же главное - Обнинский создал концепцию... Именно он первым очень последовательно обрисовал облик Николая - слабого, безвольного и в то же время упрямого до невозможности, до глупости ограниченного монарха. Около этого никудышного правителя - жена-истеричка, имеющая на него неограниченное влияние; царя окружают дегенеративные выродки - великие князья и тупые или до отвращения подлые сановники. Но все это - лишь декорация: за кулисами самодержавной империи скрываются некие "темные силы" - черносотенцы, крепостники-помещики и пр., и пр., озабоченные

только своим материальным благополучием и во имя оногo губящие Россию, тормозящие ее движение к лучшему будущему.

Царь же - не более чем игрушка в руках этих "темных сил"; они и силы-то из себя представляют только потому, что на российском престоле восседает Николай II. Убрать его тем или иным способом и решить все проблемы, стоящие перед страной, не будет представлять никакого труда. Характерно, что С. С. Волк, автор предисловия к современному изданию Обнинского, сетует на некую "диспропорцию" в содержании "последнего самодержца": Обнинский, де, увлекаясь обличениями власти, "почти не касается социально-экономических проблем". Но все дело как раз в том и заключалось, что эта книга создавалась не во имя решения этих проблем, а во имя обличения власти.

Заглядывая вперед, можно сказать, что Обнинский, как по нотам, расписал заключительный тур кампании по дискредитации власти, который начался на втором году войны.

Надежды на то, что заботы военного времени заставят Николая пойти на уступки, поделиться властью, в очередной раз оказались "бессмысленными мечтаниями". В 1915 году оппозиция снова идет в атаку. В обличительной кампании, развязанной ею против власти, используется все, что можно использовать: тяжелое положение на фронте и в тылу, потери значительных территорий, постоянные неувязки со снабжением армии и пр. И согласно рецепту, рекомендованному Обнинским, во всех этих бедах обвиняется царь - точнее, те "темные силы", которые скрываются за его спиной.

Причем, на эту пору сам Сатана, казалось, припас для оппозиционеров козырную карту - Гришку Распутина... Имя это обросло невероятным количеством легенд, опровергать и обосновывать которые не входит в наше задачу. Отметим лишь, что роль этой, действительно жутковатой фигуры была, вне всякого сомнения, куда менее значительной, чем уверяла оппозиция. Распутин возник при дворе, увлеченном мистицизмом, еще в 1905 году и удержался там прежде всего из-за своих удивительных гипнотических способностей, благодаря которым он весьма успешно пользовался большой гемофилией царевича Алексея. Именно целителя видели в нем царь и царица - истрадавшие отец и мать. При этом Распутин, несомненно, злоупотреблял своим положением, оказывал протекцию многим, иной раз малопочтенным людям и - что было еще хуже - трепал царское имя по кабакам... Однако сошлемся на В. Руднева, члена Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, одной из главных целей которой было как раз выявление пресловутых "темных сил". Весьма добросовестно исследовав материалы, связанные с "государственной" деятельностью Распутина, Руднев сделал следующий вывод: "Решительно не было добыто никаких указаний о вмешательстве Распутина в политические дела, несмотря на то, что его влияние при дворе, несомненно, было велико". Сам Руднев, кстати, вынужден был уйти из ЧСК в знак протеста против постоянных попыток ее председателя Муравьева "побудить меня (Руднева) на явно пристрастные действия".

Подобный нажим со стороны этого деятеля, в свое время входившего в состав "мозгового центра" либеральной оппозиции, на своего непокорного подчиненного легко объясним: за полным отсутствием фактов рушилась легенда, с помощью которой враги окончательно добились Николая. На протяжении двух лет именно Распутин рассматривался как главное орудие "темных сил", губящих Россию; именно на него упорно указывали как на главное доказательство недееспособности Николая II. Характерно, что Распутин 10 лет почти не привлекал внимания оппозиции, - тот же Обнинский практически не упоминает о нем. Эта карта стала разыгрываться только на последнем этапе борьбы за власть - но как!..

За Распутиным неотступно следовали журналисты всех мастей; самые дикие, нелепые слухи, связанные с его именем, прилежно коллекционировались деятелями оппозиции и пускались в оборот при каждом удобном и неудобном случае; газеты были полны самых грязных намеков, не щадили доброе имя царицы и ее дочерей. Превратив имя Распутина в жупел, оппозиция с удивительной легкостью валила неугодных ей министров: достаточно было упомянуть в Думе или в журнальной статье о том, что Иван Иванович или Петра Петровича видели в обществе "святого старца", чтобы бросить на этого деятеля подозрение во всех грехах, включая государственную измену, - ведь Гришку трактовали как немецкого шпиона. Именно в измене лидер кадетов Милюков в ноябре 1916 года с

думской трибуны обвинил Председателя Совета Министров Штюрмера, да еще припел к этой измене и царицу. А ведь, как сам Милюков признавал впоследствии, доказательств у него не было абсолютно никаких, - все те же мистические "темные силы", Гришка, немецкое влияние и т. п.

И вся эта разнузданная пропагандистская кампания, целью которой было одно стремление - дорваться до власти, разворачивалась в условиях военных поражений, железнодорожного кризиса, надвигающегося холода и голода. В этих условиях перед измученным населением все чаще вставал вопрос: "Кто виноват?" В ответ же раздавалось нагсадное: Гришка Распутин, "темные силы" и, в конечном итоге, царь, царь и еще раз царь... Об объективных причинах военных неудач и сумятицы в тылу не было и речи; соответственно, не предпринималось никаких серьезных попыток к преодолению этих причин. Оппозиция жила развалом, поскольку развал этот помогал дискредитировать главного врага - Николая II...

Успехи не замедлили сказаться. Когда в темных кинозалах при демонстрации пленки, на которой была запечатлена церемония награждения Николая орденом Св. Георгия, из публики раздавались выкрики: "Царь с Егорием, царица с Григорием" - оппозиция могла торжествовать; это было ее рук дело. Когда почтенный на вид старичок крестьянин степенно говаривал: "С такого царя кожу надо ремнем снимать (т.е. сдирать кожу узкой лентой)", - сказывались результаты "хорошо поставленной пропаганды".

В среде буржуазной оппозиции готовился заговор, который, несомненно, захватил и генералитет: речь шла о замене Николая Михаилом. Почва для этого была как будто вполне подготовлена... Однако, как выяснилось, почва была вполне подготовлена и для революции.

Нужно отдать должное буржуазным лидерам: они сделали все возможное, чтобы сохранить монархию. П. Н. Милюков буквально охрип, убеждая Михаила взойти на престол после отречения его старшего брата. И, в сущности, этот умный и дельный партийный функционер так же, как и другие деятели оппозиции, собравшиеся в начале марта 1917-го на совещание с великим князем, убеждал его сотворить невозможное. Недалекий же и "политически неграмотный" Михаил сделал единственно возможный в его положении шаг - в свою очередь отрекся от престола: ни малейших шансов справиться с разбушевавшейся народной стихией и удержать власть в своих руках у него не было.

Сейчас, по прошествии времени, можно только удивляться политической близорукости тех, кто, дискредитируя монарха, незаметно для себя дискредитировал монархию и привел Россию к великой катастрофе.

"С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

- Представление окончилось.

Публика встала.

- Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось".

(В. В. Розанов. Из предсмертных мыслей).

Все так. Только нужно помнить, что "публика" не только сидела в зале: она и в спектакле участвовала, и актеров оплачивала.

Как нам представляется, дискредитация власти являлась одним из важнейших средств в политической борьбе в России - средств, взятых на вооружение теми силами, которые стремились, избегая радикальных перемен, исподволь овладеть управленческими структурами, т.е. заменить собой дискредитированного противника.

Технология дискредитации власти, конечно же, нуждается в специальном, фундаментальном исследовании. Пока же отметим лишь, что в российских условиях определяющее значение имела дискредитация личности, олицетворяющей самодержавную идею. Одним из самых мощных средств являлось всестороннее ее опошление, лишение ореола святости, избранности. Затем, очевидно, необходимой стадией в этой борьбе становилась «интеллектуальная» работа по сбору, систематизации и

дальнейшему распространению всевозможных компрометирующих сплетен и слухов. Решающим фактором явилось выявление заведомо скандальной фигуры - Распутина, - всемерное раздувание его роли, преувеличение его связей с царской семьей и, таким образом, дискредитация царя, возложение на него полной ответственности за все темные дела этого авантюриста.

И, наконец, следует отметить, что кампания по дискредитации власти дала значительно более сильный эффект, чем тот, на который рассчитывали ее вдохновители. Готовя почву для смены монарха, они спровоцировали революцию, которая смешала все их карты.



“СИБИРЬ ИЗ НАС НЕ ВЫТЯНЕШЬ”... *

Ответы на вопросы анкеты журнала “Родина”

Что означает для Вас понятие “империя”?

Империя для меня это прежде всего процесс. Путь, который трагичен и по-своему прекрасен. В интеллигентском сознании, встревоженном недавними событиями распада последней империи, эта тема, как правило, связывается с особенностями склада души и ума народа. Получается, что империя - знак равенства - несвобода, империя - знак равенства - безысходность, неспособность прорваться в цивилизацию... Мне кажется, что в таком подходе к империи - любой империи, не обязательно только российской - забывается главное, сам путь. Да, конечно, сама возможность империи появляется лишь тогда, когда один народ сталкивается с другим и происходит то, что называется завоеванием, освоением, поглощением... Но не будем забывать специфику той побудительной причины, которая приводила тот или иной народ к этому движению.

Что объединяет и что отличает Российскую (советскую) империю от других империй мира?

Когда я обращаюсь к истоку этого процесса в русской истории, я все время поражаюсь тому, из каких “дыр” приходилось выбираться в XIII, XIV, XV веках. Потрясает острота и трагизм ситуации: Русь загнана в “медвежий угол” - суглинки, болота, дремучие леса. Климат - ни с чем не сравнимый. Нет выхода к морям, природные богатства скудны. И все это зажато между двумя жерновами - Литвой и Золотой Ордой и к тому же раздроблено на крошечные земли и княжества, враждующие между собой. Когда оцениваешь эту ситуацию, то поражает не столько то, какой ценой за империю было заплачено (об этом позже), а то, что обретение независимости и государственности вообще оказалось возможным! Москва - Руза - Звенигород, - великие князья, а затем цари, наращивая это крохотное ядрышко век за веком, поколение за поколением, постепенно собирали земли, наводили порядок, справлялись с татарами и Литвой, пробивались к морям, а потом присоединили - ни много ни мало - Сибирь. И все это - с той первоначальной опорой лишь на суглинки... На первый взгляд, похоже на чудо, на подарок истории.

Но не было ни чуда, ни подарка. За все надо было платить. Западноевропейские государства создавались за счет излишков - за счет роста городов, торговли, производства, тесных экономических

связей. У нас же империя сложилась на такой бедности и экономической пустоте, что, повторяю, остается поражаться, как это вообще получилось. Плата (или расплата) была совершенно особой: свобода. Крепостное право, конечно же, зло. Но в тех условиях я не вижу ему альтернативы. Была земля, единственный, по словам Василия Осиповича Ключевского, "капитал московских князей", и было редкое население, которое Сергей Михайлович Соловьев справедливо называл "жидким телом" - на него давишь, а оно утекает. И нужно было соединить одно с другим. Только таким образом можно было создать ту силу, которая производила бы хоть что-нибудь: кормила бы помещиков, которые, в свою очередь, защищали бы государство и были бы, что называется, "служилыми людьми". Поэтому, в сущности, история создания Российской империи начинается не столько с завоевания Казани, сколько с создания государственного тягла.

Само понятие "тягло" - чисто русское, глубинное. "Тянут" все: крестьяне - на земле, служилые люди - на границах, на внутренней службе, купечество - в своей области, государь - тоже тянет свою Богом данную лямку. Запряжены все. Формы несвободы - разные. Но несвободны - все. Только поэтому из малюсенького Московского княжества выросла Московская Русь, а потом - Империя. Этот путь несвободы - не вина, не прирожденная славянская черта, а суровая логика обстоятельств государственного становления.

Но это и не беда Руси. Близоруко и неблагодарно по отношению к предкам было бы называть это бедой. Я до сих пор воспринимаю это как своеобразный подвиг. Поскольку выбор был лишь такой: либо несвобода и империя, либо свобода (уровня Новгородской республики) и потеря не только национальной, но и этнической самостоятельности, растворение в чужой стихии.

Как интеллигентный человек, для которого личная свобода - это большая ценность, я не склонен идеализировать империю, но не могу не вспомнить, что сама интеллигенция - это производное от империи. Может, нелюбимое и не слишком преданное, но все же законное дитя. Я не могу молиться на империю, восторгаться ею или гордиться, но, как русский человек, я обязан воздать ей должное, воспринять ее как путь своего народа. Я люблю ее как... Ну, родители бывают разные, правда? На них можно сердиться и обижаться, но всегда больно, когда чужие позволяют себе их ругать. Ведь я сам - часть драматической истории, случившейся с Россией.

Какой вопрос, если говорить о роли империи в российской судьбе, вы хотели бы задать самому себе?

Отчего так по-разному народы создают то, что потом называется словом "империя"? Самые наглядные антиподы - Российская и Британская империи. Они удивительно несхожи между собой. Прежде всего потому, что первая никогда не была колониальной империей, хотя в истории обеих были и завоевания, и присоединения. Я думаю, что дело тут в удивительной пластичности восточных славян. Самый первый пример тому - способность к уживанию, продемонстрированная ими в отношениях с угро-финнами, с кочевниками до татар - торками, берендеями, даже с половцами. В какой-то степени это было характерно и для татар, которые, собирая дань с покоренных народов, в значительной степени сохраняли их такими, какими они были, - в отличие от немцев, растворявших чужие народы в себе, превращавших в своих холопов-быдло. Да и гораздо позднее - в близком мне XIX веке - был интересный пример "объясучивания" казаков, которое шло много быстрее и эффективнее, чем обрусение якутов. Женясь на якутке, казак вскоре начинал употреблять якутские слова, жить якутской жизнью - и он уже полуказак, полуякут. Для британца это невозможно в принципе: брак с туземкой предполагал, что она становилась в худшем случае рабыней, в лучшем - полуангличанкой. Великобритания дала блестящий пример техники имперского завоевания. Британец, где бы он ни был, всегда нес Британию в себе, подчиняя ее государственным интересам то, что покорял.

Русская империя развивалась органично, потому и была так устойчива. Сибирь из нас не "вытянешь", с Казахстаном разойтись сложно. Татары, чьи националисты сейчас так скорбят о потере своей

независимости, сами же гордятся тем, что более 30 процентов русских дворянских фамилий - татарского происхождения...

Вот эта-то пластичность очень интересна и многое объясняет. Возьмите освоение Сибири. Поход Ермака от выхода Дежнева "со товарищи" к Тихому океану отделяет всего пятьдесят с небольшим лет. Небывало огромная территория становится русской, оставляя в себе место и для сибирских народов. Русские же при этом не становятся ни завоевателями на английский лад, ни рейнджерами - на американский. Здесь нечто от органического инстинкта перелетных птиц. Влечет поморов на побережье Северного Ледовитого океана, влечет казаков через тайгу... Не совсем ясно - зачем... За ними следуют небольшие стрелецкие отряды, строят сторожки, начинают собирать дань с окрестных племен, не слишком вмешиваясь в их жизнь. Так постепенно создается совершенно особая империя. Конечно же, было и великое множество случаев насилия, несправедливости. А все-таки эта самая пластичность приводила к тому, что завоевание и присоединение чаще всего приобретали форму вживания, срастания покорителей и покоряемых. Инстинкт, а не расчет двигал этим процессом.

Правда, XIX век несколько меняет эту ситуацию. Покорение Кавказа и Средней Азии в большей мере, чем прежние завоевания, было продуктом политического расчета. Хотя у такой политики было много противников в ближайшем окружении престола. И все-таки создается впечатление, что и Закавказье, и среднеазиатские просторы как-то мистически, а не логически затягивали Россию... Пока Памир не встал природной границей. Дошли туда, куда можно было дойти по внутреннему инстинкту. То, что по сути было чужим, "выпало", как это случилось с Польшей, или так и не было завоевано - к примеру, проливы.

Интересно проследить, как в советское время эта внутренняя органика империи изменила большевистский замысел, первоначально ориентированный на разрушение всего имперского. Ведь концепция построения социализма "в одной, отдельно взятой стране" - это не что иное, как возвращение на имперские позиции, к самобытности, монолитности, максимальной централизации, жесткому режиму, а по сути - к крепостному праву. "Дух России". или, если угодно, инерционный процесс, оказался сильнее "духа времени", во всем мире изживавшего имперскую государственность. Магическая власть имперской органики - вот что определило все плюсы и минусы того, что так еще недавно называлось СССР.

Думаю, что России от империи некуда деваться. Иными должны стать отношения между народами, у которых накопились давние претензии к российской государственности, но вряд ли могут быть этнические претензии к русскому народу. Ведь империя жила прежде всего соком своего собственного народа. Нынешние же национальные противоречия питаются главным образом политическими расчетами. А черносотенство всегда было процентов на 90 явлением искусственным: здесь, как правило, манипулировали власти, "охранка" или ее современные аналоги...

Мне очень понравился девиз вашей рубрики: "Мы - в империи. Империя - в нас". Последнее - самое главное для понимания вопроса. Очень хочется быть свободным. Но свобода от собственного прошлого, в том числе и имперского, оборачивается отрицательной свободой "перекасти-поле". Если дереву перерубить корни, ему не только не удастся стать "свободным", но и просто выжить.



ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

¹ Ответные меры власти поражают своей мягкостью: газета "Россия" была закрыта, что отнюдь не помешало ее издателю В.М.Дорошевичу продолжать свою блестящую литературную карьеру; Амфитеатров был сослан на пять лет в Минусинск; через год, "принимая во внимание заслуги его престарелого отца", переведен в Вологду, а затем очень скоро - возвращен в Петербург.

* Опубликовано в "Родине", 1995, № 2.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ВЛАСТЬ	11
ЦАРЬ И СТАРЕЦ	13
ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ	26
СУМЕРКИ ИМПЕРИИ	36
УЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ ЗНАЛИ ВСЁ	53
КРИЗИС ВЛАСТИ ГЛАЗАМИ ДЕЯТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА	57
 ЧАСТЬ II. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО	 63
О ПРАВЕ НА НЫТЬЕ	65
ЛИБЕРАЛИЗМ КАК СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ	67
СИНДРОМ РАЗНОЧИНЦА	74
КОНЕЦ РЕФОРМАТОРА	83
О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ	93
МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ОХРАНЫ	104
САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ САМОВЛАСТЬЯ	125
“УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ”	131
 ЧАСТЬ III. ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, НАРОД	 143
ГРАД СОКРОВЕННЫЙ... ..	145
“ТОНКОНОГИЕ” В ДЕРЕВНЕ	174
ХОДЫНКА	178
 ПРИЛОЖЕНИЕ	 185
ГОСПОДА ГУБЕРНАТОРЫ	187
ДИСКРИДИТАЦИЯ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ	201
“СИБИРЬ ИЗ НАС НЕ ВЫТЯНЕШЬ”	212

В книгу известного историка Андрея Левандовского «Железный век» вошли очерки по наиболее сложным вопросам общественно-политической жизни России XIX-XX века. Новый сборник продолжает лучшие традиции московской исторической школы В.О. Ключевского, А.А. Корнилова, П.Н. Милокова.

Андрей Анатольевич Левандовский
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Москва
АРБОР, 2000 г

Редактор: **С. А. Биговчий**
Художник: **А. Г. Стройло**
Компьютерный набор: **Н. Ю. Апанович.**
Компьютерная верстка: **Е. А. Васильева.**

Лицензия ЛР № 065407.

Сдано в набор 16.02.2000 г. Подписано в печать 29.05.2000 г.

Тираж 1500 экз. Печать офсетная. Бумага офсетная. 14 п.л. Гарнитура PragmaticaCondC.
Невельская типография, 182510, г. Невель, ул. Луначарского, 11.